

УДК 316
ББК 60.5

Учреждение Российской академии наук
Институт социологии РАН

Яницкий О.Н.

Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии

Яницкий О.Н. Досье инвайронменталиста. Очерк интеллектуальной биографии. – М., ИС РАН, 2009.

Книга представляет собой род интеллектуальной биографии. Автор всю жизнь работает в междисциплинарном поле, очерченном социологией, экологией, историей градостроительства и урбанистикой. Формирование и развитие своего профессионального интереса автор связывает с историей семьи и ее окружения: врачами, выдающимися полярными исследователями, географами, математиками, историками науки. Он считает своей «средой обитания» в равной мере переулки Старого Арбата, где прошли его детство и юность, работу по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», письма и дневники деда и бабушки, а также выдающихся русских ученых, личные контакты с российскими и западными специалистами. Значительную часть жизни автор посвятил изучению российской экологической политики и экологического движения. Книга адресована всем, кто интересуется, как делается социология и откуда берутся социологи.

ISBN 978-5-89697-167-2

© ИС РАН, 2009

©Яницкий, 2009

Оглавление

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение | 4 |
| Глава 1. 1930–40-е гг.: детство | 7 |
| <p>Семья и ближайшее окружение. – Три круга моей «экологической ниши», ее разрушение и восстановление. – Война 1941–45 гг.: эвакуация, интернат, госпиталь. – Школа обычная, необычная и художественная. – О политике и культе личности Сталина.</p> | |
| Глава 2. 1951–57 гг.: учеба в МАРХИ | 22 |
| <p>Учеба в Архитектурном институте (МАРХИ). – «Дело врачей»: кто есть кто вокруг меня? – Социальные реалии жизни большого и малого города. – Прорыв в большой мир: работа над книгой «Оскар Нимейер». – Учитель и ученик: проблема дистанции в новой науке ой науке.</p> | |
| Глава 3. 1957–66 гг.: мир становится еще шире | 33 |
| <p>Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве. – Работа в Академии архитектуры: первый опыт междисциплинарности. – Двойное глубокое погружение: в историю отечественной урбанистики и американскую социологию города. – Конфликт методологический и политический. – О круге близких и статусе «между».</p> | |
| Глава 4. 1967 г.: переход в Академию Наук | 45 |
| <p>Расширение интеллектуальной среды и сферы познания. – Погружаюсь в историю городской социологии в России. – Реалии той жизни: суды гражданский и уголовный. – Новая область социологического интереса. – Сольвычегодск и Устюг Великий. – Программа «Экополис». – М. Кастельс и конференция «Большие города мира».</p> | |

Глава 5. Конец 1970-х гг.: погружение в экологию 68

Защита докторской и «ссылка» к естественникам. – От Канады до Гонконга: Программа ЮНЕСКО «Человека и биосфера. – Концепция первичной экоструктуры. – «Города Европы»: первый международный проект по проблеме общественного участия. – Перестройка: мой выбор.

Глава 6. Перестройка: 1985–91-е гг. 80

Об эмиграции и миссии социолога. – Общественные движения: исследователь, эксперт, советчик. – «Вы – социалист?». – Самореализация, самоорганизация и самоуправление. – Кто были эти инициативные люди на местах? – Ресурсы. – Разговоры с Марью Лауристин и другими. – Интервью длиною в пять лет.

Глава 7. Перестройка: 1985–91 гг. (продолжение) 103

Студенческое и «взрослое» природоохранное движение. – Роль социолога: советчик, критик. «Третий лишний»? – «Нормальное» и мобилизационное исследование. – «Размежевание транснационалов и местных – Публичность социологии прежде всего?

Глава 8. 1990-е гг.: рискология как наука 120

Концепция «общества всеобщего риска». – Почему рискология столь актуальна сегодня? – От эмпирики – к теории. – Накопление энергии распада и критический случай. – Н.Ф. Наумова о человеке в условиях кризиса. – Риск как источник прибыли и предмет торга.

Глава 9. 1993–99 гг.: русский европеец? 138

Дефолт 1998 г. и российские зеленые. – Изучаю сети российской экополитики. Сотрудничество с Х.П. Кризи. – Вестернизация российского экологического движения: приобретения и потери. – Русский европеец в ситуации раздвоенности. – Активизм против науки. – Политическая маргинализация. – Человек или матрица?

Глава 10. На рубеже тысячелетий 157

Сорок лет спустя: переоценка концепции урбанизации. – Социальный метаболизм города (доклад в Вене 1999 г.). – Роль городской среды. – Город как сетевой процесс. – Перспектива: от «вмещающего» ландшафта к технологическому

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 11. Начало нулевых | 169 |
| Моя собственная «экоструктура» в историческом измерении. – Семейный архив как индивидуальный «случай». – Письма деда с русско-японской войны. – Точка отсчета и культурная дистанция. – Историки и социологи: врозь или вместе? | |
| Глава 12. Современность (продолжение)..... | 188 |
| Этос Вернадского и миссия ученого. – Иной контекст – другой этос? – Этос российского социолога сегодня. – «Узкое» как интеллектуальная среда. – Итог: трансформация социологической науки. | |
| Глава 13. Современность (окончание) | 203 |
| Публичная социологии и ее «лицо». – Моя аудитория. – Об эпистемологии. – Эпистемология средового подхода. – О значении культурного контекста. – Адвокаты и защитники. | |
| Postscriptum | 227 |
| Именной указатель | 232 |

Введение

Я начал заниматься социологией с конца 1950-х гг., то есть так или иначе уже вовлечен в этот процесс более полувека. При некотором моем участии она начала формироваться, причем, существенно, что по крайней мере трижды происходила смена ее понимания: от дисциплины как неотъемлемой части марксизма-ленинизма к социологии как поставщику эмпирических данных для массового потребителя и далее – к «догоняющей» науке, объясняющей российские реалии чаще всего с использованием методологических схем и концепций западной социологии.

Три обстоятельства определили мою специфическую исследовательскую и человеческую позицию в этом процессе. Первое, что я рос и формировался в среде врачей, путешественников и интеллигенции естественнонаучного профиля (математиков, геофизиков). Поэтому междисциплинарность была для меня естественной, тогда как большинство моих коллег-социологов исходили из максимы Дюркгейма «социологические факты – только из других социологических фактов». Вместе с тем, пребывание в среде врачей привило мне интерес к «пациенту», то есть отдельному человеку, его проблемам и недугам. Второе, что я шел к высокой теории от реальных проблем урбанизации и экологии, проблем, которые тогда в советской социологии не существовали вообще, а потом всегда

числились по рангу «теорий среднего уровня». Поэтому является ли социология неотъемлемой частью марксизма-ленинизма или нет – меня интересовало мало. Как и следовало ожидать, дискуссии 1960–70-х гг. на эту тему ничего не дали науке и канули в лету. Третье, и наверное самое главное, что я вероятно в силу своего характера и некоторых обстоятельств жизни сразу занял критическую позицию, стремясь интерпретировать урбанизацию не как плод «буржуазной лженауки», а как всемирно-исторический процесс развития и концентрации общения людей как предпосылку и результат социетальной динамики. То есть занимал позицию «вопреки» и получал интеллектуальное и моральное удовлетворение от борьбы за продвижение этой точки зрения.

К сожалению, преемственность в развитии социологического знания в стране сегодня нарушена. Студенты, аспиранты и даже молодые научные сотрудники, стремясь «за бегущим днем», не знают или не интересуются историей отечественной, да зачастую и зарубежной социологии в разнообразии ее ветвей и школ, а тем более – критическим анализом этой истории. Интенсивная «перекачка» идей и методик с Запада без их должного критического осмысления, а главное – соотнесения с реалиями российской действительности, продолжается. Отсюда, незнание, того, откуда эти идеи появились и какова была судьба людей, их отстаивавших. А также тех, кто подвергал заушательской критике и гонениям тех, кто имел свои собственные взгляды на социальный процесс. Это легко увидеть, если сравнить количество и тщательность работ по истории отечественного естествознания, включая биобиблиографические и другие справочники и энциклопедии, с той бедностью, которая существует в биографии российской социологии. В общем проблема «русского европейца» в отечественной социологии присутствовала со времени ее становления в XIX веке.

История отечественной социологической науки *в лицах*, за исключением одной монографии¹ и опубликованных в отечественных журналах интервью с ее трех–пятью «грандами», изучалась мало. А подобная история дисциплины, которая развивается во всем мире (environmental sociology), а у нас до сих пор даже не имеет устоявшегося названия, – ее именуют то экологической социологией, то социальной экологией, и которой нет места в официальной таблице о рангах социологических наук, – вообще может уйти в небытие. Поэтому я чувствую потребность рассказать (и поразмышлять) о том, как возникла и формировалась эта странная дисциплина, свидетелем и участником чего я был.

Почти всю жизнь я вел записные книжки и собирал собственный архив (мои собственные интервью с лидерами и участниками экологического и других общественных движений, учеными, чиновниками, студентами по всей стране, письма, документы), которые стали серьезным подспорьем в этой работе. В разное время я дал несколько интервью автобиографического характера уважаемым социологическим журналам и одновременно написал книгу о своей семье и ее ближайшем окружении², фрагменты из которых я счел полезным включить в эту работу.

¹ Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / отв. редактор и автор предисловия Г.С. Батыгин. СПб.: Русский гуманитарный институт, 1999.

² Яницкий О.Н. Семейная хроника. 1852–2002. М.: Издательство LVS, 2002.

Я с большим интересом прочел обстоятельную автобиографию И. С. Кона³, профессиональные биографии моих коллег и современников Э.А. Араб-Оглы, А.Г. Здравомыслова, Н.Ф. Наумовой, В.А. Ядова и многих других. Однако в качестве образца для повествования я взял книгу выдающегося российского историка А. Я. Гуревича⁴, на которую далее я буду неоднократно ссылаться, а в некоторых случаях – и спорить с нею. С А.Я. Гуревичем я познакомился в конце 1970-х гг. в Ленинской библиотеке, где мы, стоя у балюстрады, неоднократно обсуждали проблемы междисциплинарного исследования и, в частности, проблему перевода с социологического языка – Аарон Яковлевич называл его «птичьим» – на языки исторической науки и обыденного сознания. Я не отношу себя к ученым подобного масштаба, но думаю, что мое собственное участие в формировании сугубо междисциплинарной отрасли знания, каковой является экосоциология (здесь и далее я буду использовать это ее название), может представлять интерес для читателя.

Есть и другой ученый, который косвенно подвиг меня на написание этой книги. Он пока не написал собственной интеллектуальной биографии, но, расшифровывая и публикуя в течение 10 лет дневники В.И. Вернадского (а они по сути и являются интеллектуальной биографией этого великого ученого), в комментариях к ним он поднял огромный пласт фактического знания о русской и советской науке конца XIX – первой половины XX веков «в лицах». Это мой одноклассник Владислав Павлович Волков, геохимик, ставший историком русской науки. Надеюсь, что мои заметки будут вкладом в подобную работу по истории отечественной экосоциологии. Наконец, «референтной точкой» были для меня письма к родным моего деда, Федора Феодосьевича Яницкого и его дочери Веры Федоровны Шмидт (урожденной Яницкой). Я приношу глубокую благодарность моей жене, Кузиной Галине Ивановне, и дочери, Татьяне Олеговне Яницкой, за их замечания и предложения по начальной редакции книги. Я искреннее признателен Юлии Александровне Рудковской, Светлане Игоревне Давыдовой и Ольге Александровне Усачевой за помощь в составлении аннотированного указателя имен.

Этот Указатель включает далеко не все имена, упоминаемые в тексте, поскольку он составлен с единственной целью: очертить круг личностей, сыгравших в формировании моей биографии определенную роль. Иногда это были близкие мне люди, здравствующие или уже давно ушедшие, в одних случаях – сверстники, в других люди другой эпохи. Часто вместо ссылки на Указатель я просто обозначаю место того или иного человека в российском или ином контексте. Мне также казалось излишним давать в Указателе имена многих великих именно в силу их известности. Напротив, я часто привожу имена людей никому не известных, но ставших весьма значимыми для меня, как я вижу это сегодня. При всей «мозаичности» такого подхода, он отвечает поставленной выше задаче.

Текст книги построен хронологически, но временами я буду делать отступления, когда какой-то момент моей биографии будет важен для понимания развития моего «индивидуального жизненного проекта». Существовал ли он вообще – об этом судить читателю.

³ *Кон И.С.* 80 лет одиночества. М.: Время, 2008.

⁴ *Гуревич А.Я.* История историка. М.: РОССПЭН, 2004.

Глава 1. 1930–40-е гг.: детство

Семья и ближайшее окружение. – Три круга моей «экологической ниши», ее разрушение и восстановление. – Война 1941–45 гг.: эвакуация, интернат, госпиталь. – Победившие и выжившие: какими они были? – Школа общеобразовательная и художественная. – О культе личности Сталина.

1. Семья и ближайшее окружение

Я – москвич во втором поколении. Первых лет жизни в самом центре Москвы на Никольской ул. не помню. Мы переехали на Смоленский бульвар, д. 13 (котором тогда еще действительно был бульваром), когда мне было два года. У меня сразу появилась *отдельная комната*, комфорт по тем временам немыслимый. Обстановка была самая простая: железная кровать с пружинным матрасом, постель, накрытая узорным покрывалом, фанерный шкафчик для белья, этажерка для книг и, моя гордость: деревянный стол, три стульчика (живы до сих пор) и диванчик ручной работы.

На стенах – ничего, в 1940-х гг. – портрет И.В. Сталина, вырезанный из какого-то журнала. На окнах ситцевые занавески. На этажерке книги, но не сказал бы, что это была тщательно подобранная детская библиотека. От «Маугли» Р. Киплинга до «Приключений почемучки», в общем – разные. Игрушек было немного, но две, наверное очень дорогие: электрическая железная дорога и паровой котел, работающий на спиртовке. Два больших ящика кубиков. Самым интересным были для меня набор детских столярных инструментов и деревянный ящик с гвоздями разного калибра – подарок двоюродного брата Владимира (Волка). И конечно, много всего для рисования.

Неотъемлемой частью жизненного мира была дача: летом – на Николиной Горе, а зимой по воскресеньям (1939–41 гг.) – в Горках Х. С хождением в лес, купанием в Москве-реке, собиранием грибов и ягод, долгими воскресными завтраками за большим столом на открытой террасе, большим погребом, в котором никогда ничего не портилось вплоть до конца августа, вечерними прогулками по шоссе, обязательными семейными фотографиями – в общем нормальная (если считать то страшное время нормальным) летняя жизнь московской интеллигенции. Дачный поселок Николина Гора (официальное название «Кооператив работников науки и искусства», РАНИС) был средоточием элитарной части этой интеллигенции⁵. Было четкое ощущение «своего мира», который одновременно защищает и ведет, воспитывает, мобилизует. Его я и называю своей экологической нишей.

В 1930-х – начале 1950-х гг., когда еще не было ни хороших дорог, ни все проникающего «трафика», дача была скорее не продолжением городской жизни, а ее противоположностью. Тогда Николина Гора была еще не ближайшим пригородом, а удаленным и противоположным городскому духу местом. Оно так и выбиралось, чтобы было иначе и – «не для всех». Мост через Москву-реку был

⁵ См. о ней: *Наша Николина Гора*. М.: Издательский дом Тончу. Т. 1 и 2. 2008. Одним из инициаторов создания книги был мой, ныне покойный брат Владимир Оттович Шмидт, а я был одним из 126 ее авторов.

деревянный, и его сносило почти при каждом весеннем половодье. В те далекие годы воскресная тишина в сосновом лесу, в котором располагался поселок, лишь изредка нарушалась тарахтением грузовиков, вывозящих «фабричный люд» на коллективный отдых, а позже – снующими к дипломатическому пляжу лимузинами. Ночью тоже было тихо, только по воскресеньям около четырех утра сон прерывался приглушенным рокотом правительственного ЗиСа – по булыжному спуску вниз, к даче В.П. Потемкина. Тишина была столь же естественной, как наступление утра, когда начинались жужжание шмелей и стрекот кузнечиков. С начала 1950-х гг. утром и вечером от поселка до станции Перхушково ходил автобус с неизменным водителем В.В. Тараненко (а в годы войны по тому же маршруту ходила лошадь с телегой для детей и ручной клади). Тогда Николина Гора была «конечной остановкой», оазисом тишины и покоя, а не коридором глухих безликих заборов вдоль транзитной «трассы».

В те давние времена за последним никологорским забором сразу же начинался многокилометровый лес, а в нем были ближние и дальние «окна» – обширные поляны, нагретые солнцем и полные земляники. В конце поселка под горой было болото, а в нем лоси и другая живность. По краям болота мы ходили собирать ранний щавель для зеленого борща. Ближайшие деревни – Аксиньино, Иславское, Масловка – были почти частью Николиной Горы, поскольку снабжали ее молоком, сметаной, яйцами, грибами и ягодами и всяческой огородной продукцией. По воскресеньям и в означенные дни будней с утра и до полудня из-за дачного забора раздавался знакомый крик: «малинки, ягод...не надо?» (штaketник-то заборный был низенький, реденький, все видно насквозь, а сейчас – попробуй докричись). Натуральность и свежесть деревенского продукта, равно как и доверие дачника к поставщику, были настолько сами собой разумеющимися, что говорили только о цене. Из окрестных деревень приходили наниматься няньками девочки-подростки, которые потом часто уезжали вместе с хозяевами в город. В тех же деревнях набирали работников, которые клали печи, копали погреба, строили сараи, ремонтировали, убирали, оставались сторожами на зиму.

Дачи тогда редко строились «под ключ». Чаще всего их основой был деревенский сруб, привезенный издалека или купленный по случаю, который год за годом обстраивался и надстраивался, как говорили некоторые никологорцы, «под очередной гонорар» владельца. А главное – иногда и по их собственным проектам вплоть до отделки и обстановки. Но это именно иногда, а, как правило, внутри был тот же сруб, окна – маленькие, потолки – невысокие. Лучшими участками тогда считались те, которые шли вдоль бровки Москвы-реки, чтобы с видом на реку и заливные луга за нею (крутой обрыв к реке не был еще столь заросшим). Но от шоссе дома тоже не отворачивались – тогда оно было не «трассой», а главной местной улицей и променадом, где по вечерам, когда спадала жара, неспешно гуляли, обменивались новостями.

Тогда участки были очень большими, до одного гектара, а главное – еще не поделенными между детьми и внуками. Уклад жизни тоже был иной. Газа и водопровода не было, приходилось пилить дрова, топить печи, носить воду из колодца. Не было и холодильников – погреба набивали всей семьей в марте, и снег в них держался вплоть до августа. Оттуда приносили квас, сделанный на черных сухарях с добавлением изюма, брали снег, чтобы «крутить» в мороженицах домашнее мороженное. Ставили самовары, которые разжигали сосновыми

шишками, собранными здесь же на участке. У некоторых был сад – яблони, вишни, малинник. Во время войны держали кур, некоторые – коров.

Тогда дачники проводили гораздо больше времени на свежем воздухе, который действительно был свежим. Они готовили, ели и пили на открытых террасах или под навесами, на наспех сколоченных столиках писали книги и статьи, играли с детьми, убирали, стирали и гладили, косили траву, ухаживали за цветами, отдыхали в гамаках. После войны в поселке появилось много машин. Одни были «персональные», с шоферами, за другими с удовольствием ухаживали сами. Тогда не было бебби-ситтеров, но были старые няни, близкие, любимые нами люди. В иных домах они были настоящими домоправительницами, которым подчинялся весь уклад дачной жизни.

Центром летней жизни была обычно крытая веранда. На ней за большим столом к обеду собиралась вся семья. Рассаживались по годами слагавшемуся семейному чину. Но сколько бы не пришло или приехало еще – родных или просто знакомых – всем всегда хватало места и еды (терраса – этот центр семейной жизни обитателей дачи брата, Владимира Шмидта, и многочисленных друзей и родственников – просуществовала в неизменном виде почти 60 лет). Другим центром притяжения была река. Тогда она была столь чиста, что ее воду можно было пить. Стирать белье в ней строжайше запрещалось. На реку тоже старались ходить семьей. Не помню, чтобы тогда я видел на пляже пьяного. Не менее характерная деталь: на пляж (а перед ним была еще полоска луга, который тогда еще регулярно косили деревенские) не ездили, а ходили пешком (даже самые именитые), на обратном пути с трудом преодолевая крутой подъем – ни лестниц, ни перил тогда не было.

Радужие и открытость были в обычае. Все практически знали всех. Может быть, мой опыт и не совсем типичен, поскольку мой брат был более 30-ти лет заместителем председателя дачного кооператива – через воскресенье он уходил на заседание его правления, а потом, когда он возвращался (как раз после обеда), к нему постоянно шли люди. И хотя нормой поселкового уклада было невмешательство в жизнь соседей, дети были той текучей субстанцией, которая не признавала никаких заборов и размежеваний. Конечно, между подростками бывали и ссоры, случались и драки, но вообще «мелкий народец» жил дружно, постоянно перемещаясь с участка на участок. Слово «безопасность» нам, тогда 10–15 летним, было незнакомо.

Высокие заборы и охрана за ними – тогда все это уже было, хотя и немного. У членов правительства были свои купальни на реке, но ничем не огороженные и не охраняемые – мы на них загорали, ловили рыбу. Никологорцы тогда не снимали с ворот табличек со своими именами, а узкие стекла машин не тонировались в целях безопасности, и считалось неприличным не подкинуть до станции (или до самой Москвы) человека, голосующего на никологорском шоссе. Во всяком случае прошлую открытость жизни дачников и сравнить нельзя с той «непроницаемой» Николиной Горой, какой она стала сегодня.

В центре поселка была общественная территория. Работали детская площадка и кружки. Для молодежи и подростков каждый вечер – большой волейбол. В конце дачного сезона в центре поселка на общественной веранде силами самих никологорцев (взрослых и детей) устраивался концерт. Съезжалась вся округа. Но можно было просто постоять на проспекте около дачи С.С. Прокофьева и послушать его игру. Или раньше – пение В.В. Барсовой или М.В.

Гольдиной, жены Н.А. Семашко. Мои родители, Н.Ф. и Е.Ф. Яницкие, были дружны с семьей художника А.И. Кравченко, у старшей дочери которого, Л.А. Кравченко, я брал свои первые уроки рисования. Потом я учился живописи у Н.В. Дмитраш, свояченицы В.В. Шверубовича, сына В.И. Качалова. В те годы Николина Гора была местом концентрации научной и творческой элиты страны. Европейски образованной и европейски ориентированной, несмотря на периодические инвективы власти в ее адрес. Эти люди не только жили своей городской, очень напряженной жизнью, но находили время общаться с детьми и подростками. Осознали ценность этого общения многие из нас гораздо позже, столкнувшись с иными реалиями жизни, но смутное ощущение какого-то необычайно интересного окружения появилось очень рано.

2. Три круга моей экологической ниши

Я рос без бабушек и дедушек. Бабушка со стороны отца умерла еще в 1913 г., дед (как выяснилось много позже – глава семьи и стержень всего семейного клана, сильное влияние которого ощущается мною до сих пор) был тогда уже очень стар и малоподвижен. Была еще мамина мама, но она тоже жила не с нами. У меня была родная сестра Ирина, которая была на 16 лет меня старше, так что фактически принадлежала к другому поколению, и мы «познакомились» с нею на равных, когда мне было уже 25 лет. Были у меня няни, первой не помню, а потом, в 1939 г., появилась Анна Васильевна Ткалич, моя «настоящая» и единственная няня, но прежде всего – член нашей семьи, которой мы все обязаны очень многим (достаточно сказать, что во время войны, работая кочегаром в домовой котельной, она сберегла нам московскую квартиру).

Родители работали, потом стали надолго уезжать в экспедиции в Казахстан. Сестра Ира училась в институте, в 1937 г. вышла замуж, родила сына, хотела перейти в театральное училище, но перед экзаменом попала в автокатастрофу. В общем я рано привык быть один, заниматься «сам собой». Были мои ровесники по дому (дом научных работников), с Леней Коганом (теперь академиком архитектуры Л.Б. Коганом) дружим домами до сих пор. Конечно, я был всегда накормлен и обстиран, но собственно «воспитания» не ощущал. Это скорее была «невидимая» школа воспитания, которую отец практиковал, унаследовав ее от своей матери, прирожденного педагога. Отец, будучи человеком музыкально одаренным, сокрушался, что у меня нет слуха. Вместо пения, я что-то выкрикивал. Одно время он пытался учить меня музыке сам (дома был кабинетный рояль), но безрезультатно. Зато я постоянно рисовал, даже на стенах огромной правительственной квартиры дяди О.Ю. Шмидта на ул. Грановского (теперь Романов пер.), за что получил от него страшные нагоняи (квартира-то была казенная). В шесть лет меня отдали в частную группу детей-сверстников по дому: гуляли, играли, пели, слушали сказки, но слух прорезался много позже.

Меня никогда не били, наказывали редко, но болезненно. Мама говорила отцу: «Не нуждаюсь я в твоём адвокатстве!» и наказывала меня молчанием: переставала со мной разговаривать, иногда на день-два, а иногда и на неделю и больше. Я бы сказал – довольно жестокое наказание для ребенка. Иногда даже грозила отправить меня жить в интернат «на исправление». Только в годы войны, живя в интернате под Казанью, я понял, что это может быть даже очень интересно – жить в (хорошем) интернате.

Все же глядя назад, я могу сказать, что в детстве у меня была своя «ниша» – *устойчивая, благожелательная, разнообразная и в то же время мобилизующая*. Старшие (поколение родителей) были неизменно благожелательны ко мне, средние (поколение сестры и двоюродного брата) – тоже. Был круг самых близких родственников и знакомых (дядя Миша, Ася Ивановна Коган – мать моего друга Лени), которые всегда мне были рады и подолгу занимались мною. Кстати, именно дядя Миша (акад. АН СССР Михаил Викторович Кирпичев) развил во мне интерес к рисованию, и вместе с двоюродным братом Владимиром – к технике. Брат со мной возился много, в его семье тогда уже был автомобиль.

Был круг более дальних, но тоже внимательных ко мне, игравших или позже *подолгу разговаривавших со мною* (Борис Петрович Зепалов и Евгений Карлович Бетгер, школьный и университетский товарищи отца). К этому, второму, кругу относились и жители Николиной Горы – ученые, художники, артисты. Друзья родителей – А.Г. и А.З. Калашниковы. Рядом, забор в забор, жил врач и нарком здравоохранения Н.А. Семашко, напротив артист В.И. Качалов, дальше дачи Вересаевых, Касаткиных, Томских, В.В. Барсовой. Даже соседство или мимолетное общение с этими людьми было фактором моего интеллектуального воспитания.

Наконец, был круг «великих»: О.Ю. Шмидт, Г.А. Ушаков⁶, другие знаменитые полярники, герои-летчики. То были высшие референтные точки детского сознания, если так можно выразиться. С «великими» я общался мало, но слушал и смотрел на них жадно, ведь они были везде – по радио, в газетах, в детских книжках. Главное общение было на даче по воскресеньям, в часы отдыха. Там «великие», как и остальные, гуляли по лесу, плавали на байдарках, слушали музыку – это были домашние концерты, играли в теннис и городки, много читали, слушали декламацию других, сочиняли оды и эпиграммы, ставили шарады, играли в слова, по вечерам долго сидели за большим обеденным столом в гостиной. Они были государственными людьми, чрезвычайно занятыми. Но традиции большой демократической семьи были еще живы.

Первые два круга моей «ниши» были домашние, третий – великий, мировой. Но чем его люди были «отдаленнее», тем важнее, значительней для меня. Летом мама дважды брала меня на Юг (1935 и 1937 гг.), там эта «ниша» продолжилась – там тогда были писатель К.И. Чуковский, знаменитый советский полярный летчик А. В. Беляков. И все же по возрасту и социальному статусу (родственник) я находился на периферии этого элитарного сообщества. Я не принадлежал к нему по рождению и, следовательно, не мог наследовать его преимущества и возможности (дача, знакомства, связи родителей). Я был всего лишь племянник, а не прямой наследник. Мать, весьма гордая по натуре, всеми силами стремилась закрепиться в этом кругу «великих», отец – нет. Тем не менее даже такой «косвенный» ресурс или, как теперь его именуют, социальный капитал, родственника и никологорца много раз помогал мне в жизни и заставлял поддерживать «планку интеллигентности». Когда в августе 2008 г. мы, бывшие и настоящие никологорцы собрались на общественной веранде по случаю 80-летнего юбилея Николиной Горы и выхода книга воспоминаний о ней, оказалось, что, эта высокая планка существует и до сих пор. С годами эта аура «неземных и доброжелательных» постепенно таяла, но «референтная точка» в моем сознании как образец, норматив осталась на всю жизнь. Думаю, что интерес к науке,

⁶ Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженной земле. СПб., 2001.

искусству, технике – все это было заложено в детстве и соединилось потом в моих экосоциологических штудиях, где три эти сферы познания мира переплелись достаточно причудливым образом.

И еще. Я рос болезненным, «прозрачным» ребенком. Много мне запрещалось. Периодически над моей кроватью склонялись головы других «именитых» – детских врачей. Тут было мамино царство, здесь она чувствовала себя хозяйкой. Запреты и предписания сыпались со всех сторон. В театры, кино, в общественный транспорт меня не пускали, кутали чрезмерно, контакты с «чужими» детьми ограничивали. Так что «ниша» моей детской жизни была, хотя и обеспеченная, интеллигентная и доброжелательная, но строго ограниченная, а посему искусственная. И когда началась война, я разом попал в другой, не просто реальный, но очень жестокий мир.

3. Война 1941–45 гг.: эвакуация, интернат, госпиталь

Великая отечественная война 1941–45 гг., как и для миллионов других детей, была для меня *тотальным разрушением привычной жизненной «ниши»*. Эвакуация в Казань: все чужое, непонятное, опасное. Ночная погрузка в поезд, лошади, подводы, толпа, начальственные окрики, кругом полно незнакомых людей – в вагоне, на платформе. По дороге поезд часто останавливается. В стоящих рядом теплушках – люди вперемешку со скотом. На каком-то полустанке с сестрой Ирой ползем под пятью составами (каждый может в любой момент тронуться!), потому что мне срочно нужно в медпункт. Потом так же ползком под составами обратно. Постоянный страх отстать, потеряться. Наконец, прибыли. Нас, эвакуированных, поселили в огромных аудиториях Казанского университета. Десятки кроватей, длинные столы посередине, уборная в коридоре. Вот и вся «среда обитания». 24 часа на людях. *Все на виду, некуда спрятаться*. Смерть Саши – маленького сына моей сестры Иры. Ее не вижу. Даже не страх, а оупение.

Затем, в течение нескольких дней второе переселение. Старый заброшенный деревянный дом на ул. Достоевского на окраине Казани. Все кругом заросло. Вечер. Мы с тетей (Серафимой Федоровной Кирпичевой) вдвоем на полу на двух матрацах в комнате на первом этаже. Больше никого нет. Света нет, темно. Снова возникает ощущение потерянности, кажется, до нас никому дела нет (только много позже узнаю, что О.Ю. Шмидт совершал в те дни одно из самых своих героических дел – он руководил эвакуацией на Восток всей Академии Наук СССР. Конечно ему было не до нас. Потом телеграмма И.В. Сталина: «Шмидта снять»).

Третье переселение: комната в старом особняке на ул. Щапова. Второй этаж. Чужая семья. Шум, гам, ругань, плачь детей. Тесно, опять все время на виду, кругом чужие. Наконец, вижу сестру (она только что похоронила сына Сашу, вторые похороны за два года!). Через несколько дней еще одно переселение, но уже в том же доме – большая комната на первом этаже в семье Прокофьевых-Колесовых, где мы осядем на полтора года. Нас в комнате шесть человек: мама, папа, сестра Ира, жена двоюродного брата Ирина Никифоровна с дочерью Асей и я. Чуть спокойнее. Прямо посреди комнаты кладут печь, труба – в окно. Дым ест глаза, потом привыкаю. Первое самостоятельное и ответственное действие: мне, 8-летнему, дают талоны на всю семью на месяц в общественную столовую и, о ужас, я их тут же теряю! Нахожу их на пороге дома через час. Ноги дрожат.

Чрезвычайно болезненно воспринималась *ненависть местных* ко всем нам, потому что мы – эвакуированные, «чужаки», москвичи. Открытые угрозы: «Вот немец придет, тогда узнаете...». Нам бьют стекла, кидают камни в окна. Мой московский кокон «доверия и доброжелательности» трещит по швам. Первая реакция – удивление: «В чем же мы виноваты?». Только позже осознаю, как было непросто и опасно. Очень понимаю сегодняшних «вынужденных переселенцев». Все кончается *сильным стрессом и моей долгой болезнью*: корь, коклюш, воспаление среднего уха. Надо оперировать. Мама несет меня на закорках в больницу. Меня привязывают к столу (еще одно новое ощущение). После болезни – я уже другой человек, если так можно сказать о ребенке 8-ми лет.

Выздоровев, начинаю понемногу адаптироваться, как зверек осваивать новое жизненное пространство. Все – внове! Коммуналка, длинный темный коридор с множеством дверей, в конце – огромная кухня, но все готовят еду в комнатах, иначе ее могут украсть. При кухне комнатка «завхоза», так он нам представился, и на какой-то мой детский вопрос вдруг медленно процедил: «Кому война, а кому мать родна» (потом мы у него не раз покупали продукты). Когда я был дома один, нас два раза обкрадывали. Один раз поймал воровку за руку, но она вырвалась и убежала. Пришел в слезах к маме в госпиталь: «Мама, нас опять обокрали!». Чувства бессилия и унижения. В подвале дома живут воры и вообще странные люди. Кажется, что *жизнь все больше поворачивается ко мне своей темной стороной*.

Все же привычная «экологическая ниша» постепенно восстанавливалась. Зимой 1941–42 гг., в школу я не ходил, снова долго болел и начал читать толстые книги самостоятельно: «Тайну двух океанов» Г. Адамова и «Плутонию» В.В. Обручева. Наконец, выздоравливаю и снова вижу своих близких, «свой круг»: Шмидтов, Калашниковых, Кирпичевых. Любимые и доброжелательные лица! Отца и мать вижу мало: отец в постоянных командировках, мать допоздна (часто и ночью) в госпитале, она – начальник медицинской части, потом начальник госпиталя. Сестра Ира – там же, лаборанткой.

Более того, моя «ниша» постепенно расширялась: *мамин госпиталь стал вторым домом*. Раненые – молодые и не очень – были доброжелательны ко мне. Странно, но в этом огромном госпитале, пропитанном болью и кровью, я чувствовал себя в безопасности (то есть дефицит моих эмоциональных ресурсов постепенно восстанавливается – я снова среди людей). Собирал для раненых гостинцы: курево, бумагу, чернильные карандаши. И ведь кто давал: те же «странные люди» из подвала (воры и проститутки). Ходить туда уже не боялся, знал, что для раненых они всегда что-нибудь дадут. Потом выздоравливающие раненые нашли дорогу к нам домой, к сестре. Стеснялись. Только сейчас понимаю, какими же они были молодыми. Сестре – 24 года, раненым – еще меньше. Мамы они боялись как огня – это же самоволка, нарушение госпитальных правил, могут досрочно выписать. Вообще, *начинал осваивать некоторые правила взрослой жизни военного времени*.

Ходил в госпиталь обычно к вечеру. По вечерам там было кино для раненых. Смотрел все подряд. Сопереживал с ранеными, сидящими рядом. Иногда сестра Ира ставила для них спектакли и сама играла главные роли (хоть так ее мечта быть актрисой реализовалась). Мама оставляла мне свой скудный ужин. Не знаю, но сегодня мне кажется, что пребывание в госпитале, в этой больничной среде, среди раненых, врачей, нянечек и сестер, было тогда для меня привычным и

даже целительным. Что-то в быстро взрослевшей детской душе восстанавливалось, утверждалось (до сих пор один из немногих любимых телесериалов – «На всю оставшуюся жизнь: поезд милосердия»). Может быть, это – социальная генетика. Все же дед, бабушка, мама, многие из ближайшего окружения были врачами. Или это была просто потребность быть среди людей? Но был не только госпиталь. Параллельно я начал расширять свое новое жизненное пространство, становясь «уличным мальчишкой». Мы, несколько подростков, объединившись, пытаемся добывать себе дополнительное пропитание. Едва не был убит, когда попытался сбросить кочан капусты с проезжавшего мимо обоза. Все же эта первая точка бифуркации на линии жизни – между «улицей» и «домом» – была пройдена пользу последнего. Вновь чувство защищенности своей средой я обрел в интернате под Казанью (апрель–сентябрь 1942 г.), где жили дети сотрудников Академии Наук. Оказалось, что «свой» интернат – это даже очень здорово! Хотя палаты на 10–15 детей, но отношение к ним «домашнее». Директор Лидия Александровна Давыдова вечером берет несколько детей к себе в комнатку на втором этаже и пересказывает сказки («Кентервильское привидение»). Оживаю, начинаю понимать юмор и читать стихи.

К тому же снова можно быть в лесу или на озере, посидеть на высоком песчаном откосе. Тем самым восполнялась еще одна потребность – быть на природе. Правда, это пребывание своеобразное. Внизу, под откосом – сортировочная станция Юдино, где стояли платформы и вагоны с техникой, только что пришедшие с фронта. Несмотря на строжайший запрет, мы спускались туда, искали патроны, остатки снаряжения. Хватало ума не тащить найденное в палаты. В жизни в эвакуации была и другая, светлая сторона. Долго болея, я быстро научился читать самостоятельно. И – снова о госпитале. Я не был на войне, но раненые – это ее дыхание. Я бывал среди них очень часто, прислушивался к их разговорам – о войне, об их близких, о сестрах и санитарках (вот уж была школа жизни). Но главное – впервые почувствовал себя обязанным помогать кому-то. Возможно, именно там зародился мой интерес к общественной стороне жизни.

4. Школа обычная, необычная и художественная

Мы вернулись в Москву 23 мая 1943 г. Я был так счастлив – снова дома, с своей комнате! Осенью я пошел сразу в третий класс. С третьего по пятый классы я учился в «обычной» школе в Кропоткинском переулке. Сохранилось ощущение спокойного, доброжелательного отношения к нам старых учителей (молодые были на фронте), пожилых уставших и недоедавших людей. Было голодно и холодно. Улицы завалены снегом. Когда в школе не было света, старая учительница при свече читала нам «Князя Серебряного» А.К. Толстого. Не уверен, что это было «рекомендованное» внеклассное чтение. Часто дрались, еще чаще меня били и отнимали что-то. Не столько было больно, сколько обидно – за что?...

Родители и сестра снова были на работе, няня Анна Васильевна все еще работала кочегаром в домовой котельной, и я снова был предоставлен самому себе. Читал. Начал осваивать библиотеку отца, главным образом энциклопедии: Большую Советскую, Брокгауза и Эфрона...И вдруг увидел трехтомник Челюскинской эпопеи: «Поход Челюскина», «Гибель Челюскина» и «Как мы спасали Челюскинцев»! Он был издан до войны, но я увидел его только тогда, в 1944 или 45-м.

Я читал не отрываясь. А снимки и картинки! Плавание, тонущий корабль, бесстрашные люди, прожившие на льду в палатках и снежных домах 100 дней, летчики, вывозившие людей на самолетах! Особенно меня поразило, что там (на льду!) они выпускали стенгазету, потому что в школе я именно этим занимался. Причем это были не статьи, а *рассказы самих участников* (то, что потом в социологии официально получит статус метода «устных историй»). Эти три толстенные книги оказали на меня чрезвычайное психологическое воздействие и интеллектуальное влияние. Ведь это все было *«мое»* – я видел, знал многих из тех, кто смотрел на меня с фотографий. Я их знал *сначала*, а потом уже увидел в книге. А дядя, Шмидт, был самым главным – начальником экспедиции. Это были не книжные герои (легендарный пограничник Карацупа или герои Май-Рида), а близкие и понятные мне люди – ученые, полярники, врач, художник – и одновременно герои, образцы, «референтные точки сознания», как сказали бы сегодня. *Чувство причастности* к чему-то очень значительному, героическому и одновременно человеческому было очень сильным. За этим последовали «Жизнь на льдине» И.Д. Папанина (тоже, замечу, в дневниковой форме, которая мне, подростку, очень нравилась) и другие книги о полярных экспедициях и путешествиях. Далекое было близким! Так эти образы героев и живут в моем сознании по сей день.

И еще: ничего не могу со своей головой поделывать. Каждый раз сегодня, когда случается очередная катастрофа с десятками, а то и сотнями погибших, особенно в море, я вспоминаю, что тогда, в 1934-м, когда быстро затонул не приспособленный к плаванию в тяжелых льдах «Челюскин», из 103 членов экспедиции погиб всего один человек! И только потому, что не послушался команды: «все – на берег!». А ведь там были женщины и даже грудные дети.

Однако этих книг видно было мало, чтобы укоренить в моем сознании подростка идеалы товарищества, взаимовыручки и дисциплины. Закон парных случаев видимо все же существует, потому что через год или два я прочел «Два капитана» В. Каверина. Бог мой, так ведь это было все о том же: русский Север, пропавшая экспедиция, полярная авиация, война, упорство людей. Но в этой книге все было *гораздо ближе ко мне*, потому что ее героями были обыкновенные люди почти что моего возраста. Они учились в школе, похожей на мою. А потом, возможно, разговаривали и действовали вместе с героями-челюскинцами или папанинцами. Ближе еще и потому, что иногда действие происходило в знакомых мне арбатских переулках или на Собачьей Площадке (последняя была снесена при строительстве Нового Арбата).

«Два капитана» подтвердили феномен принципиальной двойственности жизни, с которым я столкнулся еще в эвакуации: неизбежное присутствие рядом с добром и преданностью подлости, предательства, двуличности, обмана. Образ «Ромашки» из этого романа долго не отпускал меня. Позже я увижу все это в романах Ч. Диккенса, но тогда, в конце 1940-х годов, это было для меня открытием. Возможно именно тогда у меня стал формироваться интерес к изнанке жизни, «к оборотной стороне медали». Тем более, что казанский опыт неприятия и ненависти ко мне как к «чужаку» уже был.

Но вернусь к роману В. Каверина. Как я сейчас понимаю, в нем писателем был предъявлен обществу «индивидуальный жизненный проект»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Иными словами, умей сам планировать свою жизнь, добиваться поставленных целей и отвечать за свои поступки. Вещь не редкая по

тем – советским – временам. Так что постмодернистская социология зря приписывает появление такого проекта эпохе высокого модерна. Он существовал и в ту эпоху. Технологии развиваются, а общечеловеческие ценности остаются. Жаль, что сегодня о «Двух капитанах» вспомнили только в связи с «Норд-Остом», мюзиклом по мотивам «Двух капитанов», и страшным терактом против его зрителей и актеров...

С шестого по десятый класс я учился в обычной средней, но «особенной» школе, которая уже внешне выделялась своей громадностью. Это была знаменитая 59-я мужская средняя школа, бывшая Медведниковская гимназия, что в Староконюшенном переулке. Этой школы я до смерти не забуду. И, как выяснилось через 50 лет после ее окончания, когда оставшиеся в живых из числа нашего выпуска 1951 г. собрались, они тоже ее не могли забыть. Так что это был не просто «вечер встреч», а подтверждение ее влияния на нашу жизнь.

Ее педагогический состав был первоклассный, там учительствовали многие педагоги из лучших педагогических институтов Москвы. Особенно по гуманитарным дисциплинам. Плохих школа просто долго не держала – вытесняла или они уходили сами. Все, кто нас взял в шестом, довели нас до выпускного. Если взглянуть «снизу», то это был район Старого Арбата, самый интеллигентский район. Старые переулки, с домами, помнящими еще А.С. Пушкина и А.Н. Герцена. Конечно в классе было несколько чад партийных начальников, но потом они куда-то делись. Специального отбора не было, так как в те времена требовалось ходить в школу «по месту жительства». Поэтому, чтобы меня взяли в нее (я жил по другую сторону Садового кольца), родителям пришлось использовать семейные связи, а мне проходить собеседование.

Через несколько месяцев стало очевидно, что по точным предметам я не «тяну», пошли тройки и двойки. Временами я просто ничего не понимал, потому что была другая система подачи материала и другой спрос. Потом я на полгода слег – сердце (думаю, что нервное напряжение сказалось тоже). Весной по совету завуча школы, Е.Н. Жудро, взяли мне репетитора по математике – И.В. Морозкина, учителя, который и вел все наши классы по математике. Тяжкое было время, я и дома плохо понимал, потому что Морозкин «школил» меня по своей знаменитой системе, которая, как оказалось потом, дала науке и многим другим отраслям жизни профессионалов международного класса. Морозкин соединял в себе «солдафона» (демобилизованный артиллерист в звании капитана) и высокого профессионала. Он учил нас мыслить логически, экономно и выражать свои мысли на профессиональном языке математики. Дмитрий Зимин, окончивший в том же году параллельный класс, сказал о нем в своей книге: «сначала его боялись, потом любили». Думаю, что все же это было насилием над подростковой психикой, так жестко вбивать в нас правила и сам язык математического мышления тем более, что в этом возрасте образное мышление еще очень сильно. Должен признаться, что страх выпадения из жесткого ритма и дисциплины математического мышления в подсознании оставался долго, приходя ко мне во сне. Страх перед тем, что я что-то пропустил, и теперь не пойму дальнейшее, что нужно очень много работать, и я не успеваю, катастрофически не успеваю, отстаю и т.д. и т.п.

Не все эту «дисциплину ума» выдерживали, каждый год один–два ученика уходили в другие школы. Но когда я наконец втянулся, а это произошло только в 9-ом классе, началась *конкуренция* уже между самыми способными учениками: не только, кто решит задачу первым, но и даст самое простое и красивое решение. То

же было и по другим предметам: явная и скрытая конкуренция между учениками, что не мешало нам дружить, общаться и помогать друг другу. Это были *уроки интеллектуального соревнования*, порою жестокие, но, как оказалось, весьма полезные на будущее. И еще. В этой школе не припомню ни одной серьезной драки, а вот интеллектуальных «олимпийцев» было немало.

Что касается истории и литературы, то мы не «проходили» этих предметов в обычном понимании – мы изучали и читали, читали и оценивали, нас приучали читать серьезные книги. Мой любимый учитель истории, доцент пединститута Д.Н. Никифоров, был полной противоположностью Морозкину. Открытый и доброжелательный, улыбающийся, всегда готовый повторить сказанное и даже подсказать, Д.Н. был маленький, лысенький, даже немножко смешной человек. Кто-то из учеников дал ему прозвище «Дима-гвоздик», которое за ним потом надолго закрепилось. Меня он поразили, тем, что мне никогда не хотелось уходить с его уроков. Потому что это были не просто уроки, а спектакли истории, где Д.Н. использовал все возможные средства: он рисовал на доске, предлагал нам прочесть отрывки из античных авторов. Он изображал их сам на разные голоса, он постепенно приучал нас делать те же синхронистические таблицы исторических событий, приучая видеть мир истории «на глобусе». Все годы, когда я учился у Д. Н. (1948–51), это были самые темные годы – годы продолжавшихся репрессий, время, когда шла борьба с космополитизмом и вообще время, мало подходящее для обучения гуманитарным наукам, кроме, пожалуй, литературы. Поэтому прежде чем сказать слово и учитель и его ученик должны были очень хорошо подумать. Так вот Д. Н. приучил не только меня, но многих из нас, а класс у нас был в основном технически или математически ориентированный, и многие, из окончивших ушли в технические, математические и другие естественнонаучные вузы, любить историю. Я до сих пор храню свои тетради по истории, но опять он не заставлял, а просил вести их, и я это делал с удовольствием. Потом эти тетради не раз брали у меня в школу, чтобы показать как в то тяжелое, очень трудное, очень жестокое сталинское время можно было учить советских учеников истории. Именно у Д.Н. я научился выражать свои исторические «размышлизмы» графически – на бумаге или доске. Текст и визуальный ряд были для меня одинаково значимы. Когда в конце 1970-х гг. я стал выезжать на конференции за границу, то с удивлением увидел, что там доклады, не «зачитываются», а скорее представляют собой комментарий к изображению на экране. Так что навыки, привитые Д.Н. Никифоровым, очень мнегодились. Несколько школьных тетрадей по истории, впрочем, как и по математике, я храню до сих пор.

Но если интерес к истории возбуждал в нас Д.Н., то интерес к человеческим отношениям, к заботам «маленького человека» привила нам М.А. Шильникова, наша учительница литературы (много лет спустя высокие педагогические качества этих двух гуманитариев были подтверждены серьезными российскими историками). М.Ш. воспитывала наш художественный слух, тончайшие модуляции речи. Умение слышать речь музыки, природы, ночной улицы я воспринял от нее. Были и другие не менее блестящие учителя. Например, С.М. Алексеев, физик, человек с большим юмором, приучавший нас читать умные книги по ядерной физике и другим «высоким материям». Не верю, что «социологический интерес» рождается так, вдруг, на пустом месте. Очень многое закладывается в ранней юности и даже в детстве. Я левша, точнее – амбидекстр. Говорят, что им присуще

образное мышление. Действительно, в школе из математических дисциплин более всего любил геометрию и стереометрию – эта склонность впоследствии определила мой ошибочный выбор первоначальной профессии (архитектора). Думаю, психология «трудоголика» как самонагружающейся личности формируется еще в юности именно «средой обитания».

В школу я ходил по переулкам старого Арбата, где на углу Плотникова и Сивцев-Вражка жили мой двоюродный брат Владимир и его жена, Ольга Владимировна Шмидты. Его дети, Вера и Федя, тоже окончили 59-ю школу. Рядом, наискосок от дома брата жила их ближайшая подруга, Ирина Викторовна Шретер, внучка художника М.В. Нестерова. Стоит ли говорить, какое впечатление на меня, мальчишку, мечтавшего стать живописцем, произвели полотна этого великого русского мастера, и не в Третьяковской галерее, а дома, где их можно было подолгу рассматривать. Так что, «ареал культурной среды», очерченный и освоенный моими родителями–киевлянами в 1910 годах, – Арбат, Плющиха, Кудринская, Пречистенка, – теперь осваивал и воспроизводил уже я.

...На встречах одноклассников я бывал не часто. Сначала их организовывал Юрий Мариенбах, с которым у меня еще в школе не сложились отношения, потом все поначалу ходили в какие-то не слишком презентабельные кафе, где много пили, а позже много лет эти встречи проходили дома у того же Мариенбаха. На ежегодные встречи в самой школе (пока они были) я ходил очень охотно, но после них идти пить мне не хотелось. Пожалуй лишь 15 марта 2008 г., когда на встрече дома у Владимира Борисовича Гольдмана (были Леонид Бабиченко, Анатолий Бутлицкий, Владислав Волков, Владимир Гребенкин, Сергей Зик, Илья Шмурак, Владимир Юдицкий и я) все узнали, что наш школьный комсорг Володя Юдицкий уезжает навсегда в США, – я привык к тому, что обычно уезжали молодые, а тут старик!, и весь разговор крутился вокруг этого, – я понял, что мои товарищи по классу были связаны гораздо теснее, чем я предполагал⁷. Как и в самой школе, я был всегда немного в стороне. С одной стороны, я все же был «чужак», переведенный в эту школу в 6-ом классе, когда коллектив уже сложился, с другой, главные мои интересы тогда были вне школы. Но главное наверное в том, что я был индивидуалистом, хотя, как мне тогда казалось, и почти весь класс был собранием таких же.

Но вот прошло уже более полувека с момента окончания школы, и я понял, что они, точнее их часть, были почти все время тесно связаны. Они ходили друг к другу на дни рождения, перезванивались, часто помогали друг другу, куда-то ходили вместе, а главное, когда кто-то уходил навсегда, обязательно провожали его в последний путь, даже если это было в другом городе. Конечно, очень много значило, что они долгое время жили рядом, иногда в соседних домах, тогда как мне было до школы идти не менее получаса. Тем не менее, вот такое было это «коллективное ядро» индивидуалистов нашего класса. Для меня такими духовно близкими людьми были только трое: геолог Владислав Волков, математик Роман

⁷ Переписываясь с Юдицким по электронной почте, я сразу ощутил дистанцию, создаваемую однако не расстоянием, а нашим с ним пребыванием в разных культурах. Близкий мне человек вдруг «закрылся». Слова знакомые, но речь не живая, «машинная».

Резников и химик Владимир Юдицкий, но и с ними виделись не часто, скорее это были части общего ментального пространства. Хотя...

Хотя и здесь есть над чем поразмыслить. Встречаясь с ними в последние годы регулярно, я увидел, как «служба» развела и дифференцировала людей. Те, кто были «гражданскими», хотя и занимались долгое время космосом, как Владислав Волков, смогли стать гуманитариями – не только профессионально, но и по духу, по образу мыслей. А те, кто был вовлечен в оборонные аэрокосмические дела страны, не смогли «выключиться» из этой колеи. На разные лады они все время возвращаются к своей работе, очень важной работе. Они стали и остались профессионалами военно-промышленного комплекса – не только по образу мыслей, но и по духу, по идеологии. И когда я пытался сказать, что вместе взятый «профессионализм» их и им подобных в конечном счете перенапряг силы народа и развалил страну и что последствия их защитной деятельности будут еще долго, очень долго бить по природе, по следующим поколениям, что поставлена на карту судьба не только государства, но и самого русского народа, они отмахивались от меня как от несмышленища. «Да, – говорили они, – наверное, ты где-то прав, природу и людей надо защищать, но сначала надо иметь в руках оружие, чтобы другим было неповадно посягать». Смысл был таков: мы хорошо сделали свое дело, страна была надежно защищена, а природу и народ пусть защищают теперь другие, молодые. Но как свести воедино защиту страны (государства), созданную за счет народа, и защиту его самого от вымирания? Защиту той интеллектуальной среды, без которой это государство быть сильным не может? Вот эта кардинальная проблема так и осталась нерешенной, а времени на ее решение остается все меньше.

Художественная школа, где я с 7-го класса учился параллельно с общеобразовательной, была делом добровольным – хочешь ходи, хочешь нет. Некоторые «молодые дарования» не появлялись там месяцами. Однако именно этот свободный режим еще более дисциплинировал меня внутренне: сам должен был распределять и «уплотнять» свое время. В художественной школе тоже было *соревнование*, хотя оценок не выставляли. Но почти все стремились, чтобы их работы попали на годовую отчетную выставку.

...Старое деревянное здание рядом с планетарием у Кудринской площади, куда я ездил после школы общеобразовательной три раза в неделю вспоминаю с огромным удовольствием. После пятого класса я провалился на экзаменах в Среднюю художественную школу при Институте им. В.И. Сурикова. Но это меня ничуть не остановило. Я «заболел» И. Левитаном. К этому времени у меня была уже приличная художественная библиотека, включая серию книг И. Грабаря и С. Глаголя о великих русских художниках⁸. Я все более погружался в живопись, смотрел подаренные книги, ходил на выставки в Третьяковку, а потом – стал сам писать пейзажи. Сначала робко, а потом все уверенней. Художественная школа не прошла даром. В 1950–51 гг. я написал несколько этюдов маслом с натуры, которые до сих пор, как мне кажется, лучшие из всего мною написанного. По крайней мере сегодня те, кто видит эти этюды впервые, отказываются верить, что они написаны 17-летним юнцом. Конечно, в живописи и вообще в искусстве я был очень традиционен и остался таким, следуя русским пейзажистам второй половины

⁸ Эта серия книг о художниках издавалась ими под общим девизом: «Скована жизнь – свободно искусство!»

XIX в., но факт остается фактом: правое полушарие работало не менее интенсивно, чем левое. Могу только пожалеть, что не было у меня настоящего Учителя – ни в науке, ни в искусстве.

Наконец (о радость, для моего музыкального отца!) у меня неожиданно прорезался слух, и я «заболел» еще и музыкой, стал часто ходить в Консерваторию. По молодости лет музыка была просто «открытием», погружением в совсем иной мир. Да еще вместе с любимым человеком. Не знаю, насколько это важно для понимания становления характера, но и живопись, и музыка приучали меня молчать, молча впитывать. Наверное, уже тогда сформировалась на долгие годы привычка: *больше слушать, меньше говорить*. Возможно это был и комплекс неполноценности: мне долгое время казалось, что я знаю меньше других, что другие выражают свои мысли лучше и т.п. Здесь несомненно сказалось влияние матери. Она не уставала повторять, что я – «как все», «обычный», способности – «весьма средние», внешность тоже. Странно, что она (как и мои отец и сестра) отказавшаяся от карьеры в искусстве, не помогала своему сыну, у которого были явные способности к живописи. Боялась, что «ушибусь»? Что безопаснее быть «как все»? – не знаю.

Да, был еще один важный случай, возвысивший в моих глазах *врачей как спасателей*, как людей особенных. Летом 1950 г. меня сняли с поезда Туапсе–Москва: гнойный аппендицит, началась гангрена. Так вот в маленькой туапсинской больнице зав. хирургическим отделением, женщина, прошедшая фронт, не ушла домой пока не вытащила меня буквально с того света. Хотя время ее дежурства давно уже кончилось. Поэтому, возвращаясь к жизни, я еще раз понял, что такое настоящий врач.

Вообще за этим периодом эмоционального подъема и огромной психической нагрузки – все же надо было кончать две школы одновременно – наступил спад и полоса разочарований и неудач. Я имею в виду поступление в Архитектурный институт. Это была слабость, ошибка. О том, что это было начало долгого пути в социологию, я тогда и подозревать не мог.

5. О политике и культе личности Сталина

Прямо в те годы дома никто об этом не говорил, по крайней мере – при мне. Тем не менее кое-что просачивалось. Во-первых, я узнал, что отец читает в закрытых вузах курс лекций «Политическая карта мира». Что-то я видел у него на письменном столе, что-то он давал мне посмотреть, когда я готовился к очередным экзаменам по географии. Это было нечто иное: ни история, ни география – геополитика. Многие уже тогда слушали БиБиСи, дядя Миша отдельные сообщения мне пересказывал. Однажды он высказал поразившую мое детское сознание мысль, что вообще-то Советской Армии после победы в войне в 1945 г. надо было бы сразу идти дальше, прямо до Атлантического океана, и никто не смог бы ее остановить! Можно было открыто читать «Британский союзник» – была такая газета (между собою ее называли «Британский сплетник»).

В школе я увлекался историей, но книг русских историков мне никогда не дарили. Только по исторической географии. А ведь в библиотеке отца были В.О. Ключевский, М.Н. Покровский и даже книга двоюродного брата отца, В.О. Лихтенштадта, написанная им в годы заключения в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. О существовании исторических работ, написанных отцом, когда он был еще студентом университета Св. Владимира в Киеве, я вообще ничего не знал.

Однако еще в 1941 г. отец на день рождения подарил мне подписку (и первый том) академического издания собрания сочинений А.С. Пушкина. Тома были тяжеленные и явно не для детского ума – на три четверти они состояли из комментариев. Мне теперь кажется, что тем самым родители оберегали меня, считая, что живописцем или архитектором быть безопаснее, чем любым гуманитарием.

В 1946 г. вернулась из Германии сестра Ира (Ирина Николаевна Банникова), где работала год переводчиком в Советской военной администрации. Она ездила в американскую зону оккупации, говорила, что там мало разрушений, и живут люди совсем неплохо. Приходили ее новые знакомые и друзья, иногда я присоединялся к ним, слушал, стараясь понять: что такое вообще за граница? Как там живут? Что за люди? Сегодня такие вопросы кажутся наивными, но тогда в 1947–48 гг. понять это было не просто. О том, что отец, мать, сестра и другие близкие бывали в Европе еще в 1920-х гг., а их друзья учились в европейских университетах еще до революции 1917 г., я узнал много позже. В 1948 г. отец был в длительной командировке на Балканах. В том же году приехал, демобилизовавшись из Венгрии, где он прожил три года после окончания войны, И.В. Скловский, сын близкой маминой подруги по Киеву. Вскорости он стал гражданским мужем сестры. Разговоров о житье-бытье на Западе прибавилось.

Игорь был веселым общительным молодым, учил меня (потихоньку от родителей) житейскому уму-разуму. Хотя одна вещь меня тогда смущала. Такой доступный и открытый Игорь, *прошедший все войну танкистом* (отступая от Львова до Сталинграда, и потом наступая в течение почти трех лет от него до Праги), иногда замыкался, становился очень мрачным. Тогда он со своими фронтовыми друзьями запирался на день–два, и они «гудели», напиваясь до бесчувствия. О войне Игорь никогда не говорил. Зарубка моего непонимания осталась надолго: как же так, он молодой (тогда ему было только 30 лет), не калека, не может войти в эту «мирную жизнь»? Как я понял много позже, таких, которые уже никогда не могли адаптироваться к мирной жизни, было тогда очень много и еще больше стало сейчас.

В 1948 г. пошли аресты близких людей, чего родители уже не могли скрыть от меня. Была арестована ближайшая подруга матери. Родители мрачнели день ото дня, шептались. В январе того же года я принес уроки заболевшему школьному товарищу Володе Гольдману в тот самый момент, когда у них дома шел обыск – забирали его отца. Впервые увидел гебистов в лицо. Я стал понимать, почему многие семьи друзей были «мама с дочкой», но без папы. Завертелась кампания против «космополитов», в классе было много детей из еврейских семей. Уволили Д.Н. Розенбаума, директора нашей 59-ой школы, которую он, собственно говоря, и создал. Все это обсуждалось, хотя и намеками, в классе и коридорах школы.

Был ли в семье культ Сталина? Внешне он выражался только в его портрете над моим письменным столом. Мать была правоверной коммунисткой, отец при мне о вожде никак не высказывался. В разговорах домашних часто слышалось «Он», «Хозяин» и т.п. На редких семейных застольях не помню здравниц в честь вождя, хотя, возможно, они и были. Я знал, что дядя, Отто Юльевич, несколько раз встречался со Сталиным для обсуждения планов полярных экспедиций, потом Сталин и другие члены правительства встречали их по возвращении с Севера – это было во всех газетах. В 1930-х гг. родители были несколько раз на

правительственных приемах. Брат и сестра одно время учились в одной школе с Василием Сталиным.

Хотя Шмидт в 1939 г. был снят с должности начальника Главсевморпути, а позже и перестал быть вице-президентом АН СССР, он остался жить в Доме правительства на ул. Грановского (сейчас Романов переулок). Встречался со Сталиным и друг нашей семьи, А.Г. Калашников, бывший одно время Министром просвещения РСФСР. Я также знал, что еще один близкий нашей семье человек, профессор Б.Б. Коган, был «кремлевским врачом», то есть лечил членов правительства и многих лидеров компартий других стран. Наконец, один раз я сам видел Сталина очень близко: как-то в воскресенье мы ехали на дачу в машине по Рублево-Успенскому шоссе, а он гулял по шоссе вместе с Молотовым и Ворошиловым, просто гулял, без (видимой) охраны. Так что помимо официального отношения к Сталину как к вождю в семье сохранялась какая-то иная связь с его именем. Не могу определить ее точно, но для меня самого это было ощущение причастности к чему-то важному, что делалось там, в Кремле. Тоже, если хотите, некоторая «референтная точка» или «планка» в детском сознании. Но это не давало мне чувства превосходства над другими. Напротив, мои товарищи посмеивались над моей сдержанностью. Позже я понял, что способность человека «выступать» по любому поводу или быть душой компании являются важными социальными ресурсами для карьерного продвижения.

Глава 2. 1951–57 гг.: учеба в МАРХИ

Московский архитектурный институт. – «Дело врачей»: кто я и кто вокруг меня? – Прорыв в большой мир: работа над книгой «Оскар Нимейер». – Первая поездка за границу. – Учитель и ученик: проблема дистанции в новой науке.

1. Московский архитектурный институт

Еще за год до поступления в Архитектурный институт я мечтал стать художником кино, тем более, что, благодаря другу нашей семьи, киевскому кинооператору Д.П. Демуцкому (помните старый фильм «Подвиг разведчика») и его коллегам, которые часто бывали у нас в доме, я имел некоторое представление об этой профессии, несколько раз бывал на киностудиях. Мне тогда казалось, что художник кино – это мое. Но конкурс в Институт кинематографии был огромный. В Суриковский институт (живописи и ваяния) я понимал, что тоже не пройду, – там решающим экзаменом была композиция, самое слабое мое место. Вот так, скорее методом исключения, стал вырисовываться Архитектурный институт. Тем более золотая медаль давала некоторый шанс на поступление. В общем это была следующая точка «личностной» бифуркации, развилка биографии, где *решающую роль сыграл рациональный выбор* – в армию идти не хотелось, тратить год или два на подготовку в Суриковский – тоже.

Мне наивно казалось, что уметь рисовать и чертить было достаточно для этой профессии. Это была принципиальная ошибка. Архитектуре, за исключением детей из «династических семей», вообще нельзя научить (кстати, среди абитуриентов детей именно из архитектурных семей оказалось более половины). Архитектором можно только стать. Эта профессия сродни композиторской, но гораздо труднее, потому что это сугубо индивидуальная и одновременно

корпоративная профессия – архитектор не «строит для народа», он прежде всего воздвигает памятник самому себе, подчиняя себе других. Упорно, годами и десятилетиями. Это было видно уже тогда, но еще более отчетливо видно совсем недавно, когда денег была уйма, интернет и профессиональные журналы ломались от примеров, и можно было проектировать и строить, что угодно и как угодно. Хотя талант тут, конечно, важен, но он не главное – нужны еще связи, нахрапистость, умение «быть своим», обладать организаторскими способностями и многим другим.

Окончательно все решил большой семейный совет (архитектор – «прекрасная профессия», «мирная», «интеллигентная» и все в таком роде). Вообще-то надо сказать, что тогда, как правило, из десяти кончавших Архитектурный институт только два-три становились практикующими архитекторами. Институт был достаточно фундаментальный, разнообразный, послуживший стартовой площадкой для множества других талантов: из него вышли многие знаменитые поэты, певцы, сценографы, искусствоведы. Вот уж где была настоящая междисциплинарность, но скорее мира техники и искусства. Но тогда я этого еще не понимал.

Сдал вступительные рисунок и черчение и кое-как прошел. И уже в первый год понял, что это – не мое. Те знания, которые я получил в школе, оказались ненужными. К тому же группа, в которую меня зачислили, оказалась на редкость неприятной. Того, чего совершенно не было в моих двух школах, здесь оказалось в избытке: зависть, злые шутки, похабщина. Желание насолить и поиздеваться из некоторых били фонтаном. Были и стукачи, и просто злыдни. Среда злобствующая и враждебная (сегодня могу подтвердить, что профессиональную карьеру, при этом чаще не архитектурную, сделали заводилы именно из этой среды). Опыта жизни в такой атмосфере у меня не было.

Какова же тогда была моя индивидуальная «ниша» в такой среде? – После очень недолгих приятельских отношений с Андреем Вознесенским, я скоро и надолго сблизился с В.П. Жуковым, студентом нашей группы. Это был человек старше меня, уже пришедший войну. Он мне был близок и понятен (раненые в Казанском госпитале, муж сестры Игорь, прошедший все войну, в общем это был тот же круг людей). Тем более, что в чем-то я был полезен и нужен ему. Затем, спасали два предмета, мне интересные: искусствоведение и философия. Философский курс читал знаменитый и неоднократно битый властью философ проф. В.Н. Сарабьянов. Наверное, под его влиянием я стал читать журнал «Вопросы философии». И, конечно, кафедра живописи и рисунка. Это было свое, родное. Где, как выяснилось позже, работал профессор Н.А. Сахаров, дальний родственник семьи великого русского художника В.Д. Поленова и жены моего брата, Ольги Владимировны Шмидт (урожденной Вульф). Сахаров меня взял под свое крыло и многому научил. В конечном счете точки опоры снова были найдены, если бы не разразилось «дело врачей».

Однако в целом учеба не приносила удовлетворения, потому что обучение проектированию, главному делу будущей профессии, велось само по себе, а изучение сопутствующих дисциплин (геодезия, математика, теоретическая механика, сопротивление материалов), само по себе. Много позже (через 30 лет) в одной из архитектурных школ Англии я увидел принципиально иной подход к обучению – проблемно-ориентированный, когда все знания даются для решения

конкретной задачи, например, проектирования жилого дома. Подход, который я стараюсь применять в социологии.

Тогда, в 1950-х гг., занятия по проектированию имели одну цель: научить нас выигрышно подавать свою работу, то есть правильно строить тени на фасадах (а фасадами мы в основном и занимались), «отмывать» (специальная техника графической подачи проектов, заимствованная у классиков итальянского ренессанса), умело делать «антураж» (рисовать деревья, людей и все, что окружало «фасад»). Копирование классических образцов имело прямо-таки мистическое значение, а овладение ремеслом «подачи проекта», на которое нас натаскивали годами, играло огромную роль в карьере студента Московского архитектурного института. Примечательный факт: вплоть до начала 1970-х гг. в Институте не было кафедры интерьера. Один из моих немногих будущих близких друзей по архитектурному цеху, Валентин Романович Раннев, создавший эту кафедру и много лет проработавший на ней, сокрушался, как трудно было объяснить и студенту, и начальству, что проектировать надо «изнутри наружу», идти от функции, то есть от социального содержания будущего здания, а не начинать с «фасада» или «птички» (вида с птичьего полета). Мне его метода проектирования «от человека» была чрезвычайно близка.

Коль скоро «подача проекта» (презентация, по нынешнему) была профессиональным капиталом, существовали и *архитектурные пиарщики*, которых для этого приглашали по знакомству или нанимали. Обычно это была особая каста из числа студентов старших курсов или молодых специалистов, всегда хорошо одетая, нагловатая и державшаяся особняком. Они знали себе цену. Не только на младших курсах, но и на дипломе хорошая «подача проекта» могла поднять оценочный балл на две единицы. Тогда так и говорили: «позвать NN покрасить фасад» (то есть главную доску с проектом фасада). Это развращало и пиарщика, и нанимателя – последний мог неделями ничего не делать, зная, что за три часа до защиты проекта придет NN и все «покрасит». Самым удивительным тогда для меня было то, что это была легальная форма обмана, ведь фактически самая главная часть проекта делалась чужими руками. Однако профессура не препятствовала этому, а иногда и сама, засучив рукава, включалась в эту игру.

Однако, несмотря на атмосферу элитарности, царившую в институте, не она сыграла ключевую роль в продолжении моей социализации. Главное, это конечно инспирированное властью «дело врачей-убийц» (1952–53 гг.), которое явилось не только сильнейшим психологическим стрессом, но и открыло мне глаза на то, что в действительности происходило в стране, но об этом – ниже. Начну с события «местного» масштаба, но весьма значимого для моей социализации. Я говорю о феномене *рабства*, то есть узаконенного (по неписаным правилам этого учебного заведения) эксплуатации младшекурсников старшекурсниками. Нет, это была не взаимопомощь на равных и не помощь старшего младшему, а именно рабство, когда младшекурсник поступал в длительное и беспрекословное подчинение старшекурснику. Младший вынужден был забрасывать свои занятия, прогуливать, растить «хвосты», обслуживая своего босса всем, что тот прикажет: от бегания за пивом и до натягивания бумаги на подрамники. Иногда в качестве милости «рабу» разрешалось «гонять шрифты» (то есть делать надписи на проектах, что тоже было целой наукой – я, например, специализировался именно на шрифтах) или что-то покрасить на второстепенной доске. – Что в обмен? Обещание того самого пиара, о котором только что шла речь, или вообще ничего, кроме обретения некоторого

опыта «покраски» во время рабства. Своего рода дедовщина, только в более мягкой форме.

Конечно, это была легализованная форма неформального, но тем не менее вполне профессионального обучения, хотя носила она в основном кастовый характер: рабствовали у знакомых и «красили» прежде всего своим – детям и друзьям детей из архитектурных семей и династий.

Второй длительный стресс – это уже упоминавшаяся атмосфера недоброжелательности и даже открытой враждебности в группе, в которую я попал. И это после школы, которая была для меня родной, и особенно после школы второй, художественной, где мы, хотя и такие разные, были одной семьей. Причем создавали эту атмосферу враждебности, постоянных жестоких шуток, колкостей и насмешек разные люди, талантливые и не очень: А. Вознесенский, впоследствии известный поэт, К. Красильникова, прославленная им в стихах, В. Воеводин, известный карикатурист, К. Невлер, тоже человек с большими способностями, наш комсорг М. Красников и его верная помощница Г. Разоренова, и еще два–три человека. Дело в том, что в отличие от многих других вузов у нас всегда была своя комната (аудитория), где мы были вынуждены проводить большую часть времени вместе. Причем если поначалу злые шутки и подсиживания можно было расценить как рецидив подростковой жестокости, то потом это приобрело вполне социальную окраску. Наши местные комсомольские вожди сделали все, чтобы я не получил направления в аспирантуру, хотя к моменту окончания института у нас с Владимиром Хайтом уже был подготовлен текст книги об О. Нимейере и сделано несколько докладов о нем. В моей характеристике было написано, что я – карьерист. Я за это им благодарен, потому что по окончании института я попал в коллектив, разительно отличавшийся от группы, где я проучился пять лет.

Полвека спустя мне удалось поговорить с теми, кто, как и я, был подавлен этим явным недоброжелательством. Как выяснилось, один, самый главный наш хам и горлопан, проворовался, другой (тихий) был убит в пьяной драке, третьи сказали, что они просто боялись, четвертые – нехотя признались, что их вынуждали стучать. Вот такая была «элитарная» группа.

Третьими «моими университетами» стал начавшийся в 1954 г. инициированный Н.С. Хрущевым партийный погром под названием борьбы с излишествами в архитектуре и строительстве. В одночасье оказалось, что на все, чему нас учили наши прекрасные учителя – академики архитектуры Н.И. Брунов, А. Бунин, художники М. И. Курилко, А.А. Дейнека, Н.А. Сахаров – надо было наплевать и забыть. С фасадов зданий (а мы, студенты, со своих подрамников) буквально срубали, счищали все, что могло напоминать о предшествующих годах подражания итальянской классике, великим мастерам европейского Ренессанса и русского ампира. Это не был переход к иному художественному языку, это был тупоголовый ответ партийной верхушки на действительный запрос общества о минимальном уровне достойного существования (массовое жилище). И преподаватели, и мы были в полной растерянности. Хотя некоторые из наших мэтров довольно улыбались: им казалось, что возвращается время милого им конструктивизма 1920–30-х гг., но они жестоко ошиблись. Не вернулось ничего – накатилась волна жесткой унификации и минимализма. При этом изучать социологически действительные нужды горожан строго запрещалось, все решения принимались только «наверху». Был в МАРХИ один аспирант, по фамилии, кажется, Кулебакин, который все же попытался провести анкетный опрос: «если

бы у вас была возможность, сколько детей вы хотели бы иметь?». За что поплатился партийным билетом и исключением из аспирантуры.

Последние 20 лет я живу напротив многоэтажного жилого дома, спроектированного на излете «эпохи излишеств». Бог мой, насколько же он удобнее, комфортнее и эстетически привлекательней всего, что последовало за ним в эпоху массового жилищного строительства. Что и подтверждается «высшей инстанцией» – высокой рыночной стоимостью его квартир.

2. «Дело врачей»: кто я и кто вокруг меня?

Тем не менее, все наверное шло бы так и дальше. Даже уже назревавшая «борьба с излишествами», хотя и разделила наших преподавателей на ее громких сторонников и молчаливых противников, все же, к их чести, они как могли смягчили этот удар по нам, студентам. С искренней благодарностью вспоминаю нашего преподавателя Юрия Дмитриевича Хрипунова, тихого человека, очень тактично и упорно отстаивавшего свою линию и учившего нас тому же (снова апеллирую к книге А.Я. Гуревича: наверное, в каждом вузе был свой А.И. Неусыхин – тихий, интеллигентный, но неуступчивый).

Однако арест осенью 1952 г. друга нашей семьи, кремлевского врача, Бориса Борисовича Когана, и его жены Аси Ивановны, и последовавшее за этим исключение из МАРХИ их сына и моего друга Лени, поставил жирную точку в зыбком равновесии моей студенческой жизни. Началась ее черная полоса: «расспросы» и допросы, комсомольские собрания и публичные обвинения в потере бдительности: «ты жил рядом, а врага народа распознать не сумел!». Моя «ниша» была на грани полного разрушения. Смерть Сталина чудом избавила многих из нас от тюрьмы или лагеря. Кроме страха безысходности было еще чувство растерянности от непонимания, почему вокруг меня вдруг образовалась такая пустота? Только один студент нашей группы, тихий Виктор Степанов, поддержал меня в критическую минуту, за что я ему благодарен по сей день. Большинство группы, где учился Леня (на курсе старше), также как могли поддерживали его и меня. Елена Чучмарева, комсорг этой группы, повела себя совсем иначе, чем мои одноклассники, – она не считала нас виноватыми..

Когда «дело врачей» закончилось, Коганы вернулись домой, Леня был восстановлен в МАРХИ, а я – в институтском комитете комсомола. Но, видимо, в качестве воспитательной меры (все таки был строгий выговор по комсомольской линии), я был «сослан» в шефский сектор комитета, а шефствовали мы над детским домом под Клином. Так состоялось второе – после эвакуации – мое знакомство с российской нищетой за пределами Садового кольца: то была какая-то устоявшаяся бедность и ветхость всей обстановки, которые напомнили мне годы эвакуации. Но тогда была война, а после ее окончания прошло почти 10 лет? (только став социологом, я узнал, что у бедности есть специфические признаки поведения и общения – «культура бедности»). Как выяснилось потом, когда я стал работать на выборах агитатором, чтобы увидеть эту нищету, никуда ездить не надо было вообще – она гнездилась тут же, в самом центре столицы – за воротами Архитектурного института, в подвалах переулков Неглинной улицы и Рождественки.

Именно тогда уже, то есть в 1953 г., я впервые серьезно задумался над тем, что есть система, в которой я живу. Мама приходила в ужас от моих размышлений, говорила, что это «ошибка», но это меня не убеждало. И хотя, казалось, по инерции

инерции жизнь катилось дальше, интереса к профессии архитектора, тем более к проектированию в рамках индустриальной матрицы 6 на 6 м (такой тогда была сетка возможностей архитектора) уже не было совсем. Мой интерес все больше стал сдвигаться в сторону науки. Какой? Выбор пал на искусствоведение, ведь тогда о социологии никто из нас еще не слышал.

3. Прорыв в большой мир: работа над книгой об Оскаре Нимейере

Незадолго до этого в Москве побывал знаменитый бразильский архитектор Оскар Нимейер, человек левых взглядов, готовившийся тогда к проектированию комплекса правительственных зданий в новой столице Бразилии – города Бразилиа. в 1955 г. я предложил своему однокурснику по МАРХИ Владимиру Хайту написать книгу о творчестве Нимейера – наглость по тем временам неслыханная, потому что такие книги разрешалось писать только маститым теоретикам с высочайшего разрешения. Тем не менее, мы в течение 5-ти последующих лет упорно продолжали охотиться за материалом для книги. Да, это была настоящая охота за новым, совершенно не похожим ни на что наше, советское! Нимейер и его коллеги присылали нам иллюстрации такого высочайшего качества, о которых тогда можно было только мечтать (одна из них до сих пор висит у меня на стене). Так что если «железный занавес» и был, то с большими дырками. Все над нами смеялись, даже тогдашний архитектурный КВН (хор Кохинор) нас продернул, но через 6 лет наша книга все-таки вышла! Наверное, всякий разумный человек стал бы развивать подобный успех. Но я опять «переменил пластинку» и стал пробовать себя в градостроительной науке, благо Нимейер и его коллеги присылали нам и материалы о проекте новой столицы.

Мне даже сейчас трудно объяснить коллегам-социологам, сколь новой и захватывающей была эта задача. Это был прорыв в совершенно иной мир: социальный и культурный. Разыскивая материалы для будущей книги об О. Нимейере, я стал встречаться с людьми совсем иного рода. Не то только было важно, что они много читали, знали библиотеки и архивы, но это были люди, которые впервые за всю институтскую жизнь отнеслись ко мне серьезно, как к равному, хотя и младшему. Особенно поразило меня, что нам помогал бывший вице-президент Академии архитектуры СССР, Генрих Маврикиевич Людвиг⁹, человек энциклопедической образованности, только что вернувшийся из мест заключения. Когда мы с Хайтом пришли к нему домой, это была совершенно пустая комната: кровать и стул, даже присесть было не на что, но Людвиг разговаривал с нами так, как будто это было продолжение вчерашней беседы. Это был совсем иной стиль общения, стиль интеллигента и ученого. О жизни и судьбе этого удивительного человека я узнал лишь полвека спустя¹⁰.

Но до этого был еще один опыт – отрицательный, точнее поучительный. Я присутствовал на дискуссии «О природе и специфике архитектуры» 18–23 апреля 1955 г., когда архитектура была объявлена «простым строительством». Многого я не понимал, потому что в Архитектурном институте о такого рода идеологических материях не говорили и таких лекций не читали. Но что меня поразило, так это сам тон дискуссии: он был погромный с явно ожидаемыми «оргвыводами» (которые не заставили себя ждать). «Меньше разнообразия, больше унификации и

⁹ См. о нем: *Хан-Магомедов С.А.* Архитектура советского авангарда. М., 1996.

¹⁰ См.: *Федорова Е.С.* Безымянное поколение. М., 2004. С. 114–129.

индустриализации!» – таковы были лозунги для последующих трех десятилетий. И то были не просто лозунги. Вчерашние кумиры и авторитеты были повергнуты, Сталинские премии (высшая награда в СССР за достижения в науке и искусстве) отнимались, коллективы разгонялись. Соответственно отвергался весь пласт мировой культуры, на котором зиждилось наше профессиональное образование. И я видел, как вчерашние эпигоны, строгие ревнители античности и ренессанса *предавали* своих учителей. Вот такой была «перестройка» архитектуры тех лет. Мне тогда казалось, что это не проф. И. Мацу, тогдашнего директора Института теории архитектуры, а меня снова «расспрашивают» и «допрашивают». Скорее всего именно тогда мне пришла в голову мысль написать работу о Нимейере. Так или иначе, я отходил от корпорации проектировщиков, и начал входить в сообщество искусствоведов и теоретиков урбанизма (В.А. Лавров, Н.Б. Соколов, С.О. Хан-Магомедов, В.Э. Хазанова). Было ли это очередным расширением моей экологической «ниши» или снова маргинализацией? Не знаю. Вообще говоря, такая ниша часто формируется именно на пересечении областей человеческой деятельности. Но об этом позже.

К диплому (1956–57 гг.) я окончательно понял, что профессия архитектора-проектировщика – это не мое. Да, «я это могу!», в том числе, могу и «покрасить». Это придавало уверенность, но только как удовлетворение от взятого рубежа, не более. Никакого азарта не было. Это стало очевидным после преддипломной практики в одной из лучших московских архитектурных мастерских. Кстати, именно там, помимо того, что кругом оказались весьма доброжелательные люди, и они мне доверяли, что было разительной противоположностью моего студенческого бытия с «вечным подвохом», я впервые познакомился с архитекторами, пытавшимися положить в основу своих проектов *уклад жизни реальных людей*. Однако все же главным было обретение личностной устойчивости, внутреннего спокойствия.

А очередной подвох ожидал меня, и довольно серьезный. Комитет комсомола МАРХИ с подачи комсорга моей группы «пришил» мне в личное дело характеристику эгоиста и карьериста. Дескать, мало бывает в коллективе и все стремится на всякие там научные конференции попасть и даже выступать. Такая характеристика закрывала дорогу в аспирантуру и означала распределение на периферию (как выяснилось позже, всего на всего в Туву, совсем не ближний свет, чего мне естественно не хотелось). Много лет спустя, уже в зрелом возрасте Г.А. Разоренова сказала мне при случайной встрече на улице: «Ты уж извини нас, мы тогда много не понимали...».

Уже приобретенный жизненный опыт («дело врачей» в первую очередь, знакомство с изнанкой архитектурно-строительной жизни в ходе упомянутой дискуссии) и созревшее желание *работать одному, вне «команды»* были подкреплены уже упомянутым резким сломом всей архитектурно-строительной идеологии и практики 1954–55 гг. Ни в малейшей степени я не хочу опорочить эту профессию и ее носителей. В советские времена градостроительство играло роль интегратора всех видов профессиональных деятельности, создававших среду обитания миллионов людей. В градостроительстве «сходилось» все: экономика, идеология и социальное планирование, искусство и технологии, государственные задачи и личные амбиции архитекторов и власть предержащих. В этом смысле архитектурное образование было предельно универсальным и, если хотите, публичным (а потому по сути своей социологизированным). То, чем начали

интересоваться мои коллеги-социологи лишь в 1990-х гг. (жилищная политика, история концепций социалистического быта), мы, студенты МАРХИ, знали по рассказам своих педагогов еще в середине 1950-х гг. Тогда были еще живы носители идей «обобществленного быта» и создатели проектов «социалистических городов». Причем один из них, проф. М.О. Барщ, был моим преподавателем (самым лучшим!) на дипломе, а другой, Н. Кузьмин, – через несколько лет – слушателем моих лекций по социологии города. Такова ирония истории нашей социологии.

4. Первая поездка за границу

Еще два события помогают мне восстановить мироощущение почти 50-летней давности. Одно – это первая поездка за границу. Сегодня это в порядке вещей, но тогда, в 1956-ом, это означало очутиться в совершенно ином мире. В августе месяце, в составе специализированной туристической группы студентов и аспирантов МАРХИ, а также сотрудников одного из московских издательств, я отправился в Венгрию. Я много слышал об этой стране от отца, который заведовал отделом стран народной демократии в Институте географии АН СССР, и от уже упоминавшегося Игоря Скловского, который сразу после окончания войны в 1945 г. еще 3 года служил в Будапеште. Тем не менее, это был настоящий шок: мы попали в «капиталистическую», по тогдашним моим представлениям (которые сегодня стали реальностью), страну. Будапешт жил ожиданием перемен, улицы были полны народом, вдоль обочин – сотни машин с австрийскими номерами. Город жил ночной жизнью, стриптиз-бары и кафе были переполнены. Враждебная атмосфера по отношению к нам, советским, витала в воздухе. Нам не отвечали, отворачивались, молча давили нас кулаками и локтями вбок в переполненных трамваях. Я ничего не понимал и как истинно советский человек отправился в Советское посольство за разъяснениями. Чиновник дал понять, чтобы я не поднимал паники и не лез не в свои дела – все спокойно. Как это было «спокойно», я узнал от моих коллег из следующей туристической группы, которые в сентябре попав в самую гущу Венгерских событий, лежали сутками ничком под кроватями в отелях – бои шли за каждый дом, из соседних номеров строчили пулеметы и в конце концов наши несчастные туристы были вывезены из города на пароходе Красного Креста. Так, я получил первый «заграничный» опыт: там надо быть внутренне собранным, ко всему готовым.

Второе – это инфаркт отца, случившийся в январе 1957 г., в разгар работы над дипломным проектом. С этого времени и надолго, почти на 25 лет, я приобрел еще одну специальность – няни-сиделки. У отца потом было еще несколько сильных сердечных болезней, и он оставался дома – мама никогда не отдавала его в больницу. Насколько трудно это было? – Не знаю. Скорее эти обязанности, а они были расписаны по часам, учили меня быть *еще более собранным*. Кроме того, они подготовили меня к семейной жизни (об организации семейной «ниши», жестком подчинении уклада жизни младших – старшим, скажу позже).

5. О проблеме «учитель-ученик»

Она – часть более широкой темы: соотношения обучения и изучения, накопления и отдачи. Но сначала об одном ее аспекте: *дистанции* между учителем и учеником (о «пафосе дистанции», цитирует Гуревич А.И. Неусыхина). Потому

что в моем понимании дистанция возникает только тогда, когда ученик должен мобилизоваться и тянуться за учителем. К сожалению, ни в МАРХИ, ни много позже для меня такой проблемы не существовало. К сожалению, потому что не было в моей профессии, ни в прошлой, ни в нынешней, настоящих Учителей. Я уважал некоторых преподавателей в МАРХИ, но чему-то научиться от них, пройти школу во время их кратких консультаций я не мог. Но тогда, в 1955–56 гг., мои главные интересы уже сместились в искусствоведение, точнее в заокеанское страноведение, – началась охота за материалами по бразильской архитектуре, по ее строившейся тогда новой столице Бразилиа и конечно – за всем, что было связано с Оскаром Нимейером. Как изучать этот неизведанный мир мне сказать никто не мог.

Потом, когда я уже начал формироваться как социолог, моими «учителями» надолго стали отцы-основатели Чикагской школы городской экологии (Р. Парк, Ю. Барджесс, Л. Вирт). Но ведь тогда они уже ушли в мир иной, а даже если бы они и были живы, никто не дал бы тогда мне возможности с ними общаться. Вы спросите: а откуда же я черпал эти знания? Очень просто: что-то было в спецхранах библиотек, а что-то, попавшее под рубрику «градостроительство» наша славная цензура пропустила. Огромное ей спасибо! То же произошло, когда параллельно я стал изучать советскую социологию города 1920–30-х гг. Вот когда я впервые почувствовал вкус к документам прошлого, к работе в архивах. Конечно, была возможность видаться и кое-что обсуждать с выдающимися историками советского авангарда и искусствоведами – С.О. Хан-Магомедовым и В.Э. Хазановой¹¹. Я им за это чрезвычайно признателен. Но все же это были скорее старшие коллеги, нежели Учителя. В одном отношении мне повезло, что я кончал МАРХИ, а не исторический или философский факультет. Вирусом кондового марксизма-ленинизма я не был заражен никогда: здесь мой интерес к природе, искусству, к реалиям жизни сослужил мне хорошую службу.

В МАРХИ, слушая прекрасные лекции В.Н. Сарабьянова, я имел удовольствие задавать ему вопросы (к сожалению, он умер, так и не дочитав нам курс философии), но потом я стал изучать работы К. Маркса и Ф. Энгельса по первоисточникам самостоятельно, причем начав именно с «Историко-философских рукописей 1848 г.» и «Положения рабочего класса в Англии в 1842 г.», то есть с работ, и поныне входящих в фонд социологической классики. Работая после МАРХИ в Академии архитектуры СССР, в начале 1960-х гг. я прослушал курс лекций по истории философии, читанный нам акад. Т.И. Ойзерманом в Университете марксизма-ленинизма, была тогда такая форма непрерывного образования, совсем не плохая, если конечно хотеть учиться.

Причем чтение работ классиков марксизма шло именно параллельно с изучением работ классиков Чикагской школы, что создавало когнитивный диссонанс, но заставляло думать. К тому же, придя в 1967 г. в Институт международного рабочего движения АН СССР (ИМРД), я попал в атмосферу столь напряженной интеллектуальной жизни, что постоянно приходилось осваивать новые пласты социологического знания. Конечно, дистанция между М.К. Мамардашвили и посетившим тогда Советский Союз Т. Парсонсом и нами, молодыми, существовала огромная, но это была дистанция мобилизующая,

¹¹ С Вигдой Хазановой, прекрасным человеком и исследователем, меня потом связывала многолетняя дружба.

дистанция до высокой «планки» нового знания, которое надобно было освоить, а не расстояние между всезнающим метром и подмастерьем. Тогда, хотя и очень короткий период, в ИМРД царила атмосфера диалога, дискуссии, а не наставничества или ученичества.

Вообще, «ранний» ИМРД (1967–72 гг.) я считаю *идеальной для себя средой*, с точки зрения сочетания науки и образования, изучения и научения, включения в самые разные сферы интеллектуальной жизни и практики, возможности «отключения» от них, обдумывания, размышления. В самом деле – в одном месте собрались профессионалы разных возрастов и специальностей (историки, экономисты, социологи, юристы-международники), была возможность общения с иностранными учеными, поездок по стране и на международные конгрессы и т.д. Такая *критическая сеть междисциплинарного общения* возникает не часто, тем более, что это все же были 1960-е, а не 1990-е годы. Забегая вперед, могу сказать, что такая ситуация повторилась всего еще раз или два в моей жизни.

Была в этом процессе и другая сторона, обусловленная моим характером. Все накопленное я старался тут же передавать коллегам, младшим сотрудникам, аспирантам, совершенно не имея тогда навыков педагогического общения. Коллективизм, желание поделиться прочитанным или услышанным во что бы то ни стало со всеми оборачивались для меня потерями времени, а главное человеческими конфликтами, потому что далеко не все хотели жить так напряженно, как жил тогда я. А некоторые просто не могли в силу семейных и других обстоятельств. К тому же, у меня не было ни абсолютного авторитета Учителя, ни административных рычагов, чтобы принудить людей заниматься тем, чем я считал нужным. Я уже не говорю о том, что некоторые мои коллеги, зная, что я прикрою их от административных взысканий, просто годами паразитировали на этом моем качестве. Это – большая проблема для тех, кто не просто читает регулярные курсы и принимает экзамены, но пытается «встроить» обучение в процесс научного исследования. Сначала мой собственный опыт, затем ознакомление с таким опытом за рубежом, а потом и с соответствующими теоретическими работами¹², убедили меня в том, что лучшая форма обучения – *проблемно-ориентированная*, когда корпус научных знаний и методических навыков наращивается вокруг конкретной исследовательской проблемы.

Наверное, если бы я окончил МГУ или Историко-архивный институт, я развивал бы этот подход более последовательно и профессионально, но тогда, во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг., центром моего интереса была проблематика урбанизации, жизнь больших городов, которая стремительно развивалась. Ничего подобного в обществоведческих учебных курсах не содержалось – ведь урбанизм был заклеен как буржуазная наука. Надо было двигаться широким фронтом: легализовать проблематику, создавать теорию, набирать эмпирический материал. Но вот парадокс: в те поры доступ к реалиям жизни советских городов, особенно к их недавнему прошлому, был гораздо более труден и даже опасен (КПСС контролировала доступ к статистике и другим материалам о них). Сегодня же, когда можно изучать практически любую проблему российского города, студенты-социологи в своем большинстве «отбывают номер», мало интересуясь наукой.

¹² См., например: Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир / под ред. Т. Шанина. М.: Просвещение. 2006.

Я завидую историкам, веками копившим фактический материал и теоретический инструментарий. Я завидую своему отцу, учившемуся сто лет назад в Университете Св. Владимира в Киеве у известного историка Б. Довнар-Запольского. В исторической науке есть школы, устоявшиеся направления и, следовательно, есть возможность выбора, в том числе выбора Учителя. Правда, как показал опыт А.Я. Гуревича, если это выбор самостоятельный, то он дается весьма нелегко. Но что прикажете делать, если ты занимаешься областью, до того времени не существовавшей как научная дисциплина в табели о рангах российских наук, или когда знания, добытые в ее рамках европейскими или американскими социологами, практически не применимы к российской действительности? Если на ней стоит жирная печать партийной догматики: «осторожно, социал-дарвинизм!». Да к тому же эта область еще и междисциплинарная. Какой здесь должна быть дистанция и от кого ее отсчитывать?

Думаю, что единственный путь здесь – это эмпирический, накопление фактов на основе имеющихся в распоряжении исследователя набора теоретических подходов. Каждый из них используется *инструментально*, то есть «примеяется» к конкретной ситуации или процессу. Поэтому ведущим моим методологическим принципом было равноудаленная дистанция от авторитетов. Своего рода их мысленная «конкуренция», испытание на применимость. Это не эклектика и не постмодернистский прием. Коль скоро речь идет об экосоциологии, это реальная междисциплинарность, когда «конкурируют» разные исследовательские подходы, парадигмы. Но «факты» не просто накапливаются – они оцениваются и конвертируются в динамику (тренды) с точки зрения конкурирующих подходов. И вот здесь задача Учителя: понять самому и объяснить ученику, что социально и культурно означают эти тренды, чем они грозят человеку и природе, точнее биосоциальным системам. Отсюда появляется второе значение термина дистанция: расстояния между днем сегодняшним и «днем будущим» ученика и его детей.

Глава 3. 1957–66 гг. Мир становится еще шире

Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве. – Работа в Академии архитектуры: первый опыт междисциплинарности. – Двойное глубокое погружение: в историю отечественной урбанистики и американскую социологию города. – Конфликт методологический и политический. – О круге близких и статусе «между».

1. Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве

Вернусь к 1957 году, потому что он остался в моей памяти одним из самых счастливых. Дипломный проект я делал с удовольствием – то ли потому, что учеба, наконец, заканчивалась, то ли потому, что на дипломе у меня были прекрасные преподаватели: Михаил Осипович Барщ и Нина Абрамовна Дыховичная.

И все же главное было впереди. Летом 1957 г. произошел мой второй личный «прорыв» в большой мир: в Москве проходил 2-ой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня в нашем «открытом обществе» нет и сотой доли той атмосферы близости, доверия и чувства общности, которые царили на том фестивале. Мне опять повезло: я был не только зрителем и пассивным участником, но и переводчиком, работавшим с молодыми архитекторами и инженерами из

Бразилии. Кто-то в наших спецслужбах все-таки сообразил, что лучше поручить эту работу двум (то есть В. Хайту и мне) не очень благонадежным, но вполне профессиональным молодым людям (как же, они уже пишут книгу об архитектуре той самой Бразилии, о которой в СССР тогда может быть знали еще несколько человек), чем очередной раз ударить лицом в грязь. Моя родная сестра Ира тоже работала переводчиком (с высокими гостями), и мы с нею только поздно ночью обменивались впечатлениями. Никаких отчетов о своей работе переводчика я никуда не писал. Наблюдали ли за нами – не знаю. Наверное именно тогда, еще не вполне осознавая этого, я окончательно определился как социолог, которому более всего интересны люди, их общение и культура. После многих лет страхов, замкнутости, непрерывной самоцензуры – непередаваемое ощущение свободы! Фестиваль – единственное в моей жизни *массовое* мероприятие, которое я и до сих пор хотел бы повторить.

После фестиваля, поступив на работу в Институт общественных зданий Академии архитектуры СССР (НИИОЗ), я попал в среду интеллигентную, благожелательную и открытую. В довершение всего я, зеленый специалист, по протекции милейшей сотрудницы Института, Суламифь Зельмановны Островской, поехал на три недели в дом творчества «Суханово». Снова я пребывал среди желавших мне добра людей и...писал, писал, писал с утра до вечера этюды маслом: почти 50 этюдов за три недели. Общение с природой было столь же необходимо, как и общение с людьми. А осень стояла золотая. Все-таки по окончании института моя «живописная» натура прорвалась. Сегодня, спустя 50 лет, я с удивлением смотрю на эти пейзажи: неужели их написал действительно я? Как сказала недавно одна моя студентка: «за этот год пространство моей жизни сильно расширилось». Так было и со мной тогда: пространство моей жизни резко расширилось, но и стало социально-природным, которое мне так было необходимо. В общем, как говорил английский социалист У. Моррис, это был год «эпохи спокойствия»¹³ в смысле свободы действий, творчества и благожелательного окружения.

2. Работа в Академии архитектуры СССР

С работой тоже в конце концов все сложилось удачно. Коллектив НИИОЗа, куда меня взял проф. И.Н. Кастель, у которого я проходил преддипломную практику, принял меня чрезвычайно тепло. Поначалу это была среда, состоявшая из архитектурной интеллигенции старого закала и нескольких молодых, невероятно талантливых архитекторов (И. Пяткин, К. Кудряшов, Ю. Шаронов, Л. Соколов, В. Тальковский, В. Раннев и другие). С Валентином Ранневым мы остались друзьями на всю жизнь. Тут не было начальников и подчиненных – была *общность, объединенная стремлением к творчеству*, неважно какому, архитектурному, художественному, дизайнерскому или исследовательскому. Мы проектировали, общались домами, дискутировали, рисовали, снимали кино, участвовали в конкурсах – все было едино. Слушая рассказы Игоря Пяткина о его поездке в США, я все пытался соотнести его впечатления о просторах «одноэтажной Америки» с моими о тесных улочках старой Европы.

Кроме того, как посмеивался Костя Кудряшов, я уже был «известный бразиловед и нимейеролог». То есть у меня было собственное дело, метка в этом

¹³ Моррис У. Вести неоткуда, или Эпоха спокойствия. М, 1962.

профессиональном мире. Работа над книгой о творчестве О. Нимейера с трудом, но продвигалась. Снова и снова В. Хайту и мне помогали старшие, профессионалы-интеллигенты: В.Е. Быков, Г.М. Людвиг, Ж.С. Розенбаум, С.О. Хан-Магомедов. В условиях идеологических запретов и ограничений *коридор творческих возможностей нам, молодым, создавали отдельные люди*. Наконец, как выяснилось, я все же был неплохим архитектором, хотя, конечно, только начинающим. Объединяясь в группы по три-пять человек, мы выиграли несколько архитектурных конкурсов. Это прибавило уверенности в себе и принесло неплохие деньги (первый раз я заработал деньги, будучи еще в 7-ом классе). К тому же я стал зарабатывать приличные деньги иллюстрацией книг, что в совокупности сделало меня, вчерашнего выпускника, вполне материально независимым человеком. Осенью 1958 г. отец пристроил меня к группе участников Международного вулканологического конгресса, проходившего в Армении, и я смог увидеть эту удивительную страну и написать десяток этюдов маслом, то есть снова каким-то странным образом соединить свою тягу к живописи и знакомство с интересными людьми из другого мира, профессионально и географически. Этюд озера Севан висит у меня над кроватью до сих пор.

Все это был новый социальный опыт. Но осознал я это не сразу, а десятилетием позже. Вдохновленный открывавшейся возможностью как-то сочетать науку и проектирование с редким человеческим окружением, я поначалу не замечал, что *прошлое было совсем рядом*. Директором Института был Г.А. Градов, человек, сделавший карьеру на борьбе с излишествами и их «носителями». За ним маячили фигуры не менее одиозные: зам. директора, постоянно намекавший на свою причастность к «органам», зав. кадрами из кадров сталинской эпохи, завхоз, бывший СМЕРШевец, и далее – плотный строй «выдвиженцев» новой эпохи в архитектуре – типизации и унификации. Среди старших были люди интеллигентные и профессиональные, но они не делали погоды. Это стало очевидным, когда через год-два когорта молодых и талантливых стала быстро таять. Начались годы работы над типизацией системы торгово-бытового обслуживания городов. Сейчас наверное даже трудно представить, что всю повседневную жизнь горожан предполагалось организовать по ранжиру, унифицировать. И на этом строилась вся градостроительная политика огромной страны! Конечно, массовое строительство жилых и общественных зданий без некоторого «порядка» невозможно, но если этот «порядок» означает один и тот же тип здания по всей огромной стране? Н.С. Хрущев, яростно борясь с авангардом в искусстве, фактически партийным решением ввел минимализм как единый архитектурный стиль.

3. Двойное глубокое погружение: в реалии советского города и американскую экосоциологию

Что дало мне вхождение в архитектурную науку как социологу? Тематика у меня была самая что ни на есть прозаическая: сети торгово-бытового обслуживания в массовой жилой застройке. Я должен был проводить «обследования» торговых и бытовых помещений с тем, чтобы понять, как в жизни работает то, что архитектор начертил на бумаге (слово «исследование» в среде архитекторов не употреблялось). Более того, те архитекторы, которые занимались созданием этих сетей, сами постепенно погружались в эту вязкую среду дефицита и блага («ты мне, я тебе»). Только много позже, уже начав заниматься социологией

города, я понял, какое уникальное и бесценное знание я приобрел: я увидел реальную, но скрытую от посторонних глаз механику функционирования большого советского города, которую нельзя было вычитать из книжек. Подобные «обследования» были *бесценным ресурсом* для начинающего социолога. Кроме того, моя руководительница, Ирина Рафаиловна Федосеева, засадила меня за изучение зарубежного опыта, прежде всего американского. До сих пор благодарен ей за это, но не могу понять, как СССР с его ничтожным процентом собственных авто, мог использовать опыт создания торговых центров США, возможных только при развитии массового автомобилизма и прекрасных дорог.

Однако как только я увидел, что за архитектурными схемами стоят определенные модели образа жизни, а их авторами являются американские социологи – Р. Парк, Ю. Барджесс, Ю. Маккензи, Л. Вирт, о которых в тех же книгах говорилось как о создателях мировой школы городской социологии, мой профессиональный интерес определился окончательно. Появился стойкий интерес к социологическому «зазеркалью»: как живут и думают люди там, по ту сторону «железного занавеса». Интерес этот уже был раньше: когда мы писали книгу об Оскаре Нимейере (кстати, как только ему в 1963 г. Н.С. Хрущев присудил ему Ленинскую премию мира, книга вышла буквально в считанные дни, да еще с нашими иллюстрациями), когда ездил в Будапешт, работал на фестивале молодежи и т.д. Мне кажется, что высота этого «занавеса» тех времен несколько завышена историками по обе стороны океана. Может быть, в дело том, что я включился в изучение жизни Запада раньше других, сыграли роль названные обстоятельства, но вообще, если ты хотел что-то узнать о жизни там, за рубежом, это можно было сделать. Я вычитывал свою социологию города из архитектурных книг, которые всегда были в открытом доступе Ленинской библиотеки. В том же доступе был и классический труд У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–20), в котором впервые был применен биографический метод. Всех писем приложенных к исследованию, я конечно прочесть не смог, но мысль о том, что социология – это не только опросы, запала мне в душу. Мне повезло больше, чем другим, потому что я не обязан был изучать западные теоретические концепции как студенты гуманитарных факультетов – в обязательной связке с их идеологической оценкой, а, знакомясь с ними сам, тут же начинал думать, можно ли приспособить ту или иную теоретическую схему к моим задачам.

Чтение этой литературы спасло меня от казавшейся мне тогда удручающей рутины другой стороны моих служебных обязанностей: речь идет о тех самых обследованиях учреждений торгового и бытового обслуживания. Снабженный удостоверением Министерства торговли СССР (которое позволяло мне даже «снимать кассу», то есть контролировать дневную выручку), я остервенело лазил по подсобкам, раздаточным, складам, навесам и тому подобным местам мало приглядной стороны нашей повседневной жизни, все время измеряя, вычисляя и записывая. Эта изнанка жизни меня поначалу страшно угнетала: где-то там идет настоящая интеллектуальная жизнь – книги, концерты, путешествия, открытия, а я здесь копаюсь в «обмерах и обвесах». Однако постепенно после нескольких трагикомических случаев, когда по наивности я чуть не лишил коллектив одной столовой квартальной премии, я понял, что их жизнь, общение с поставщиками, рядовыми и «своими» покупателями, начальниками и подчиненными и есть одно из настоящих сообществ советского города. Социальная иерархия этих служб, их неписанные нормы и правила предстали во всей красе. Приведу только один

пример. Подвожу по дороге с дачи на работу семью: мать, избитую до крови дочь, почти девочку, и ее молодого мужа. Выясняется что дочь работает в магазине на Новом Арбате. Спрашиваю: «может быть вас сначала в больницу, тут близко по дороге?» Ответ матери: «Ничего, потерпит, нечего было хватать не по чину!». Перевожу: молодую продавщицу избили свои же, когда она взяла себе дефицит из партии обуви, предназначавшейся для распределения между «своими», но стоявшими на более высоких ступенях внутренней иерархии этого сообщества.

Еще важная деталь. Сегодня социологическое исследование вряд ли обойдется без сетевого анализа. Глобальные, региональные, корпоративные и иные сети у всех на слуху и в компьютерных файлах. Однако для меня уже 50 лет назад термин «сети» был привычным, потому что наш отдел занимался именно сетями торгово-бытового обслуживания. Тогда же или чуть позже вышло несколько переводных книг по социальной психологии, где также рассматривались разные типы человеческих сетей. Наконец, мой собственный перевод книги американского ученого Р.Л. Мейера «Информационная теория городского роста» (1965 г.) также вела меня в этом направлении. Как утверждал Мейер, основой городской жизни является сделка (a deal).

На какой-то период я становлюсь советским Робертом Парком и Вильямом Томасом одновременно, потому что покупатели, хотя и платили в кассу, но воспринимали покупку и всю жизнь как цепь натуральных обменов между «своими» (known people), тем самым создавая устойчивую *сеть сделок*, что и было действительной основой реальных человеческих сообществ и, следовательно, объектом для экосоциального анализа. Такая переключка далекой заокеанской теории и советских реалий меня поразила¹⁴. Значит, экосоциология как отрасль знания не может базироваться на собирании данных о бюджетах времени, на массовых опросах, так как эта социальная статистика не позволяет обнаружить главного в данной отрасли знания: принципа социальной связи людей и групп, формы их коммуникации, обмена ресурсами, «взаимодействия–отталкивания», причин их соединений и размежеваний. Связь человека с человеком, с ближним и дальним окружением, менталитет этих членов сообществ – вот были ключевые проблемы экосоциологии. Она, связывая разнообразие человеческих отношений воедино, может многое объяснить в нашей собственной жизни. Тогда я уже почувствовал значимость экологического взгляда на мир, но долгое время под давлением обстоятельств эта идея находилась на периферии моего сознания (напомню, то был рубеж 1950–60-х гг., когда в СССР о самоорганизации местных сообществ не могло быть и речи).

Однако советская действительность очень скоро напомнила мне о себе, а именно – о необходимости изучения внутренней механики городской жизни или, как ее называли в XIX веке «физиологии» города (был выпущен даже специальный том «Физиология Петербурга»). В 1964 г. бригада научных работников НИИОЗа под руководством замдиректора и секретаря его парткома выехала в г. Владимир для согласования с областным партийным начальством плана социально-градостроительных исследований. Взяли и меня, так как к тому времени я уже несколько лет сотрудничал с новосибирскими социологами, изучая

¹⁴ Думаю, совсем не случайно и медиист А. Гуревич, и экономист О. Бессонова, написавшая книгу «Раздаточная экономика России», уделили столь пристальное внимание феномену «дарения» и обмену дарами.

бюджеты времени трудящихся. То есть взяли как знающего специалиста, но которого надо держать под контролем. Сотрудничество так и не состоялось (кроме ритуальных беседы в горьком и грандиозной пьянки на номенклатурном «берендеевом озере»), но в числе предоставленных нам для ознакомления материалов была карта города с обозначением ведомственной принадлежности всех жилых и общественных зданий. Взглянув на нее, я ахнул – такого «архипелага» ведомственных островов я не ожидал увидеть, хотя мой опыт лектора, много ездившего по российским городам, должен был мне подсказать что-то подобное. Никакого городского сообщества – город был в буквальном смысле разобран между территориальными и отраслевыми ведомствами. Я воочию увидел, что социальная экология советского города – это конгломерат *владений*, с полным (ведомственным) обеспечением и инфраструктурой, что сегодня обернулось тысячами бездомных, когда отдельные предприятия и целые корпорации сбрасывают с себя обременительную социалку. Если жители одной территории тогда все же общались между собой, то эта сеть человеческих связей шла «поверх» этого архипелага ведомственных ячеек. Так всплыла другая принципиальная экосоциальная проблема: сеть разделяющая (ведомственная или организационная) и сеть объединяющая (человеческих отношений и связей).

Но когда в 1967 г. я перешел в Институт международного рабочего движения АН СССР (ИМРД) и надо было срочно написать доклад «Советский город за 50 лет» к юбилею советской власти, я понял, что я знаю то, о чем никто из советских социологов не имел представления. Поэтому не ведаю до сих пор, случай ли это был или судьба: когда за год до этого мои отношения с Градовым обострились до предела, на лестничной площадке НИИОЗа возник молодой человек (то был Н.В. Новиков) и, растерянно оглядываясь по сторонам, спросил в пространство: «А кто здесь будет социолог?». Столь же неуверенно я сказал: «Наверное, я ...». Так я оказался в ИМРД, что и закрепило формально мой статус как социолога.

Как я уже говорил, в системе советской идеологической цензуры были большие дыры. Книги с грифом «спецхран» (то есть доступные только по специальному разрешению) можно было спокойно читать, если они числились по рубрике «градостроительство». Так я не только возобновил английский, но раньше многих других познакомился с американской социологической литературой, в особенности – с трудами Чикагской школой городской социологии, которую я и по сей день считаю своим коллективным наставником. С жадностью читал книги об американских городах и образе жизни их обитателей.

Я также приобрел бесценные знания, выступая с лекциями по линии Союза архитекторов СССР. Готовясь к ним, я открыл для себя российскую и советскую социологию города 1920–30-х гг., тогда вычеркнутую из общественных наук как ревизионистскую, не соответствующую целям коммунистического строительства (спустя несколько лет ярлык ревизиониста мой бывший директор приклеит и мне). Наконец, градостроители, в особенности главные архитекторы городов, были тогда в сущности многоопытными социологами. Никто лучше них не знал городскую жизнь, организационную и человеческую. Поэтому после лекции или семинара в каждом городе я обязательно оставался в нем на несколько дней и разговаривал, разговаривал, разговаривал с местными архитекторами.

Итак, профессиональная ниша постепенно расширялась в сторону социологии города. Как, какими методами работать? – В начинавшей тогда

становиться на ноги советской социологии это было время повального увлечения бюджетами времени. Откуда оно пошло? Частично от К. Маркса, который назвал свободное время «мерилом развития личности», частично из прошлого, в 1920-х гг. такие попытки делались, частично от статистики – Госкомстат РСФСР много лет вел исследования уровня жизни методом изучения семейных бюджетов, частично, как всегда, глядя на Запад, где такие исследования быстро развивались. А показать преимущества социализма через свободное время, да еще в цифрах, сопоставимых с подобными в развитых странах Запада, было весьма политически выгодно. Теперь, видимо, решили, что можно попробовать изучать социальную жизнь методом бюджетов времени.

Меня, как и некоторых других научных работников «от архитектурной науки», заинтересовала возможность попробовать применить результаты этих исследований к градостроительному планированию. В 1960 г. я поехал в Академгородок Сибирского отделения АН СССР, потому что там формировался центр изучения бюджетов времени, а также потому, в этом малом элитарном городе была реализована на практике именно *система* организации обслуживания населения, то есть именно то, что мы, архитекторы и урбанисты, разрабатывали как основополагающую идеологию организации обслуживания населения советских городов вообще.

4. Конфликт методологический и политический

И вот здесь возник внутренний конфликт: между стройной (на бумаге) концепцией ступенчатой системы обслуживания городского населения страны (в разработке которой я участвовал) и моим, хотя еще и недостаточным, но вполне определенным знанием о том, *как городская жизнь устроена на самом деле*. То есть по сути между конструктивистским и экологическими подходами. Чем больше я пытался применить уже накопленную информацию о структуре бюджетов времени горожан к планированию городских сетей обслуживания, тем более ощущал ее принципиальный недостаток – отсутствие привязки полученных структур бюджетов времени к территории, к конкретному пространству и живым людям. Мне нужны были «планы и структуры» поведения людей, положенные на конкретную ткань города. И хотя я вошел в коллектив новосибирских исследователей бюджетов времени (В.А. Артемов, В.И. Болгов, Л.С. Колобов, В.Д. Патрушев, А.Г. Пусеп и другие) и даже участвовал в написании коллективной монографии¹⁵, у меня нарастало ощущение ошибочности избранного мною методического инструментария.

В течение 1960–64 гг. произошел ряд событий, окончательно убедивших меня в том, что здесь что-то не так. Во-первых, В. Колпаков, тогдашний начальник Госкомстата РСФСР, неожиданно распорядился «архитекторов из коллектива исключить». Видимо, мы своими попытками привязать статистику бюджетов времени «вообще» к конкретной территории задели какое-то больное место государственной статистики. Начальству не нужна была картина реальной жизни городов, даже в общем виде. Во-вторых, в Академгородке я познакомился с А.Г. Аганбегяном, Ф.Р. Бородкиным и В.Н. Шубкиным, которые говорили на совсем другом языке и о совершенно иных проблемах. В-третьих, в 1964 г. в «Вопросах философии» вышла статья Л.Б. Когана и В.А. Локтева «Некоторые

¹⁵ Статистика бюджетов времени трудящихся. М.: Статистика. 1967.

социологические аспекты моделирования городов» – первая, поставившая вопрос о необходимости изучения городской жизни как самостоятельной сферы общества. Это был прорыв теоретиков-урбанистов в большую науку, и бюджеты времени здесь были совершенно не при чем. В-четвертых, так случилось, что параллельно с «обследованиями» я впервые стал работать в Государственном архиве Октябрьской революции (ГАОРС) в Ленинграде, где стал искать материалы по домовым комитетам времен февральской революции 1917 г. Они, как ни странно, тоже были открытыми.

Бог мой, как же это было все живо и интересно! Идеи и конкретные действия конкретных людей. Оказывается, уже были и в России, и в Европе «города-сады», существовало целое социальное движение за создание «городов-садов» (я узнал это словосочетание «социальное движение» в 1964 г., но должно было пройти еще почти двадцать лет, чтобы это стало главным предметом моего исследовательского интереса). Вот когда я впервые пожалел, что я не историк по образованию, но кто в 1950-е гг. мог бы в СССР преподавать *такую социальную историю*? Пришлось, как и ранее, быть самоучкой: что-то находил сам, что-то подсказывали такие же, как я, увлеченные социологией архитекторы (более всего я признателен В.Л. Ружже, за ее диссертацию по «Городам-садам» и долгие разговоры о «малых группах»). А главное, уже была в российских городах низовая самоорганизация, причем достаточно развитая – именно то, чего не было в официальной доктрине построенной нами ступенчатой сети обслуживания городов.

Все это в совокупности не могло не привести меня к конфликту с директором НИИОЗа Г.А. Градовым. Человек он был жесткий, практиковавший только «указующий» стиль общения с подчиненными. А я не люблю, чтобы на меня давили. Однако суть конфликта была гораздо более глубокая, политическая: нужна ли в принципе самоорганизации городской жизни в условиях социализма? Идеалом директора был коммунизм, весьма похожий на казарменный. Он подавался как возрождение идей «нового быта» 1920-х гг. (квартиры без кухонь, «кабинки для жилья», старики живут отдельно от детей, дети – отдельно от родителей, все бытовые процессы максимально обобществляются и т.д.). Семье как социальному институту места в этой идеологии не было. Так Градов понимал реализацию программы строительства коммунизма, выдвинутую XX съездом КПСС в 1961 г.

Видимо, подсознательно – быть или не быть семье – было сутью конфликта. Не мог я, выросший в нормальной семье, принять точку зрения директора. Хотя внешне конфликт выражался в различиях взглядов на принципы организации сетей обслуживания, вещь, казалось бы, довольно прозаическую. Тем более к этому времени я уже был хорошо знаком (по литературе) с опытом организации жизни в микрорайонах США и Западной Европы. Но научная среда вокруг меня становилась не только более «серой» (все молодые и талантливые ушли), но и, благодаря стараниям директора, все более технократически ориентированной. Собственно говоря, он был апологетом принципа детерминации социальной жизни строительной индустрией. «Да здравствует унификация!» – так директор выразил свое кредо на одном из застолий.

Замечу, что как социальный институт архитектурно-строительная «корпорация» была очень мощной, поскольку вся идеология строительства коммунизма была *технократической, строительной*. Успехи на этом пути

определялись не уровнем и качеством жизни, а числом построенных жилых и иных зданий и сооружений. Все финансирование *формирования* среды обитания людей шло через Госплан и Госстрой. Все якобы делалось «для блага человека», но человеку как деятельному существу в этой системе тотального конструирования места не было. Да его никто и не спрашивал. Надо всем главенствовали Строительные нормы и правила (СНиП). *Прямой контакт* архитектора с населением не предполагался. Сколько раз я видел нежелание проектировщика выехать на место и осмотреться прежде, чем приступать к проектированию микрорайона. Времена менялись, но алгоритм «сначала проект на бумаге, потом его реализация на месте» оставался неизменным. Население годами мучительно приспособляло свои дворы и квартиры к проектам, сделанным за сотни километров от него. Сколько раз я слышал от директора: «я, вот, спроектировал, а теперь ты мне это обоснуй социологически». Наконец, наша с Хайтом известность в архитектурном мире как авторов книги «Оскар Нимейер» была не по душе директору.

В 1964 г. я кое-как, соискателем и даже без научного руководителя (был только консультант) наконец защитил кандидатскую диссертацию по своим торгово-бытовым сюжетам. Поверхностную и наивную, с какими-то жалкими потугами на применение математики. Стыдно вспоминать до сих пор. Но, вероятно, без этого позора я бы не смог окончательно определиться: градостроительная наука (в том виде, в котором она тогда существовала) это не наука. Все, предел был достигнут.

Тем временем я опубликовал несколько статей в «Литературной газете»; в «Неделе», воскресном приложении к «Известиям», была опубликована моя анкета «Какими должны быть наши города?» – пришли интересные ответы, что еще более подогрело мой интерес к инициативам снизу (когда я через год уходил из НИИОЗа, этот эмпирический материал таинственным образом исчез). Ко мне стали приходить люди, почувствовавшие вкус к социологии. Впервые я столкнулся с множеством околonaучных «чайников», иногда очень изобретательных и по-своему талантливых. Но с ними было куда интереснее, чем с моими ближайшими коллегами. В общем я перестал «быть как все», опять выпячивался. И директор открыто начал искать «под меня» статью Кодекса о труде, чтобы уволить и – не просто так. Надо было срочно куда-то уходить.

5. О круге близких и статусе «между»

Круг близких влиял косвенно, но весьма сильно. Он способствовал упрочению моего взгляда на мир как на мир личностей, расширению связей общения. Прежде всего я имею в виду мое повторное знакомство с семьей акад. АН СССР В.И. Смирнова, известного математика, друга моего отца еще по крымскому «сидению» 1919–21 гг. Первое мое знакомство с ним состоялось в 1946 г., когда они с отцом играли на рояле в четыре руки у нас дома на Смоленском бульваре.

Для моего окончательного поворота к науке, общение в этой среде российской интеллигенции было чрезвычайно важным. Сам В.И. и все вокруг него были людьми «моего» круга, понятной и близкой мне средой. Там были математики, физики, художники. Это снова была обстановка Николиной Горы, только теперь я был взрослым. Не обязательно было специально учиться

математике, важно послушать, побыть рядом с яркими личностями, особенно если они много старше. Нет, это не был пиетет перед возрастом, это был неподдельный и благотворный для меня контакт с людьми *настоящих* науки и искусства. Как много значило просто посидеть несколько часов за чашкой чая на летней террасе среди этих людей и их послушать! *Эта среда меня вновь мобилизовала и направляла.* Но особенно меня поражало доверительное отношение ко мне. Когда я приезжал в очередной раз в Ленинград, мне оставляли ключи от большой академической квартиры, и я там жил по неделям совершенно один, пользуясь огромной библиотекой, слушая классическую музыку, и изредка наезжая к Смирновым на дачу в Комарово.

Благожелательны были ко мне и мои дальние ленинградские родственники: Лидия Анатольевна, двоюродная сестра моего отца, и ее муж, Александр Павлович Юрчевские. От них я впервые услышал о Владимире Осиповиче Лихтенштадте, эсере-максималисте, двоюродном брате отца¹⁶. О его 11-летнем заключении в Шлиссельбурге, об освобождении, участии в революции 1917 г. и гибели в 1919 г. О том, что он похоронен на Марсовом поле в Ленинграде. Что остался его архив (вскорости исчезнувший из квартиры Юрчевских при загадочных обстоятельствах). Мой интерес к людям, личностям и их архивам все возрастал.

Наверное, это закономерность развития индивидуального сознания: сначала воспринимаешь родных и близких как *естественное окружение*, и только много позже начинаешь осознавать их значимость как «референтных точек», влияющих на твои планы и структуры поведения. Я, конечно знал, где работает отец и чем он занимается. Но то, что он был историком по образованию, членом знаменитого историко-этнографического кружка Б.М. Довнар-Запольского в Университете Св. Владимира в Киеве, что, будучи еще студентом, опубликовал несколько книг по истории Руси, которые и сегодня имеют ценность – его дипломную работу я переиздал в 2007 г.¹⁷, я не знал. Что отец был также библиографом-профессионалом, десять лет был директором Всероссийской книжной палаты, собирая по всей стране и за рубежом книги для комплектования российских библиотек, организовывал библиографические съезды, я тоже узнал и оценил это много позже.

Читая работы и письма отца, я понял, что быть профессионалом и входить в профессиональную корпорацию – далеко не одно и то же. И тут есть некоторая *повторяемость* семейной ситуации. Революция 1917 г. разрушила первоначальное профессиональное сообщество отца, в которое он только начал входить. Он выжил, но историей Руси заниматься больше не мог. Пришлось заниматься интересными, но не научными делами. Когда в конце 1930-х гг. он переквалифицировался в экономгеографа, он не стал членом «корпорации географов». Почему? – Там всегда кипели страсти, воевали группы и школы – это было не в его характере. Институт географии АН СССР был в те времена по сути институтом физической географии. Экономгеографическая специализация отца была для института «чужой», хотя и важной политически. Отец дружил со многими сотрудниками Института географии, особенно после его с мамой казахстанских экспедиций 1939–40 гг., но не был членом «корпорации».

¹⁶ См. подробнее: *Яницкий О.Н.* Семейная хроника. М.: Издательство LVS. 2002.

¹⁷ *Яницкий Н.Ф.* Экономический кризис в Новгородской области в XVII веке. Киев. 1915 (репринтное издание 2007 г.)

Со мной произошло нечто подобное. Я был архитектором, членом Союза архитекторов СССР, но не был членом этой профессиональной корпорации. Дом архитектора, особенно дом творчества «Суханово» были местами приятного общения и уединения, но в профессиональном сообществе распоряжались и властвовали другие. Генетически сложились кланы и «команды». Для них, их детей, внуков, родственников Архитектурный институт и дом Союза архитекторов на Гранатном пер. были родным домом, для меня – нет.

Забегая вперед скажу, что и позже такого *профессионального сообщества* не было у меня еще очень долго, вплоть до начала 1990-х гг. В ИМРД АН СССР, где я проработал почти 25 лет, урбанистическая проблематика и, следовательно, я сам были «маргинальными». Но гораздо интереснее другое. У исследователей урбанизации – географов, экономистов, социологов, только-только начавших создавать эту дисциплину, не было желания объединиться – каждый копал «свою делянку». Объединяла нас периодически только необходимость *защищаться* от нападков – то от «друзей» по архитектурному клану, то со стороны ревнителей истмата и научного коммунизма.

Все мои попытки сделать Исследовательский комитет по социальным проблемам градостроительства Советской социологической ассоциации (создан в 1969 г.) местом, объединяющим единомышленников, были тщетны. Ходили неохотно, всегда надо было выколачивать доклады, даже на международные социологические конгрессы. Тем не менее, *статус «маргинала»* как исследователя на границе областей знания и соответствующих институций имел тогда много преимуществ. Я имею в виду именно статус. В социологии, как и в любой другой отрасли знания, есть ее ядро (ядра) и их периферия, пересекающаяся с зонами влияния других наук. «Передний фронт науки» и само зарождение новых научных направлений далеко не всегда происходят «внутри» устоявшихся научных школ и институций (факультетов, департаментов и т.п.). Тем более это справедливо для становления новых областей знания в условиях быстрых социетальных перемен. Так сложилось, что мне пришлось участвовать в формировании в СССР/России двух социологических дисциплин – социологии города и экосоциологии. Сейчас нечто подобное происходит и в третий раз. Не хочу сказать, что я был лидером, но «на острие» становления этих дисциплин все же находился довольно долго. Повторялась одна и та же ситуация. Попытаюсь оценить ее плюсы и минусы.

Главный плюс маргинальности в указанном выше смысле – это отсутствие ограничений, налагаемых школой, «командой», институцией или исследовательской корпорацией. То есть коридор поисков, исследовательских возможностей резко расширяется. Если посмотреть на историю социологии, то она полна примеров, когда новые исследовательские направления и целые дисциплины складывались именно в междисциплинарном пространстве. Собственно говоря, именно так сформировалась Чикагская школа городской социологии.

С этим связан другой плюс: мой личный интерес к работе, охотничий азарт, мотивируемый освоением нового. Здесь была масса проблем: что является предметом исследования, на какую теорию и методологию опереться, в какой степени применимы подходы различных американских и европейских школ городской социологии? Конечно, можно было просто «застолбить» тему, пользуясь административным ресурсом, – так делали многие, но не о об этих людях сейчас речь. Тогда городскими социологами становились градостроители, географы,

историки философы, то есть *исследователи*, но не университетские преподаватели, не педагоги и не партийные чиновники.

Наконец, плюсом было состояние *перманентной внутренней мобилизации*, готовность к защите своего дела и позиций, настойчивость в «пробивании» статей, докладов, сборников, что предполагало определенные бойцовские качества. Когда в 1969 г. мы с ближайшими коллегами написали первую в СССР монографию по социологии города, а директор НИИОЗа, Г.А. Градов, использовав свои связи, ее завалил, мы подали в суд и выиграли дело. Понятно, судиться даже с бывшим директором в те времена было совсем не просто. Поскольку, как я уже говорил, сообщества не сложилось, приходилось полагаться на собственные силы.

Минусы тоже были существенны. Риск прежде всего исходил из постоянной ситуации «чужака», что лишало даже минимального корпоративного прикрытия. В случае кризиса научная корпорация освобождалась от «маргиналов» в первую очередь. Далее, карьерная лестница была очень короткой: вход в «ядро» сообщества (избрание академиком, член-корреспондентом или просто должность, позволяющая использовать ресурсы конкретной научной организации) был закрыт. Институциональные поощрения и ресурсы (свободный график, премии, поездки за границу), а главное возможность формировать собственную «команду», подбирать кадры также были минимальны.

И все же основная трудность лежала в *собственно научной плоскости*: не было школы, учителей, научной традиции. Как и не было другого критического условия развития научного знания: конкуренции идей, сомнения, критики и самокритики. Я снова отвлекаюсь от ситуации «разносной» критики.

Читатель спросит: откуда же тогда ресурсы для всего этого? – Прежде всего это был ресурс уже накопленного эмпирического знания, знакомства с изнанкой городской жизни. Далее это, естественно, книги – к тому времени у меня собралась вполне приличная библиотека, в том числе по истории городов в России/СССР. Кое-что из польской социологии города мы переводили и даже издавали. Это были также интенсивные связи общения в советском сообществе урбан-социологов (А.С. Ахиезер, А.В. Баранов, Л.Б. Коган, Е.Д. Михайлов, О.С. Пчелинцев, В.Л. Ружже). Я не могу сказать о всех, но об одном из них, трагически погибшем, не сказать не могу.

С Олегом Сергеевичем Пчелинцевым меня связывали крепкая дружба и близость профессиональных позиций. Постоянно погруженный в свою науку, О.С. был тем не менее абсолютно доброжелательным, доступным всем человеком. Экономист-региональщик, пожалуй единственный глубоко столь глубоко понимавший значение крупных городов как социально-культурной среды, воспитывающей и возвышающей человека. Будучи абсолютно гуманистически ориентированным экономистом, он поэтому заслужил особую симпатию коллег и друзей. Большинство наших экономистов были всегда «в верхах», О.С. – всегда доступен, хотя и занимал высокие позиции в сфере экономической политики государства. Для него «народнохозяйственное планирование» было не вывеской (так назывался его институт), а делом жизни. О.С. был государственным в высоком значении этого слова. Господа-академики, работавшие на правительство и Госплан, эксплуатировали его интеллект и человеческую безотказность. Я много раз спрашивал его, как он выдерживает такую нагрузку бесконечных экспертиз и записок в плановые органы? Он соглашался, да, дел слишком много, но ведь кто-то должен это

делать. По большому счету, он был одним из немногих ученых, кто оказывал реальное воздействие на экономическую политику власти. И очень страдал, когда новая власть отодвинула его в сторону.

О.С. всегда был сторонником концепции модернизации как накопления человеческого капитала, опирающегося на традиции коллективизма (синтеза интересов личности, народа и государства). Мы были едины в том, что опора развития страны – это регионы и большие города, где воспроизводится человеческий капитал. И еще: для О.С. важнейшим принципом любых реформ была преемственность, с акцентом на предотвращение социально-пространственной сегрегации и преодолении изоляции глубинки. Как видим, он был прав. О.С. глубоко разрабатывал концепцию формирования социально-территориальных общностей. Именно в его сборнике я впервые высказал мысль о том, что высшей формой этих общностей¹⁸ будет «локально-всеобщая», то есть произойдет «глобализация» их интересов и деятельности. Фактически речь шла о феномене глокализации, понятие которого было введено в обиход мировой литературы австралийским социологом М. Уотерсом в 1995 г., то есть десятью годами позже.

Не меньшую роль сыграл в моей жизни Раймонд Пал, тогда ведущий английский урбан-социолог, с которым я познакомился еще в 1969 г. в Москве. Позже он неоднократно приезжал в Москву, присылал мне свои книги и книги английских социологов по самым разным направлениям. Ну и конечно это и международные контакты, остававшиеся после конгрессов и конференций. Особенно ценным было то, что они были междисциплинарными или же в пограничных с городской социологией областях. Помимо всего прочего, эти неформальные сети давали в те годы некоторую институциональную защиту. В общем, если хочешь развивать свое, новое, неординарное – укрепляй свою «экологическую нишу».

Наконец, импульсы к исследованию (а за ним и ресурсы) приходят иногда, казалось бы, с совсем неожиданной стороны. В 1968 г. в Москву приехал Б. Мильман, один из инженеров, участвовавших в проектировании новой столицы Бразилии, с очаровательной молодой женой Памелой Миллс. Я знал работы Ч.Р. Миллса, но меня потрясло, что его дочь работает волонтером в одном из глухих районов Бразилии. Тем же занимался в Африке и один из сыновей Р. Пала. Оказалось, что есть в этом сообществе определенные этические нормы: *не только исследование, но и непосредственное личное участие в жизни других – бедных, обездоленных.*

На определенном этапе становления новой дисциплины возникает «точка бифуркации»: или тратить время и силы на ее институционализацию (создание стабильных курсов, написание учебников, организация кафедр – все это нужно, но это и создание памятника самому себе) или же – на углубление исследований, поиск новых проблемных полей, уход в теорию, в обобщение накопленного. Я всегда выбирал второе. Есть этому и другое объяснение. Весь мой научный и социальный опыт говорил, что сначала надо заболеть проблемой (она должна стать

¹⁸ Яницкий О.Н. Территориальные общности в экологической структуре города // Проблемы развития социально-демографических групп и социально-территориальных общностей / О.С. Пчелинцев и Н.Н. Ноздрина, ред. М.: ВНИИСИ. 1986. Вып. 4. С. 58–75.

для меня социально значимой), войти в нее, «повариться» и только потом – начинать восхождение к теории и методам.

Глава 4. 1967 г.: переход в Академию Наук

Расширение интеллектуальной среды и сферы познания. – Погружаюсь в историю городской социологии в России. – Реалии той жизни: суды гражданский и уголовный. – Новая область социологического интереса. – Сольвычегодск и Устюг Великий. – Программа «Экополис». – М. Кастельс и конференция «Большие города мира».

1. Расширение интеллектуальной среды и сферы познания

Чтобы не попасть под увольнение «за профнепригодность», которым грозил мене отдел кадров НИИОЗа, я перешел в Институт теории и истории архитектуры (ЦНИИТИА), с которым был уже много лет связан профессиональными интересами. Я проработал там очень немного, не более полугода перед переходом в ИМРД. Но его люди, среда были близки мне. Все же, это была история архитектуры, а я занимался О. Нимейером. Это была теория градостроительства, дисциплина очень близкая к социологии города, там работали В.Л. Хайт и моя жена Галя, там я познакомился с В.Л. Глазычевым, с которым наша дружба продолжается до сих пор. В отличие от НИИОЗа это был институт людей культуры и искусства, в основном конечно. Но я хочу рассказать еще одну историю, казалось бы, прямо ко мне отношения не имеющую, но имеющую отношение к проблеме исторической глубины интеллектуальной среды в моей жизни.

Когда-то еще в начале 1940-х гг. через наш дачный участок ходила маленькая старушка, так как ей было трудно подниматься по крутому шоссе Николиной Горы. Звали ее Татьяна Львовна Щепкина-Куперник – поэтесса и писательница, знакомая со всем кругом московской художественной элиты конца XIX века: Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.И. Левитаном. Да, именно с Левитаном, который был моим любимым художником. Много позже, уже в середине 1960-х гг. в ЦНИИТИА, я познакомился с очень интеллигентной, но бедно одетой женщиной, Евгенией Львовной Крашенинниковой. А потом, читая том архивов И.А. Бунина, я ахнул: это была родная сестра Т.Л. Щепкиной-Куперник. Не буду вдаваться в историю их семьи, она драматична. Но две вещи меня в очередной раз поразили. Как история «возвращается» к тебе самым неожиданным образом. И как в ней все перевязано: живые люди, твои кумиры, которых ты знал только, по полотнам Третьяковской галереи, и жизнь тех, кто был с тобою рядом, но ты, всегда спешащий, не обратил на них внимания. Не прочти я толстенный том архивов Бунина, моего любимого писателя, не узнал бы, что Е.Л. Крашенинникова была интереснейшим человеком, абсолютно творческим, защитившим кандидатскую диссертацию в 81 год! Более того, она подтвердила мое мнение о знаменитом французском архитекторе Ле Корбюзье, как о человеке крайне политизированном, занимавшимся в основном самопиаром.

Почему я решил перейти в ИМРД, тогда еще подчинявшийся ВЦСПС? Частично я уже ответил на этот вопрос. Но окончательный выбор был сделан мною по критерию *высокого интеллектуального уровня* этой организации – там

собралась группа блестящих советских философов, социологов, историков, политологов, юристов (Э.А. Араб-Оглы, М.В. Баглай, П.П. Гайдено, А.А. Галкин, Ю.Н. Давыдов, М.А. Заборов, Ю.Н. Замошкин, А.А. Лебедев, М.К. Мамардашвили, Н.В. Новиков, Н.Н. Разумович, Э.Ю. Соловьев, Е.Т. Фаддеев и многие другие). И, конечно, мой выбор сильнейшим образом мотивировался возможностями перехода на иной уровень познавательной деятельности, к иным концепциям и проблемам. В те же годы в стенах этого института мы общались с Толкоттом Парсонсом, Раймоном Ледрю, Раймондом Палом, Иштваном Селени, Адамом Шаффом. ИМРД резко выделялся среди других гуманитарных институтов АН СССР своими возможностями, что и привлекло туда многих блестящих исследователей и аналитиков.

Вся атмосфера первых лет существования этого института была насыщена размышлением, ориентацией на познание и дискуссию. А то, что это было кому-то нужно в ЦК КПСС или ВЦСПС, дела не меняло. Тогда, в конце 1960-х гг., в ИМРД был сосредоточен цвет советской гуманитарной науки. То, что Институт был временами «отстойником» для бывших разведчиков или дипломатов, дела тоже не меняло тем более, что это были на удивление интересные и доброжелательные люди, знавшие истинный смысл многих событий в мире. После тяжелой, с постоянной оглядкой работы «там», «здесь» они могли просто постоять у окна и потрепаться. Как уже говорил, меня прежняя среда «выпихивала», угрожала санкциями, а среда этого института притягивала и заставляла тянуться.

С Николаем Васильевичем Новиковым мы потом дружили домами, подаренные им книги на польском по социологии города служили мне учебными пособиями, я всегда с интересом читал его социологическую публицистику. Интеллектуально я ему многим обязан, прежде всего – приобщением к новой интеллектуальной среде. Но по-человечески мы не были близки, не мог я, как он, воспринимать все и вся с усмешкой. Эмигрировав, он «потерял себя» именно поэтому – ему российская действительность была не интересна.

В ИМРД я на 10 лет я погрузился в изучение и критику американской социологии города. Здесь согласиться с А.Я. Гуревичем, что в те поры подобная работа была «доходным ремеслом», я не могу. В ИМРД действительно доходным ремеслом была критика буржуазной историографии рабочего и профсоюзного движений. Дисциплины же, которыми я занимался, находились на периферии директорского интереса и тем более были далекими от интересов Международного отдела ЦК КПСС, который курировал институт. Таких, как мы, директор держал про запас, на всякий случай, скорее всего для демонстрации иностранным визитерам включенности Института в мировой исследовательский процесс. Во всяком случае международная конференция «Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс», которую я инициировал и провел в ИМРД в 1970 г., была воспринята институтским и «верхним» начальством весьма благожелательно. Тем более, что заглавный доклад сделал акад. А.М. Румянцев, который вообще постоянно помогал социологам.

Неоценимую помощь мне оказал английский социолог Раймонд Пал. Мы познакомились с ним в Москве в 1969 г. на конференции «Урбанизация и рабочий класс в условиях НТР». Высокий, худой, в ковбойке, нахохленный какой-то. Я его сопровождал, был у него в гостинице «Зарядье», ужинали, что наша «служба» сразу зафиксировала, хотя я работал с ним официально. Но видимо так было надо, для порядка. Выступления Р.П. не помню – я был занят организационными делами.

Но потом познакомились ближе, особенно когда по «культурной программе» я с ним отправился в Ленинград походить по музеям. Запомнилось его мягкое: *sleep well*, когда мы укладывались спать в 2-х местном купе «Красной стрелы». В Ленинграде ему дали прекрасный номер в Астории, и мне – в ней же, только на самом верху, где ночью я чуть не отравился газами от кухонных труб, идущих снизу из ресторана. У персонала этот гостиничный коридор, где был мой номер, назывался Машкин Тупик. Видимо там кто-то из персонала действительно отравился. Потом была прекрасная экскурсия по Эрмитажу, где для Р.П. специально открыли зал с английскими гравюрами XVII—XIX веков. Р.П. остался очень доволен, так как был коллекционером.

Р.П. был тогда убежденным лейбористом, говорил о социализме в Англии, о том, что у них здравоохранение и образование бесплатное. И еще в его разговорах присутствовал постоянный страх, что СССР может их оккупировать. Потом он стал мне присылать много книг по социологии и другим наукам, так что я приобщился к «буржуазной социологии» социалистического направления довольно давно. Был он в Москве еще через год или два, точно не помню, на сутки по дороге в Китай. На этот раз – вместе с женой, очень уставшей молодой женщиной. Когда я их возил по Москве, Р.П. предлагал мне фунты, видимо хотел как-то выразить свое участие к нам «бедным-русским». Забавно и трогательно.

Эта «иностранная жизнь» никак не затрагивала нашей советской жизни, хотя и разнообразила ее сильно. Что было важно, так это языковая практика и книги, которые он присылал. Ну и статус мой в ИМРД повысился, т.к. я «был допущен к работе с иностранцами». Р.П. тогда у нас назывался «буржуазным интеллигентом», что по сути было верно – он был типичным представителем среднего класса: университетский профессор со средним достатком. Лишь позже я узнал, что его статус сильно вырос, когда он женился на состоятельной леди Д., которая к тому же получила солидное наследство, жил в прекрасном таун-хаусе в Кентербери.

Я был впервые в Англии в августе 1974 г. по линии научного туризма, который действительно был научным. Масса впечатлений и приключений. Одно из первых и самых сильных: предложение о работе (на одной и той же доске объявлений, прямо как сейчас у нас): уборщик – 3 фунта в неделю, повар в ресторан средней руки – 200 фунтов и личный секретарь для морского путешествия (со знанием языков) – 20.000 фунтов за два месяца. Вот это разрыв, наверное и сегодня у нас до него не дотягивают! Там Р.П. чувствовал себя хозяином (а я-то был в группе научных, но все же туристов). Представьте себе мое ощущение, когда во время коллективного обеда советской группы по громкой связи объявляют, что «профессора Яницкого ждут его друзья (!) на улице». Тридцать пар ехидных глаз – и все на меня: «Что это тут у тебя за друзья, а ну-ка, расскажи нам!». Скомкав обед (очень вкусный), выскочил на улицу и увидел Р.П., смеющегося, вместе с его другом в маленькой открытой машине. Они показали мне город, богатый район Бельгрейвия (переделанный из королевских конюшен), трущобы, где останавливаться не рекомендовалось даже днем, а потом и рабочие районы среднего достатка. То есть практически все социально-экологическую карту Лондона, которую они знали прекрасно. Недавно, будучи в гостях у моей племянницы Веры в районе метро «Чертановская», я еще раз убедился, как мало я знаю современную Москву, и какими были молодцами мои школьные товарищи

Владислав Волков и Сергей Зик, которые просто ходили по тогдашней Москве, изучая ее «пешком»...

Вечером мои англичане предложили мне пообедать (т.е. поужинать), спросив: чего бы я хотел? Надеюсь не опустошить их карманы, я сказал, что хорошо бы съесть какой-нибудь рыбы (у нас-то это была самая дешевая ресторанная еда). Они переглянулись и повезли меня в маленький рыбный ресторанчик, где мы ели рыбный суп и второе тоже из рыбы. Как оказалось потом, это был один из самых дорогих ресторанов Лондона. До сих пор не понимаю почему в стране, окруженной морями, рыбные блюда были так дороги. В той поездке я впервые понял, как важен формальный социальный статус. Кто-то назвал меня профессором (хотя тогда я им в действительности не был), и уже потом всю поездку, когда были встречи с градостроителями и социологами-урбанистами, каждый раз без исключения ведущий (как правило, университетский профессор) обращался к группе со словами: «профессор Яницкий и я, решили вам показать (рассказать, спросить)»... и т.д. и т.п.

Очень и надолго было полезным посещение Высшей архитектурной школы в Бирмингеме, где весь учебный процесс был построен по *проблемному* принципу. Если проектировался индивидуальный коттедж, то одновременно давались все (!) знания, необходимые для его постройки. Никаких тематических курсов – все вокруг данного предмета (объекта). Поскольку реально это делалось не на бумаге, а путем создания макета (из кубиков и других деталей, похожих на детские кубики, только гораздо более сложных), то большой зал, где происходило это действие, был одновременно похож класс или мастерскую (вокруг собираемого макета были разбросаны учебники и инструкции) и на строительную площадку.

Были и мелкие и крупные ЧП. Я отпросился один пойти побродить по Британскому музею. Он тогда был частично на ремонте, и входили мы через служебный вход, откуда лифт поднимал посетителей прямо в один из его залов. Как только я вышел из лифта, раздался страшный треск, и вокруг меня на пол полетели куски разбитой скульптуры, и я тут же бы схвачен двумя охранниками как наиболее вероятный хулиган. Только через час выяснилось, что скульптура была разбита каким-то сумасшедшим, и меня не только отпустили, но пришел директор музея и принес публично (в смысле при той публике, которая находилась рядом) мне свои извинения.

Уже перед отъездом я пошел купить жене летние перчатки. Зашел в «Марк и Спенсер», нашел киоск и стал выбирать, что можно было бы купить по моим скромным деньгам. Понимаю, что никак не укладываюсь в оставшуюся у меня сумму. Вдруг к киоску подходит молодая дама (вижу за стеклом на улице ожидающий ее автомобиль с шофером), начинает перебирать перчатки, но явно хочет поговорить: «Как вам этот фасон, цвет...» и все такое. Не знаю, как от нее отделаться. А она, видя мои финансовые затруднения, говорит: «Вы забыли дома деньги (это я-то забыл!), никаких проблем: я заплачу, какие мелочи (продавщица, слушая наш разговор, улыбаясь, тут же сбрасывает цену ровно настолько, сколько есть у меня в кармане). Она: «Знаете, мне так хочется с кем-нибудь поболтать, но англичане такие чопорные, да и лето сейчас, все в разъезде. А я, знаете ли, только что вернулась из ЮАР, а вы наверное датчанин, вот тут ближайшее кафе, хотите поговорим».... Было ясно, что она богата, и предложение это ею мне сделано безо всякой задней мысли, просто скучно ей в Лондоне, где она не была столько лет. Но как мне-то от нее отделаться? Пришлось сказать, что очень благодарен, но

тороплюсь. Вот бы наш 1-ый отдел узнал, что я болтаю в магазине, а еще хуже – сижу в кафе, с человеком из ЮАР, тогда, как считалась, самым ужасным расистским режимом (апартеид).

А перед отлетом на Родину нашу группу «заарестовали»: один из ее членов (из Еревана), накануне вечером исчез. Это было ЧП! И найти его никак не могли. Но уже перед посадкой в автобус, везущий нас в аэропорт, вдруг беглеца привезли местные армяне (члены лондонской армянской общины). Они не приняли его! И он как побитая собака полез в автобус. Но и это было не все. При досмотре багажа у него обнаружили пистолет, как выяснилось потом игрушечный (он сказал, что вез подарок сыну), но вылет задержали еще на два часа.

Потом я был в Англии несколько раз, но впечатлений об этих кратких наездах у меня не осталось. Нет, было одно: они звали нас, чтобы хоть что-то понять происходящее в СССР, а потом и в РФ. Но они не могли сформулировать ни одного внятного вопроса. Или же хотели навязать нам свою точку зрения. Не было ни одного семинара или другой встречи, чтобы мы систематически и последовательно сближали свои вопросы (или претензии) друг к другу. Чтобы вырабатывали какие-то общее видение российской ситуации и ее перспектив.

Особняком стоит мой частный визит в Англию, когда я попросил Р.П. дать мне возможность походить по городу, пожить в семьях, в том числе и у него дома в Кентербери. Именно тогда мне удалось взять несколько интервью в городских микрорайонах, у людей, которых мы здесь называем общественниками, а там они за это получали зарплату и шли на такую работу охотно, потому что работа в офисе была скучнее и монотоннее. А здесь – каждый день с людьми. Ну и еще, конечно, британский частный дом – от малюсенького, миниатюрного, но обязательно 2–3-этажного с двориком 3 на 4 метра до огромного особняка, где я редко мог сразу найти дорогу в отведенную мне комнату.

Самым бессмысленным был мой визит в Лондон в июле 1993 г., когда у меня уже очень сильно болела нога (до операции оставалось несколько месяцев). Тогда я числился советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме шока от роскошного и безвкусного нового здания Банка и каких-то невнятных обсуждений проекта “Public Participation Information Initiative”, который предполагалось осуществить на всем постсоветском пространстве и который через год благополучно заглох, ничего и не было. Думаю, что вовлечь меня в это предприятие предложил венгерский эколог Миклош Першани, который потом тоже очень скоро отпал и вернулся в Будапешт директором зоопарка. Одно я понял четко: быть научным советником такого учреждения абсолютно бессмысленно. Это было чисто финансовое, нет, даже чисто бюрократическое, чиновничье учреждение. Там думали иначе и разговаривали на другом языке. Собственно говоря, на знакомом нам языке «распиливания» банковских средств, за что позже и был снят первый директор ЕБРР.

Если окинуть взглядом 35 лет нашего знакомства с Р.П., то они делятся на два периода. Первый, когда Р.П. мне очень много помогал книгами или просто в личных беседах тем более, что он был крупнейшим социологом-урбанистом. Не могу сказать, что это был обмен на равных, но всегда дружеский. Но как только началась перестройка, тон его и его коллег по отношению к нам, русским, резко изменился на критический и даже менторский. Оказывается, мы все делали не так. Как именно надо, они не говорили и скорее всего не знали сами. Как мне кажется, их раздражение было вызвано не столько нашим «плохим» поведением, сколько

тем, что их теснили другие англичане, хотевшие здесь, в Москве, создать какой-то филиал британского высшего учебного заведения. Что и стало позже Московской высшей школой экономических и социальных наук.

Но вернусь к науке. Что же мне дало изучение работ классиков Чикагской школы городской экологии? Очень много – теоретически и методически. Экологичность была не чем иным, как системностью в точном смысле этого слова, поскольку взаимодействовали люди, их сообщества, организации и «места», то есть природные ландшафты определенного качества. На социологическом языке экологичность означает сопряженность, «пригнанность» всех этих разнородных элементов, то есть определенный и относительно устойчивый социальный порядок, структурно организованный и культурно санкционированный. Можно бы применить привычный уху социолога термин: самоорганизация, но он несколько уже, потому что из него выпадают природная экосистема и социально обустроенная территория. Экониша, экоструктура и даже социобиотехническая система – все это термины одного порядка, в основе которых лежит понятие «дома» (по гречески, ойкос), где все обустроено и пригнано друг к другу. А.И. Солженицын был глубоко прав, говоря о необходимости обустройства России снизу.

Но интерес к экосоциологии шел и из самой институтской среды. Так, мой непосредственный начальник в ИМРД, Э.А. Араб-Оглы, занимаясь демографией, не раз (задолго до начала работы Римского клуба) указывал на угрозу природе быстрого роста народонаселения планеты. Французский социолог Раймон Ледрю, автор книги «Социология безработицы», говорил на семинаре в ИМРД, о ее «экологии», то есть размещении сообществ безработных на территории городов и стран, об их «коммунах» (что я потом увидел сам, побывав в Голландии). Е.Т. Фадеев интенсивно разрабатывал концепцию техносферы, чему мы тогда внутренне сопротивлялись, но, как оказалось, сегодня, теоретически он был прав. Наконец, для меня, знавшего ведомственную разобщенность населения и инфраструктур наших городов, книга Р. Пала «Чей город?»¹⁹ (переиздававшаяся там 7 раз) оказалась особенно полезной тем более, что во время его визитов в СССР мы могли с ним обсуждать интересующие меня детали городской механики. Приезжавшие в ИМРД иностранные ученые передавали в нашу библиотеку или просто дарили множество книг по самым различным социологическим дисциплинам.

Все, что я читал и наблюдал, никак не укладывалось в традиционную марксистскую идею сближения города и деревни. Нужен был теоретический мост между существованием этих человеческих сообществ и динамикой исторического процесса. «Сближение» – это не концепция. Поэтому в 1969 г. А.С. Ахиезер, Л.Б. Коган и я опубликовали в «Вопросах философии» статью «Урбанизация, общество и научно-техническая революция». Вот что мы тогда писали: «Урбанизация может быть понята как всемирно-исторический процесс развития, концентрации, интенсификации общения, как процесс интеграции все более разнообразных форм практической жизнедеятельности. Урбанизация выступает как момент, как результат и вместе с тем как предпосылка прогресса общения, прогресса всей жизнедеятельности общества, развития его творческого потенциала... Научно-

¹⁹ Pahl R. Whose City? And other Essays on Sociology and Planning. L.: Longman. 1964.

техническая революция означает превращение «производства знаний в основную, определяющую форму практики...Становится все важнее двуединая задача подъема общества, ориентирующегося и опирающегося на уровень развития его передовых центров, и вместе с тем – развития этих центров через подъем всего общества»²⁰.

А вот как мы тогда видели наше будущее: «Возрастающее значение производства информации в обществе проявляется разнообразным образом: расширяются масштабы производства информации и его удельный вес во всей человеческой жизнедеятельности, повышается удельный вес производства научных знаний в общей массе производимой информации, углубляется ее творческий характер, ...все важнее становится роль производства информации в повседневном поведении личности, например при рационализации мотивов, возрастает социальный престиж производства информации и т.д. Мы имеем в виду не только специальную информацию, используемую в той или иной области профессиональной деятельности (например, научную, техническую, деловую), но и информацию общекультурного характера, проявляющуюся в психологических контактах, эмоциях, настроениях, вкусах и т.д.».

Для крупнейших городских центров характерна специфическая социально-профессиональная структура занятости, «сдвинутая в сторону высококвалифицированного труда в сферах управления, науки и культуры, то есть по преимуществу или целиком информационной деятельности. Центры этих городов являются средоточием труда по потреблению, переработке и трансляции информации», в них сосредоточиваются организации социального управления производством и обществом в целом: плановые, финансовые, административные, научные и проектные, которые в свою очередь порождают «второй круг» информационных служб – библиотеки, патентные бюро, типографии, а также печать, радио и телевидение. Делался вывод, что «социально-информационный комплекс город должен стать предметом детального исследования социологии»²¹.

Это был *концептуальный прорыв*, за которым последовало создание собственной институциональной «ниши», закреплением которой мы потом занимались еще несколько лет: организовав международную конференцию по проблемам урбанизации, опубликовали несколько книг, статьи в Большой советской и других энциклопедиях, выступали с докладами на международных конференциях. В конечном счете, было инициировано новое направление исследований в иной, гораздо более профессиональной среде – как внутри страны, так и за ее пределами. Фактически, *эта была уже исследовательская сеть*, только без компьютерного обеспечения.

Сегодня вряд ли кто-нибудь поймет мой охотничий азарт 40-летней давности. Тем не менее в 1970 г. на VII Международном конгрессе социологов в Варне я сделал доклад «Социально-информационные аспекты урбанизации». Вот

²⁰ Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и научно-техническая революция // Вопросы философии, 1969, № 2, С. 44–45. Это была первая в советской социологии статья по теории урбанизации, которая открыла возможность научно изучать этот феномен без опаски быть обвиненным в политическом «уклоне» в буржуазный урбанизм. Статья была переведена на многие языки.

²¹ Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Цит. ист., С. 47.

его ключевые гипотезы: (1) коммуникация есть важнейшая синтезирующая характеристика урбанизации; (2) знание, освобождаясь от личностной формы передачи, становится стандартным и мобильным; (3) «референтная» структура общения адекватна кумулятивному характеру производства знаний; и (4) экстерриториальность информационных процессов изменит организацию социального пространства города²². Нужно было немалое мужество и, вероятно, доля авантюризма, чтобы впервые выйти на международную трибуну с таким докладом. Но я все же рискнул, и неожиданно доклад получил большой профессиональный резонанс. В конце Конгресса М. Кастельс, Р. Пал, К. Пикванс, Э. Претесей, И. Селени, М. Харлоу и еще несколько молодых европейских социологов, включая О.И. Шкаратана и меня, создали новый исследовательский комитет «Городского и регионального развития» МСА, который существует до сих пор. Круг моих международных контактов снова расширился. Всего за 1970–80 гг. вышло более трех десятков моих работ по данной проблематике. Совместными усилиями с моими российскими коллегами мы воссоздали российскую социологию города как полноправную социологическую дисциплину.

Дело это было нелегким. Не раз цензура и партийные инстанции пытались осадить меня. Один эпизод стоит упомянуть. В том же 1969 г. В. Долгий, А. Ахиезер, Л. Коган и я написали монографию «Социология города в XX веке». Она была одобрена издательством и готовилась к печати. Однако прослышав про это, мой бывший директор, Г.А. Градов, написал разгромную рецензию. Мы подали в суд и выиграли дело, но книга так и не была издана. Градов на этом не успокоился и издал сборник докладов несуществующей конференции, в котором назвал нас «ревизионистами» партийной линии. Это уже был фактически донос, поскольку никакой конференции в действительности не было. Но и здесь удалось отбиться.

А откуда брались интеллектуальные ресурсы, спросите вы? Их источники быстро расширялись. Но не менее важно, что наступил длительный период их *мобилизации*, мотивируемый интересом к новой проблематике – процессу урбанизации. Напомню, что тогда еще не было грантов, все делалось на бюджетные деньги. И тем не менее. Во-первых, резко расширился приток социологической литературы – непосредственно от зарубежных коллег и переводной. В частности, польские социологи города были не только ретрансляторами идей западной социологии города в СССР, но и их интерпретаторами для условий социализма. Во-вторых, я уже целенаправленно засел за изучение работ Чикагской школы благо они почти все были открытыми. «Польского крестьянина в Европе и Америке» я изучил досконально. То, что *письма и документы простых людей* могут быть важным источником социологического размышления относительно широкого круга социальных проблем, я усвоил уже тогда. В-третьих, связь со старшим поколением социально ориентированных архитекторов еще существовала. Наконец, я продолжал ездить

²² Yanitsky O. Socio-informational Aspects of Urbanization. Paper presented at the VII World Congress of Sociology. М.: 1970. Наш «незримый» междисциплинарный коллектив представил семь докладов по урбанизации, вызвав на конгрессе немалое удивление иностранных коллег.

по стране и общаться с архитекторами городов, и информация о городских процессах продолжала накапливаться.

2. Погружаюсь в историю городской социологии в России

В отличие от социологов клубная форма общения у архитекторов (секции Союза архитекторов СССР в Москве и на местах, семинары повышения квалификации) была давней традицией. И из этого «клуба» импульсы шли обратно, в социологию. Кстати, чем больше их участники задавали вопросов мне как лектору или ведущему семинар, тем глубже приходилось вникать в то, что я им рассказывал, читать книги, искать участников дискуссий 1930-х гг. Однажды я получил горький урок, который на всю жизнь отучил меня быть приблизительным в цифрах и фактах. Рассказывая на одном из таких семинаров о проектах домов-коммун 1920-х гг., я вдруг услышал из последнего ряда аудитории: «это было не так!». Оказывается, среди моих слушателей был Н. Кузьмин, автор идеи такого дома. Так, постепенно готовясь к лекциям о социологических проблемах современного города, я открыл для себя советскую социологию города 1920–30-х гг., тогда вычеркнутую из науки как ревизионистскую, не соответствующую целям коммунистического строительства.

Впервые я стал осваивать жанр реферирования и теоретической критики, который, напомним, был присущ русской социологической мысли с XIX века. До сих пор считаю такую работу прекрасной школой профессионализма и не понимаю, почему этому виду социологической работы не обучают специально современных студентов-социологов. Тогда, в 1970-х гг., меня в этом поддерживал историк-медиевист М.А. Заборов, который все время говорил: «Олег Николаевич, занимайтесь социографией» (по аналогии с историографией). Конечно, в те годы были и «социальные погромисты» и «социальные протезисты», как однажды поправила, совсем по Фрейду, мой текст машинистка. Но у меня была другая задача: интеллектуальная планка среды общения была достаточно высокой, и снова, как в школе, надо было «тянуться». Подобная мобилизация сил доставляла лишь удовольствие.

Конечно, если бы я начинал это сейчас и даже 15 лет назад, я бы начал с П. Сорокина и его двух знаменитых работ²³, которые я считаю экосоциологической классикой, к сожалению тогда недоступных. Вот что писал Сорокин в Предисловии к «Голоду...»: «Слишком много биологии, – вероятно, бросят мне упрек ревнители “автономии” социологии. – Зато мало необоснованной фантазии, – спокойно отвечаю я. – Слишком много внимания уделяете вы поведению человека и мало социальным фактам, – заметят другие. – Без изучения первого невозможно и познание вторых, ибо социальная жизнь, в конечном счете, складывается из деятельности людей, – отвечаю я на это возражение»²⁴.

В России были теоретики-урбанисты, но весьма специфического толка. Когда в Англии, после выхода одноименной монографии Э. Говарда «Города-сады», началось общественное движение за их создание, в России был вскорости

²³ *Sorokin P. Man and Society in Calamity. New York, 1968; Сорокин П. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVS.*

²⁴ *Сорокин П. Голод как фактор, С. 5–6.*

сделан перевод этой книги и началось аналогичное российское движение²⁵, идеи которого были использованы уже в советской России 1920-х гг. В России работал известный культуролог и один из лидеров краеведческого движения Н.П. Анциферов, утверждавший необходимость комплексного (системного) подхода к изучению городского организма²⁶. В дореволюционной России были популярны книги А. Вебера и знаменитый сборник статей «Большие города, их общественное, политическое и экономическое значение» (Спб., 1905), с участием Г. Зиммеля и других выдающихся европейских социологов. Подтолкнула меня к изучению данной проблематики классическая англоязычная литература по городам, (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер), но и художественная (до сих пор где-то валяется моя рукопись «Город и природа в европейской культурной традиции», написанная по прочтении всех романов Ч. Диккенса).

Современная отечественная социология – довольно консервативная отрасль знания, ревностно оберегающая свои дисциплинарные рамки. Социология семьи, труда, изучение общественного мнения – да, это «неувядающая» классика. А вот социология города, села, территориальных сообществ – это нечто периферийное, если не второго сорта. В книге «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах» эти сферы не упоминаются вообще! По истории социологии города на моей памяти не защищено ни одной докторской диссертации. А ведь была, например, на рубеже 1920–30-х гг. в Коммунистической академии широкая *международная* дискуссия о социалистическом городе. В ней помимо градостроителей и социологов участвовали видные государственные деятели и ученые: Л.Б. Красин, М.Е. Кольцов, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, Н.А. Милютин, Н.А. Семашко, С.Г. Струмилин и многие другие. Не было больше в истории отечественной социологии публичной дискуссии подобной этой. И ее идеи и концепции не были введены в научный оборот нашей дисциплины. Даже когда стали готовить новое издание биобиблиографического справочника, мне с большим трудом удалось уговорить редколлегия дать биографии М. Охитовича, Л. Сабсовича, Ю. Ларина. И для написания этих биографий автора удалось найти только среди теоретиков урбанизма – наши историки социологии о них и понятия не имели. Все это выглядит тем более странным, что ход этой дискуссии широко освещался газетах и журналах («Под знаменем марксизма», «Революция и культура»); наконец, практически вся дискуссия была опубликована в книге «Соцгород» (1930). Западным социологам эта дискуссия представляется одним из краеугольных камней становления социологии в России вообще. Там о ней написаны книги и сотни статей. Там, но не здесь. Вот вам еще один пример социологического корпоративизма в действии.

Неоценимую пользу и радость доставило мне общение с В.Э. Хазановой, которая в ту пору была одним из немногих исследователей, изучавших по архивным документам этот период советского урбанизма. Когда вышла ее книга «Советская архитектура первой пятилетки» (М., 1980), где было гораздо больше социологии, чем собственно архитектуры, В.Э. сделала на ней такую надпись: «Дорогой Олег Николаевич, убеждена, что мы открыли наиболее современный

²⁵ См.: *Мижухев П.Г.* Сады-города и жилищный вопрос в Англии. Пг., 1916.

²⁶ *Анциферов Н.П.* Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. Л.: 1926.

вид подлинно научных взаимосвязей. Результат – замысел первой главы этой книги...».

Кто-то скажет: так у вас все вообще было прекрасно! А оно и было прекрасно, потому что как говорил акад. Л.А. Арцимович, «заниматься наукой значит, удовлетворять личное любопытство за государственный счет». Кроме того, это было время лекций Ю.А. Левады по социологии (1969), встреч социологов в те же годы в Кьярикку (Эстония) и многое, многое другое.

3. Реалии той жизни: суды гражданский и уголовный

А что за это «прекрасно» надобно было платить, что всему есть *цена* – так я уже знал это давно. «Бочки» на меня катились с самых разных сторон. Об атаках моего бывшего директора Г.А. Градова я уже сказал. В 1971–72 гг. началась атака на социологию: снятие акад. А.М. Румянцева с поста вице-президента АН СССР и директора ИКСИ, партийные взыскания и увольнения его ведущих социологов. Почти одновременно в 1972 г. главный редактор издательства «Наука» стал крушить коллективную монографию под моей редакцией²⁷. Причем манера работы со статьями была самая издевательская: главный редактор подчеркивал красным карандашом целые абзацы, а я должен был догадываться, что хорошо и что плохо. С потерей нескольких статей все же книгу удалось спасти.

В 1969 г. я был назначен зав. сектором (спасибо зам. директора ИМРД проф. Н.А. Ковальскому), что для тех времен было вещью нечастой, ведь я был тогда только-только кандидатом архитектуры и начинающим (в этой среде) социологом. И вот я, счастливый, быстро набрал сектор, в том числе двух окончивших в том году истфак МГУ студентов. Только мы начали работу, как вдруг выяснилось, что одному из них грозит тюрьма за то, что он (действительно!) пытался вручить свою первую получку зам. пред исполкома, чтобы хоть чуть-чуть улучшить свои жилищные условия (жил он в то время буквально под столом). Вместо работы начались вызовы (его и меня) в прокуратуру, к следователям и т.д. «Светила» моему сотруднику не карьера научного работника, а показательный процесс на какой-нибудь фабрике и потом 8 лет тюрьмы.

Я обошел всех, кого мог, но все без толку. Кто сочувствовал, кто просто наблюдал, чем все дело кончится, а дело тем временем шло к показательному процессу, благо повод был уж чересчур выгодный: интеллигент, выпускник МГУ, а взятки дает, следовательно прямо на это намекал.

И вот тогда, отчаявшись, я бросился к работавшему тогда в ИМРД правоведа Н.Н. Разумовичу²⁸, участнику войны, прекрасному человеку очень трудной судьбы. Он бы из семьи обедневших дворян, сын священника–русского интеллигента, убежавший 11-летним мальчишкой из лагеря для ссыльных на севере Казахстана, провоевавший почти всю войну, увидевший Европу, гвардеец-победитель, затем вернувшийся в Москву, в среду интеллигенции арбатских переулков. Чем-то Н.Н. мне напомнил Игоря Скловского, который тоже, пройдя всю войну, не смог – после трех лет жизни в Европе – адаптироваться к

²⁷ Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс /отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Наука. 1972.

²⁸ См. очерк о нем «Русский Гамлет» в кн.: Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез: Избранные работы. М.: РОССПЭН. 2004.

послевоенной московской жизни. Как написал акад. РАН Ю.С. Пивоваров, Разумович «был полным олицетворением русского XX века...А значит, войны». Н.Н. верил, что русское дворянство не умерло, что русский должен быть европейцем здесь, в России. На мое счастье Н.Н. оказался моим очень дальним родственником (мы потом долго с ним это выясняли). Стал просить его. Нет, не просить – он сам вызвался помочь. И через неделю каким-то немыслимым образом мой сотрудник вместо 8 лет тюрьмы получил год условно, да еще с отбыванием срока «по месту работы»! Его жизнь и карьера были спасены. До сих пор не знаю, чего это стоило для Н.Н., а говорить он об этом не хотел. После этого «эпизода» мы с ним сблизились еще более, ездили вместе с ним и его женой Людмилой в любимую нами Тарусу, он бывал у нас дома и т.д.

Но через несколько лет я снова был «подвешен». У другого моего коллеги и сотрудника, А.С. Ахиезера, КГБ арестовало рукопись его монографии «Россия: критика исторического опыта». Вот тогда я почувствовал, что значит быть «маргиналом» в корпорации – она не защищала, тем более, что «прекрасное» никогда не продолжается долго – яркие личности уходили из института одна за другой, иные замолкали надолго, иные стали работать только на обслуживание системы (бесконечные записки в ЦК КПСС, сидение на госдачах для подготовки очередного пленума партии и т.п.). Из ИМРД уходили один за другим личности: Ю.А. Замошкин, Н.В. Новиков, П.П. Гайденок, М.К. Мамардашвили...Общая атмосфера «серела» на глазах. Поэтому если и заступались, то отдельные люди, личности.

Но эта зыбкая среда, нападки воспитывали *бойцовские качества*, умение отстаивать свое дело, тематику, мобилизовывать внутренние ресурсы. Когда мне было отказано в защите докторской диссертации по уже опубликованной книге, я засел за теорию, снова стал прорабатывать уже набранный материал. В общем, отсрочка пошла на пользу. Забегая вперед, скажу, что положение научного маргинала имеет и некоторые преимущества. Ситуация «между», то есть работа на границе двух или более дисциплин, есть не только способ интеллектуального обогащения, но и инструмент защиты от идеологического давления.

Что все таки же дала мне «теоретическая пауза»? – Она подготовила очередной сдвиг моего исследовательского интереса. За 10 лет углубленного изучения процесса урбанизации в США и других развитых странах я достиг определенного уровня понимания этого процесса (до сих пор некоторые считают меня американистом). Конечно, можно было, суживая тематику, углубляться до бесконечности. Но анализ проблемы только по литературным источникам тоже имеет свои пределы.

Тот аспект теории урбанизации, который меня интересовал более всего, – *социально-информационные процессы* как фактор изменения направленности и характера этого процесса – невозможно было развивать дальше без эмпирики. Как подойти к их изучению без эмпирики, да еще глядя на них из деревни, я не знал. Поэтому, опираясь на гениальные прозрения К. Маркса и используя весь свой теоретический капитал, накопленный чтением американской литературы по информационным процессам, я написал главу «Социально-информационные

процессы в обществе» в упоминавшейся коллективной монографии²⁹ и потом полностью переключился на изучение литературы по экосоциологии.

4. Новая область социологического интереса

Логика этого поворота была проста: раз нет возможности дальше изучать урбанизацию эмпирически, значит надо сузить проблематику до масштабов города и теоретически подготовиться к этому (думаю, что любой читатель понимает, насколько политически и социально острыми являются проблемы урбанизации или дезурбанизации страны, поэтому и до сих пор они социологами эмпирически глубоко не изучаются). Вместе с тем, «внутри» социологии города постоянно присутствовало *экологическое* начало (проблема взаимодействия индивида или сообщества со средой обитания). И я постоянно на него натывался. Чтение литературы американских алармистов (Т. Роззак), с одной стороны, семинары в ИМРД и за его пределами на экологические темы, с другой, и, видимо, мой давний интерес к природе и всему, что с ней происходило, с третьей, – все это в совокупности привело к постепенному перемещению центра моего исследовательского интереса в область *социальной экологии*. Позже в закреплении этого сдвига далеко не последнюю роль сыграло мое участие с 1979 г. в программе «Экополис». Казалось, что вот, найден полигон для эмпирической апробации идеи сосуществования города и природы. Но об этом ниже.

Спустя более 30 лет, думаю, что тогда я находился в довольно выгодной и одновременно мобилизующей научный поиск позиции. Я не терял почвы под ногами (наработки в области урбанистической проблематики), но в то же время (уже в который раз!) вступал на новое, неизученное исследовательское поле. Это было очередным «возвращением» в привычную интеллектуальную среду, о которой я говорил выше (врачей, биологов, географов, геофизиков, путешественников), но теперь уже *в качестве исследователя и эксперта*, что требовало новых знаний и профессиональной ответственности. Так что это была скорее не «пауза», а напряженный период поиска теоретической базы и средств междисциплинарного общения и размышления (как говорила проницательная Н.Ф. Наумова, «молчание – тоже ресурс»). Но интерес к новому проблемному полю и ощущение актуальности проблемы перекрывали все возможные трудности.

Это не означало, что я в очередной раз ушел из мною же созданной «экологической ниши». Новая ниша теоретического интереса и человеческих контактов создавалась на границе трех прежних: градостроительства, урбанизации и моего интереса к природе как таковой и ее отображению в литературе и искусстве. – Слышу возражение: это не наука, не отрасль теоретического знания. Верно. Но без внутренней мотивации, склонности, стойкого собственного интереса вряд ли может сформироваться новое направление научного поиска. Ведь речь шла не об очередном гранте на «заданную тему», а о попытке инициирования новой дисциплины.

Более того, я сказал бы, что за 1960–70-е гг. сформировалось сообщество, которое можно назвать *порождающей средой второго порядка*. Сложился круг научных работников, занимающихся экосоциальными проблемами, которые периодически выступали на конференциях, составляли сборники, тематические

²⁹ См. Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс /отв. ред. Яницкий О.Н. М.: Наука. 1972.

подборки статей в различных журналах. Это не было институтом – скорее «невидимым колледжем», но элементы институционализации уже существовали. Новая институциональная ниша сложилась на пересечении моей группы в ИМРД, участников Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», Научного Совета АН по проблемам биосферы, членов Советской социологической ассоциации и программы «Экополис».

Я уже говорил о плюсах и минусах научной «маргинализации». Так было и в данном случае. Сдвиг от собственно городской проблематики в сторону социальной экологии представлял собой одновременно обновление проблематики, то есть риск утери части накопленного научного и общественного капитала, и способ его быстрого обновления и наращивания посредством выхода за рамки сложившихся теоретических представлений и устоявшихся институциональных структур. Был еще один сдвиг, методологически для меня чрезвычайно важный: я понял, что главное познавательное «окно» – это *конфликт*. Конфликт между средой как системой и внутренними и внешними силами, ее развивающими и дезорганизуемыми одновременно.

Именно так: конфликты имеют двойственную природу: внутри экосистемную и внесистемную, то есть средовую. Процесс социального производства и воспроизводства постоянно нарушает равновесие экосистемы изнутри и извне. Чем менее сообщество закрыто, замкнуто, тем интенсивнее двуединный процесс его стабилизации и раскачивания. Норма – это когда сообщество находится в состоянии динамического равновесия. По Парку, местные общности и социальные движения (они ведь тоже форма организации) суть силы, стабилизирующие городскую экосистему. Напротив, приток в нее большой человеческой массы – мигрантов, переселенцев, а в нашем случае лимитчиков, гастарбайтеров и беженцев, – фактор дезорганизующий. Иными словами, давление человеческой массы создает угрозу порядку, нарушает экосистемность, что и было не раз подтверждено ходом российской истории XX века. Чем больше социальные и культурные различия между «аборигенами», носителями экосистемности, и «кочевниками» (пришлой массой), тем выше вероятность хаоса и социальной патологии и тем больше времени и ресурсов требуется на восстановление некоторого социального организма. Поэтому если мы будем уповать на гастарбайтеров и иных мигрантов и не будем воспроизводить горожан во 2-ом и 3-ем поколениях, вместо модернизации мы получим демодернизацию. «Железо» и силовые структуры не могут заменить интеллект и культуру. Причем, как я уже давно отмечал³⁰, достичь прежнего уровня экосистемности практически не удастся. Передо мной встал вопрос: значит ли это, что в процессе урбанизации уровень экосистемности обязательно снижается?

Нет, говорит Р. Парк. Конфликты приводят к социальной дифференциации города (или к дальнейшему разделению труда, по Дюркгейму), что закрепляется в пространственной сегрегации жителей и организаций групп разного социального статуса. Город как социальный организм сохраняет себя посредством дифференциации своего социального тела, создавая оазисы интеллектуального напряжения. Тем самым городской организм одновременно взрослеет и стареет, накапливая «яды» или, говоря современным языком, отходы – человеческие

³⁰ Yanitsky O. Towards an Eco-City; Problems of Integrating Knowledge with Practice // International Social Science Journal. 1982. Vol. XXXIV. Pp. 469—480.

(wasted people) и материальные (garbage). Это было гениальное предвидение Парка, воплощение которого мы сегодня наблюдаем уже во вселенском масштабе. И никакие старания идеологов уравнилельного социализма не смогли помешать этому процессу дифференциации, потому что это – закон развития любой живой системы. Идеологи советского коммунизма всю мощь административного и репрессивного аппарата направляли на искусственное (механическое) перемешивание и выравнивание человеческого материала, так как они справедливо боялись силы человеческой самоорганизации. Для социолога термины «лучше» и «хуже» непривычны, но все же: лучше пространственная дифференциация, тем более в условиях нашей страны, чем насильственное выравнивание. Сглаживать дифференциацию, регулировать ее путем социальной политики и благотворительности можно и нужно. Но никакое перераспределение ресурсов, если оно не вызвано спецификой природно-климатических условий, само по себе не спасает положения. Чтобы приток новых ресурсов служил ослаблению социальной напряженности и восстановлению экосистемности, его нужно направлять в адрес людей и организаций, поддерживающих, пропагандирующих ценности самоорганизации. То есть эти ресурсы должны прежде всего идти на обустройство общества снизу. По моему убеждению, суть социальной политики не в дотациях, не в «раздаче слонов», а в повышении уровня самоорганизации общества снизу доверху. Таким неожиданным, но вполне логичным образом оказываются рядом американец Р. Парк и русский А. Солженицын.

Наконец Парк ввел в научный оборот понятие маргинального человека, то есть человека на рубеже культур, точнее *между* двумя культурами. Он вероятно основывался на работах своих коллег У. Томаса и Ф. Знанецкого. То, что сделал Парк на уровне теории человеческой (городской) экологии, названные авторы сделали на материале переписки крестьян, эмигрировавших из Польши в САСШ и оставшихся там. Это был мне «намек» на возможный эмпирический источник, которым я к сожалению стал пользоваться много позже.

На примере этих крестьян Томас и Знанецкий показали процессы разрушения и восстановления человеческих общностей. Там был существенный ресурс для ослабления конфликта – свободные земли на западе страны. Но примерно в то же время П.А. Столыпин, казалось, делал то же самое в России, переселяя крестьян из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток. Внешне сходно, но по сути различно. Во-первых, если в САСШ это был естественный процесс миграции избыточного населения с восточного побережья страны на запад, то в России – организованного переселения. Во-вторых, несмотря на различия в уровне образования и образе жизни, из Европы за океан переселялись люди католического вероисповедания с сильным личностным началом. Русские же крестьяне будучи вырванными из привычного мира сельской общины, часто не были способны воссоздать ее на новом месте тем более, что от них требовали совсем другого: превращения в единоличников, «фермеров». В-третьих, Америка развивалась, хотя и как «одноэтажная», но все же урбанизированная по духу страна, тогда как переселенцы в Сибирь оказались еще дальше от немногих очагов городской культуры на востоке страны. Там тоже была самоорганизация, но иная: или традиционная, архаическая (коренных малых народов), или же полувоенные казачьи поселения.

Наконец, для меня было близким и понятным, что действующими лицами этой заокеанской драмы были живые люди, со своими целями и устремлениями, а

не классы, партии или «большие группы людей». Первоисточники работ этих столпов американской социологии – письма крестьян в одном случае и репортерские расследования в другом, где участвовали конкретные фигуры и характеры, – мне были близки и понятны. Поэтому я действовал в том же ключе: брал глубинные интервью, вел наблюдение включенное и обычное, изучал истории жизни людей в конкретных ситуациях. Наверное, тут сыграло роль и мое семейное окружение: с детства я слышал, как мама-врач и ее друзья-врачи вечно расспрашивали, выслушивали, записывали истории болезни. Это теперь врач, не слушает тебя, а смотрит результаты анализов и заполняет бесконечные формы. Впрочем, социология и медицина – родственные дисциплины, недаром Т. Парсонс и И. Гоффман начинали как клиницисты³¹. Это не значит, что я отказался от институционального и организационного анализа – просто мой подход к этим социальным конструкциям стал несколько иным, менее обезличенным, более индивидуализированным.

Когда я в своих выступлениях слишком напирал на социально-антропологический подход, меня спрашивают: а как же ваша любимая урбанизация, ведь это же, по вашему собственному мнению, процесс «всемирно-исторический»? – Да, это так. Но под ними лежат и сквозь него проступают интересы людей, личностей, малых сообществ, причем не обязательно местных. Недаром процессы глокализации и концепции «другого глобализма» привлекают все больший интерес исследователей.

«Бог мой, – скажут другие, – социологи, о которых он говорит, жили почти сто лет назад. Социология за это время стала совсем другой!». А я думаю, что они не устарели. То, что происходит в России сегодня весьма напоминает события в САСШ начала века. Только волны иммиграции, накатывающиеся сегодня на нас, еще более «чужие», озлобленные, бедные, чем это было 100 лет назад за океаном, а потому и пространственная дифференциация, и геттоизация у нас сегодня куда более рискованная, взрывчатая. А, следовательно, проблема «плавильного котла», адаптации этого потока мигрантов стоит ребром: что, они адаптируются или «переваривают» нас? Типичная ситуация «на рубеже культур». Это – о фактической стороне дела. Но я веду речь о собственной биографии, а когда в конце 1950-х гг. я вчитывался в тексты лидеров Чикагской школы, в СССР социология только-только начиналась, П. Сорокин был под запретом, не было еще ни лекций Ю.А. Левады, ни работ Ю.Н. Давыдова. Это был мой выбор, мои университеты.

Существовал, правда, еще один источник социально-экологического знания: переводные и оригинальные работы польских социологов. Я засел за польский. Языка я так и не выучил, но читать научную литературу мог вполне. Получив в подарок от Н.В. Новикова стопку книг польских социологов, я выбрал работы по социологии города и социальной экологии (Ст. Новаковский, З. Пюро). Затем мы с

³¹ Бывшая как-то у меня в гостях ученица Парсонса проф. Рене Фокс рассказывала, сколь сильное влияние на методы Парсонса и его учеников оказала клиническая практика. Не менее сильное впечатление произвела она сама: будучи уже в весьма преклонном возрасте, она ехала в Афганистан, чтобы изучать на месте работу организации «Врачей без границ».

Н.В. издали сборник работ польских урбан-социологов³². Но те тоже учились на работах Чикагской школы и ретранслировали нам их идеи и методы. Так что не очень уж они «устарели», эти заокеанские зубы экосоциологии.

5. Сольвычегодск и Устюг Великий

Почему я вспомнил поездку с женой и друзьями в Сольвычегодск и Устюг Великий на праздничные дни ноября 1967 г., когда отмечалось 50-летие советской власти? Мой коллега по МАРХИ и друг семьи Иван Борисович Пуришев всегда был для меня некоей «точкой отсчета» в дистанции между столицей и маленьким провинциальным городом. Пуришев, воспитанный в семье русского интеллигента высокой пробы, после окончания МАРХИ к тому времени уже почти 15 лет жил за печкой в пристройке Данилова монастыря в Переяславле-Залесском, работая там архитектором-реставратором. Наезжая к нему, мы могли кожей ощутить эту дистанцию, а его рассказы о ежегодных длительных пеших путешествиях по российскому Северу давали информацию к размышлению из первых рук.

На всем пути туда, на месте и обратно на нас смотрели с недоумением: «зачем вы сюда приехали? Все на праздники едут в Москву, а вы – сюда?!» Причем люди там были очень доброжелательные, помогавшие нам в переездах и устройстве на ночлег, но воспринимавшие нас как инопланетян. При этом все было можно: найти катер, чтобы добраться из Котласа до Сольвычегодска по Двине, хотя навигация уже закончилась, посетить в нем музеи и домик, где отбывал ссылку И. Сталин, уговорить шофера отвезти нас из одного города в другой. И все это чаще всего «за просто так», иногда за хороший разговор за бутылкой водки. Все было очень по-домашнему просто, открыто. Было такое ощущение, что мы на машине времени улетели лет на 100 назад.

Не буду пересказывать перипетии нашего путешествия, просто оно еще раз утвердило меня в мысли, что социальная и культурная дистанция между жителями столичных и провинциальных городов России куда большая, чем у мигрантов из Европы в Америку в начале века, описанная У. Томасом и Ф. Знанецким. В Сольвычегодске и Устюге безусловно, была своя «экология» – экология гордой бедности, честности, неподвижности и выключенности местного сообщества из жизни остального мира. То, что сейчас именуют эксклюзией. Хотя одна «вертикаль» функционировала безотказно: каждый год зрителей музеев Ленина и Сталина со всей страны собирали в Москве на инструктаж. Власть оберегала мифы о своих вождях. И на фоне этой бедности – музей и мастерские изготавливавшие превосходные ювелирные изделия из скани и финифти по старинным образцам. О чем-то похожем раньше и совсем на другом материале прекрасно рассказал Гунар Мюрдаль в книге «Азиатская драма» (1956). В музеях, магазинах, на улице, люди, встречавшие нас, были неизменно приветливы. А может быть это и была единственно верная точка отсчета для моих размышлений об урбанизации и экосистемности России? Ведь скорость эскадры определяется ее самым тихоходным кораблем

6. Программа «Экополис»

³² Социологические проблемы польского города / перев с польского А.И. Анищенко. Вступит. статья Н.В. Новикова и О.Н. Яницкого. М.: Прогресс. 1966.

Еще один стимул к глубокому погружению в социально-экологическую проблематику пришел в 1979 г. в лице молодого ученого и (как я потом узнал) одного из лидеров Дружины охраны природы биофака МГУ Д.Н. Кавтарадзе. Вместе с философом А. Брудным из г. Фрунзе он предложил мне принять участие в разрабатываемой ими программе «Экополис» (экологический город, – специально оговариваю это, потому что были ученые, советские и зарубежные, которые воспринимали этот термин как «эко-политику» и даже как «эко-полицию»). Участники программы «Экополис» ожидали от меня совета, коррекции их программ действий, участия в их неформальной группе. Возникла масса проблем. Проблемой была даже сама междисциплинарная коммуникация, поскольку общения социолога с представителями естественных наук еще не было налажено. Смогу ли я, сохраняя свою профессиональную идентичность, быть в этой новой среде «на равных»? Это было не только вопросом профессионального престижа, но и личностной устойчивости, сохранения целостности моего «я».

По прошествии почти 30-ти лет возьму на себя смелость утверждать, что «Экополис» не был программой в научно-организационном понимании этого слова. Да и в то время власть не поддержала бы такой программы, что и случилось, о чем речь будет ниже. Но как идея, как социальная модель и культурный образ «Экополис» был просто необходим в силу того состояния общества, науки и человеческого капитала в стране. Как сказал много позже Кавтарадзе, «надо было иметь какую-то цель за горизонтом, которая вытянула бы все остальное». Более того, размышлять о будущем, мысленно конструировать его в виде идеального города было многовековой традицией европейской культуры, включая русскую и советскую. Если был «котлован», значит должна была появиться и антитеза ему – сначала «Кедроград», потом «Экополис».

Я с радостью принял предложение Д.Н. Кавтарадзе и сразу пытался обозначить свое видение задачи как социолог. Но поскольку проект какой-то комплексной междисциплинарной программы не составлялся и не обсуждался, я принял участие в тех формах сотрудничества, которые сложились в конкретных обстоятельствах, а именно: (1) г. Пущино, на базе которого предполагалось создавать «Экополис» был ведущим в стране центром биологической науки и связанных с ней экспериментальных производств; (2) естественно, что интеллектуальный уровень его населения, степеней свободы, концентрации общения, был значительно выше, а административного давления – значительно ниже, чем в любом промышленном центре страны; (3) в городе уже действовали дискуссионные клубы, школьные лесничества, база биофака МГУ; (4) Пущино был идеально расположен для развития новых идей: близко от Москвы, но не рядом, в прекрасном природном ландшафте, недалеко – Приокско-террасный заповедник; (5) практическое отсутствие тяжелой индустрии или других загрязняющих среду производств и т.д. Возможно, что это последнее обстоятельство слишком облегчило задачу участников данного «проекта».

Так что же это все-таки было тогда, в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг.? На мой взгляд, именно тем, чем оно только и могло быть: одновременно научной и гражданской инициативой, клубом ученых разных специальностей, центром притяжения специалистов, которым было тесно в своих дисциплинарных рамках. Такая вот, высоко интеллектуальная и слабо структурированная «Туманность Андромеды». Убежден, что в тех политических условиях «Экополис» мог существовать именно как нечто среднее между интеллектуальным клубом и

«незримым коллективом», между планом (как уроком или заданием) и свободной игрой интеллектуальных сил. Думаю, что именно подобная деятельность позже помогла включиться в западный формат «проекта».

Еще одно важное обстоятельство. Если наши предшественники прямо выражали свои идеи «города-сада» графически, в виде планов и проектов, то в данном случае проектная (дизайнерская) часть «Экополиса» существовала и развивалась параллельно, в виде «бумажных» макетов, иногда уходя очень далеко от первоначального замысла Брудного и Кавтарадзе. Это было логично: идея «Экополиса» могла осваиваться тогда массовой культурой только через пространственные образы (макеты и др.), тиражируемые через СМИ. Одновременно развивалась вполне осязаемая практическая работа: экологическое воспитание и просвещение через обучение посредством действия (learning by doing) – создание городских заказчиков, школьных лесничеств, сохранение памятников истории, борьба против экологически опасного речного транспорта и т.п.

Но как только лидеры «Экополиса» захотели превратить его в научно-образовательную и практическую программу, как только его идея приобрела общественный резонанс, ей сразу была противопоставлена контр-идея – «Полиса», некий инвариант идеи города коммунистического будущего. И не кем-нибудь, а могущественным председателем Госплана СССР Н.К. Байбаковым. Не знаю, случайно или нет, но в те же поры был создан центр международных проектов при ГКНТ СССР, который возглавил Байбаков-младший. Возможно, наверху требовались свежие идеи, а «Экополис» был уже хорошо раскручен, так что власть предрасположена казалась, что ввести нашу научную вольницу в рамки бюрократической структуры, не составит большого труда.

Как и следовало ожидать, «Полис» как неожиданно возник, так и без следа исчез, попортив, как всегда, немало крови действительным энтузиастам экологизации города Пущино. Интересно другое: как только высшая бюрократия захотела использовать их наработки в собственных интересах, «Экополис-Пущино» на время исчез, породив однако сотни ячеек экологизации общественной жизни по всей стране. Одни считали себя прямыми продолжателями этой идеи, другие утверждали, что эту идею они породили еще раньше сами, третьи – просто вернулись к своей основной работе, но – уже другими людьми. Идея «Экополиса» по сетям и каналам «сарафанного радио» была растиражирована по всей стране, у нее появились последователи за рубежом и т.д. Возникло специальное общественное движение: без институционализации и формального лидера, хотя его душой и мотором оставался Д.Н. Кавтарадзе. Потом пунктиром, целые 20 лет идея «Экополиса» возникала то в форме конкретных проектов экологизации чего-то, то эксплуатировалась СМИ или профанировалась в лейблах организаций, не имевших никакого отношения к экологии, то как лейбл больших международных конференций, а сегодня, кажется, имеет шанс снова возродиться в первоначальном виде, поскольку экология стала наступать на пятки бизнесу и политике.

Почему я об этом пишу сейчас, хотя сам давно не участвую во всем этом? – Во-первых, не только ученым, но и обществу, нужна идеология. Но не столько дидактическая, словесная, сколько как образ и образец. Как только ситуация в обществе нормализуется, возникает запрос на идею. А если и бизнесмен – кошелем, а «человек улицы» – кожей чувствуют, что с экологией неладно, то и подавно. Во-вторых, при всем моем понимании необходимости порядка, который

вносит *проект* в процесс научной работы и реализации ее результатов, нужны и менее жесткие, более открытые и свободные площадки для общественно-научного диалога, те, которые я условно обозначил как «Туманности Андромеды». Публичная социология, понимаемая как распространение социологических знаний для широкой публики, это – одно, а площадка для общественно-научного диалога, в данном случае по социально-экологической проблематике, – совсем другое.

Меня в то время уже чрезвычайно интересовала роль личности (лидера) в подобных общественных инициативах, в формировании особой среды вокруг себя. Хотя коммуникативный (информационный) взгляд на социальные процессы мешал мне. Не видел, не осознавал я тогда индивидуальной личностной стороны этих информационных потоков. Я читал работы И. Кона по социологии личности, но опять же с акцентом на ее ролях и ролевых взаимодействиях.

Вероятно, однако, мой собственный опыт – эвакуации и жизнь в интернате во время войны, позже поездки в Клинский детдом, работа агитатором среди людей, живших в немыслимых условиях в самом центре Москвы и все последующие «вхождения» в реальную жизнь российских городов – подспудно накапливаясь, в какой-то момент (это мог быть и год, и три) привели к смене моей собственной исследовательской парадигмы. Как я понимаю сейчас, можно войти в житейскую повседневность, выполнить возложенную на тебя задачу (провести исследование, прочитать лекцию, провести семинар), потом выйти из нее и забыть. Но со мной было по-другому: эта действительность оставалась во мне, мучила меня, требовала хоть какого-то ответного действия, изменения моей научной и гражданской позиции.

Я не отказался от изучения макропроцессов, более того – предмет моего интереса: урбанизация и социально-экологические проблемы – требовали от меня макроподхода. Но в то же время я все более и более осознавал, что без соотнесения их с микропроцессами, со взглядом «снизу и изнутри», с позиций отдельного человека в конкретной ситуации, неважно – ученого или человека улицы, картина социальной динамики будет неполной, а главное – из нее будет изъят главный актер: человек, личность.

Поездки по республикам бывшего СССР, лекции, которые я читал там на семинарах для урбанистов, реакция на них, разговоры с коллегами-социологами и обычными людьми на местах, поездки с друзьями в российскую глубинку (особенно в праздничные дни мая или ноября), ночные ожидания поездов на захолустных полустанках, езда в открытом грузовике по луже длинной в 80 км – такими тогда были российские дороги осенью, или, напротив, роскошные приемы «дорогих московских гостей» в национальных столицах или полевых станах местной знатью, например, в хлопководческом совхозе под Самаркандом, просто долгие пешие прогулки по старому Еревану, Ташкенту, Цхинвали, Сольвычегодску или Устюгу Великому – все это укрепляло мое убеждение в необходимости познания того, как это «происходит на самом деле».

7. Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»: начало

К участию в этой программе я буду возвращаться неоднократно, потому что она окончательно сформировала меня как экосоциолога и вывела меня на тот уровень глобального междисциплинарного общения, на котором я стараюсь удержаться и по сей день. Спасибо академику АН СССР В.Е. Соколову, моим коллегам Т.Н. Кастрель, В.М. Неронову, В.Н. Смирнову, В.Д. Сухову и многим

другим, которые мне помогали. Особенно Виталию Дмитриевичу Сухову, сочетавшему высокий профессионализм дипломата с заинтересованностью в деле и человеческой добротой. Если бы все чиновники были такими!

Импульс к такому повороту дел пришел в 1977 г. неожиданно совсем с другой стороны и даже части света. Моя (будущая) канадская коллега по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», социолог и психолог, профессор Энн Уайт опубликовала «Руководство по полевым исследованиям в области восприятия окружающей среды» (*Guidelines for field studies in environmental perception*). Она столкнула в нем два подхода, два восприятия: «сверху», так сказать с птичьего полета, столь привычного для принимающей решения бюрократии, а также для моих коллег-урбанистов, и «снизу», глазами рядового сельского жителя. Для меня были одинаково важны и ее аргументация как ученого, и убежденность как гражданина, осознающего важность «человеческого измерения» (*human dimension*) конфликта интересов макро- и микросубъектов.

Но понимать еще не означало – прочувствовать необходимость, убедиться. Я разработал план эксперимента, который убедил бы меня самого, что некоторое социально-экологическое сообщество, будучи однажды разрушено, практически невозможно восстановить в прежнем качестве. Сначала я проверил эту гипотезу теоретически, опираясь на данные других экологов и социологов, затем – эмпирически путем изучения случая, дополненного включенным наблюдением в течение 10 лет и опросами жителей конкретных городских микрорайонов. Гипотеза подтвердилась и результаты исследования, как я уже говорил, опубликовал в журнале “*International Social Science Journal*” (1982) и в материалах международной конференции ЮНЕСКО “*Ecology in Practice*”³³ в Париже в 1984 г. Для себя я сделал два важных вывода. Первый: процесс восстановления такой экосистемы требует гораздо больше времени и ресурсов, чем ее создание, и никогда не приводит к полному ее воссозданию. То есть он – необратим, это – социальная сукцессия. Второй: такое «восстановление» производят другие люди, с иной культурой и по другим технологиям. Именно эта инаковость восстановителей, а затем и обитателей, делают данный процесс необратимым. Иными словами, всякое «восстановление» такого сообщества есть по сути новодел.

Но может быть, это хорошо, это и есть развитие, замена старого новым? – На моей памяти операция «снос–новодел» в масштабе всей страны проходила уже дважды. И оба раза постепенно складывавшаяся городская культура заменялась, вытеснялась культурой даже не крестьянской, а провинциальной пригородной (местечковой) культурой, «культурой лимиты» и искателей быстрой наживы. Старый человеческий капитал, связи, сообщества распадались и распылялись, общий уровень городской культуры вновь и вновь понижался.

8. М. Кастельс и конференция «Большие города мира»

Труден был для меня этот гносеологический поворот, потому что М. Кастельс, Р. Пал, Э. Минджоне и еще несколько моих зарубежных коллег-социологов были весьма впечатлены масштабами массового жилищного строительства в СССР, когда мы их возили в Иркутск и Братск. На этом фоне снос

³³ *Yanitsky O. Integration of Social and Natural Sciences for Urban Planning, in Di Castri F., F.W. Baker and M. Hadley, eds. Ecology in Practice. UNESCO: Paris. Part 2. 1984. P. 30—46.*

каких-то там сотен тысяч деревень и умирания сотен малых городов казались не заслуживающими внимания. Но у меня тогда на столе уже лежала только что вышедшая книга того же Кастельса «Город и гражданские инициативы»³⁴, свидетельствующая, что организатором городского социального пространства являются не архитектор или комбинат железобетонных изделий, но прежде всего люди, их малые группы и сообщества.

Кастельс, пригласив меня в 1985 г. в Барселону на конференцию «большие города мира», сам того не ожидая, дал мне возможность почувствовать реальную дистанцию между культурами советского и европейского урбанизма. Дело в том, что уже на конференции советское консульство попросило меня сопровождать главного архитектора Москвы во время его визита в ателье Рикардо Бофила, известного тогда лидера социального жилищного строительства. Вроде бы как наш «партнер» по массовому жилищному строительству, только на другом конце Европы.

Приехали, но офис главному сразу не понравился, не солидно, говорит. Действительно несолидно, потому что офис этот размещался не на главной магистрали города (как в Москве), а в сторонке, да еще и в бывшем цементном складе, реконструированном под архитектурные мастерские. Это была бетонная банка, высотой с трехэтажный дом, почти без окон. Бофила не было, пояснения давал его заместитель, кажется, англичанин. Наш главный спрашивает: почему тут у вас сидят какие-то дизайнеры и поэты, а где же архитекторы, а главное – где большие мастерские, где (как у нас тогда) сотни людей работают за досками и кульманами? – Да вот они, отвечает, два человека, а там еще три, сидят и творят. А главное, разговаривают, спорят. Для наших масштабов непонятно и опять не солидно. Дальше – больше. Начали главному показывать диапозитивы, как строятся жилые дома (конечно, это были уже дома не для бедных). Вот тут и началось для меня как переводчика самое трудное. Англичанин показывает Макаревичу процесс сборки такого дома. Главный раздражается: да все я понимаю, а где же склад готовых изделий, с какого завода вы их привозите? – Ответ: *in situ*. – Я перевожу: «на месте», то есть непосредственно на строительной площадке. – Главный не понимает. – Я опять: «на месте». И так несколько раз. Наконец, его внимание обращают на небольшое, но высокотехнологичное устройство, которое позволяет отливать стеновые блоки прямо здесь, рядом со строящимся домом, что делает строительство огромных заводов железобетонных изделий и сотни снующих по улицам города дымящих панелевозов просто ненужными. Не знаю, какие выводы сделал из этого визита главный архитектор Москвы, но превосходство интеллекта и высоких технологий над тяжеловесностью и ресурсоемкостью массового жилищного строительства стало тогда для меня очевидным.

Глава 5. Конец 1970-х гг.: погружение в экологию

³⁴ *Castells M. The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. London: Edward Arnold, Ltd., 1983.*

Защита докторской и «ссылка» к естественникам. – От Канады до Гонконга: Программа ЮНЕСКО «Человека и биосфера». – Концепция первичной экоструктуры. – «Города Европы»: первый международный проект по проблеме общественного участия. – Перестройка: мой выбор.

1. Защита докторской и «ссылка» к естественникам

В отличие от кандидатской³⁵ с защитой докторской диссертации никаких событий здесь не было. Солидная моя монография по критике американской городской социологии (более 23 п.л.), множество статей и т.д. Солидные оппоненты – все шло по рутинному и вполне благополучному сценарию. Казус случился потом. В ВАКе диссертацию потеряли и после 9-ми месяцев ожидания, пришлось отнести туда другой экземпляр.

Проблема была в другом. Как и прежде начальство, директора ИМРД вероятно раздражала моя автономность. В конце 1970-х гг., уже после получения докторского диплома, директор закрыл мой сектор и «сослал» меня в Совет по биосфере АН СССР в качестве своего заместителя. Я до сих пор признателен ему за эту «ссылку». Как было сказано, я не переставал интересоваться проблематикой, тогда казавшейся многим периферийной, – взаимоотношением города и природы. Подтолкнула меня к этому русская и англоязычная литература по городам-садам и, наверное, всегда живший подспудно во мне интерес к природе.

Совет по биосфере возглавлял тогда вице-президент АН СССР акад. А.П. Виноградов (ученик В.И. Вернадского), его членами были крупные советские ученые – академики Б.Н. Ласкорин, В.Е. Соколов, А.Л. Яншин, Н.П. Федоренко и многие другие. Это было для меня очень важно: попасть сразу «на равных» в среду высоких и ответственных профессионалов, решавших действительные экологические проблемы. Я взял слова «на равных» в кавычки потому что, поначалу естественно я ни в коей мере не владел тем знанием, каким владели они, скажем, о проблеме Байкальского бумажно-целлюлозного комбината или засоления Аральского моря. Но это были не только экологические проблемы, но и человеческие беды. Впервые масштаб человеческой беды предстал предо мною не в «книжном», а в конкретном, осязаемом виде.

Снова среда моего интеллектуального обитания расширилась, а после того, как, акад. В.Е. Соколов предложил мне работать по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», – расширилась многократно. Участие во многих международных конференциях и семинарах (в Париже и других городах Европы) дало мне одновременно возможность войти в международное сообщество ученых-инвайронменталистов и увидеть ситуацию в европейских городах, что называется, из первых рук. Мануэль Кастеллс, Иржи Мусил, Раймонд Пал, Энн Уайт, Герберт Сукопп, Ричард Сеннет, а позже Алан Турен и Ханс Петер Кризи – я благодарен судьбе, за то, что она дала мне возможность общения с ними. Д.Н. Кавтарадзе ввел меня в еще один круг российских ученых – психологов и биологов. Здесь взаимопонимание достигалось легче, потому что «языки» общения – медицинский, географический, биологический – были для меня вполне семейными. Так что,

³⁵ За 15 минут до начала защиты секретарь Диссертационного совета сообщила, что она отменяется, так как, по мнению председателя Совета, «такой темы не может быть» (???). После получаса общего шока секретарь сказала, что председателя вызвали в ЦК КПСС, и защита пошла своим ходом.

теперь не как живописец, а уже как исследователь, я вернулся к природе и ее проблемам. Начался новый этап погружения в социальную экологию.

Где грань между социологией и экосоциологией? Дополняют ли они друга или развиваются параллельно? Думаю, что между ними есть общее и они дополняют друг друга. Но это слишком простой ответ. Проблема заключена в методологических основаниях современной социологии. Если она придерживается старой парадигмы – “социальные факты выводятся только из социальных фактов”, то предмет (и дисциплинарная граница) социальной экологии – это социальные общности. Если социология учитывает «социальные факты», возникшие под воздействием экологических процессов, то предмет социологии и социальной экологии в сущности един – это глобальное сообщество, точнее – социобиотехносфера, что естественно, не исключает ее анализа также и на мезо- и микро уровнях.

Приведу два примера, которые укрепили мой интерес к внутренней механике социальной жизни и многообразию ее интерпретаций. Первый – это исследование канадских психологов об оценке земель, пригодных к сельскому хозяйству. Как я уже говорил, с «птичьего полета» (аэрофотосъемка) и с уровня носа стоящего на земле фермера пригодность его земель оценивалась совсем по-разному. Вот уж точно: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Это был мой первый урок по «глобализму–локализму». Второй, не менее поучительный для меня урок был извлечен из исследований австралийского ветеринара Стивена Бойдена (и откуда только социологи не берутся!). Он изучил Гонконг, который в 1970-е гг. на 95% сидел «на игле» привозной нефти. Мало того, что вскрылась вся ресурсная структура этого уникального города – он со товарищи показал, как в условиях чрезвычайно высокой плотности населения эта структура детерминирует поведение людей и, особенно, детей³⁶.

Эти уроки уже тогда, в начале 1980-х, окончательно убедили меня в том, что макроподход, в том числе массовые опросы, всегда должны быть подкреплены микроподходом (о методах их соединения я сейчас не говорю). Второе. Сети – ресурсные, информационные и иные – важнейший, если не ключевой структурный момент любого социума и, следовательно, предмет социологического анализа. И третье, наверное самое важное. Нужна социальная (политическая, культурная) *интерпретация* экологических феноменов и экологического знания. Поймите, 9/10 мира, в котором мы живем, остается социально не осмысленным, мы просто пользуемся им. Поэтому для меня социальная экология была не просто новым исследовательским аспектом или попыткой развить идеи Чикагской школы на российском материале. Нет, это было стремление вывести социологию за ее классические дисциплинарные рамки. Два момента представляются мне ключевыми: развитие методов социальной интерпретации экологического (и шире – естественнонаучного) знания, поскольку сегодня мы уже не можем доверять своим органам чувств – предсказание экологических катастроф, их оценка – все идет «через» науку, и анализ детерминации «экологических фактов» культурой.

2. От Канады до Гонконга: программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»

³⁶ Boyden S., S. Millar, K. Newcombe and B. O'Neill. The Ecology of a City and its People. The Case of Hong Kong. Canberra: Australian National University Press. 1981.

Начиная с марта 1978 г., когда я впервые выехал в Западную Германию (г. Бад-Хомбург) как докладчик и руководитель советской делегации, и до поездки в Западный Берлин, когда ломали Берлинскую стену, были самыми насыщенными годами моей жизни. Беспрерывный тренинг в течение почти 13 лет. Все надо было делать одновременно: осваивать новую область знания, причем не столько по книгам, сколько из первых рук, так сказать он-лайн; развивать свое собственное видение проблемы; привыкать к международным стандартам общения и презентации своих работ; делать массу организационных дел; но при всем при этом оставаться самим собой – научным работником.

Я бы мог развлечь читателя байками на тему «чуждак-одиночка», от моего посещения в первый же выезд за рубеж полицейского участка (почему-то мне везло на подобные сюжеты и позже), ночевке в каморке кемпинга для дальнобойщиков (с предложением «на час» или «на ночь») и до ситуации абсолютно пустых карманов, когда до возвращения домой оставалась как минимум еще неделя. Но если посмотреть на эти трагикомические ситуации с иной стороны, то очевидно, что это был процесс обучения жизни «кочевника» (Шпенглер), человека-космополита, к чему мы, советские, естественно были абсолютно не готовы. Обучение пребыванию в разных социальных средах и культурах. Все же, тогда это была спокойная Западная Европа, где можно было пойти на блошинный рынок, зайти в ночной клуб или затеряться в темном ангаре за горами не распроданного товара, совершенно не опасаясь за свою жизнь. И еще. Люди были в массе доброжелательны. Когда я остался ночевать в маленьком аэропорту г. Сантьяго-де-Компостелла (в компании весьма сомнительных молодых людей), совершенно незнакомая мне семья (машина была полна детей) вернулась уже ночью назад в аэропорт и отвезла меня в гостиницу. «Мы подумали, что так будет лучше», – сказала мать семейства.

Но, может быть, еще важнее, что большинство моих зарубежных коллег по окончании контракта с ЮНЕСКО или другими международными организациями вернулись к своей научной работе. Или – к работе в заповедниках, зоопарках, музеях естественной истории и даже стали живописцами или поэтами. То же происходило и с моими друзьями и коллегами здесь, в России. Врач-психиатр создал подростковый клуб известный всей Москве. Врач-хирург, который 15 лет назад спас меня от ампутации ноги, сменил профессию, став известным художником. Творческие люди «проявляются», даже если это случается на шестом десятке.

Внешне событий было мало. Несколько поездок в год за рубеж на конференции, организуемые ЮНЕСКО, было более чем достаточно, чтобы пообщаться, «напитаться» идеями и сделать ксерокопии с нужных статей. В 1970-х – начале 1980-х гг. мы с женой снимали дачу в поселке Академии Наук СССР Ново-Дарьино (это на полпути от станции Перхушково до Николиной Горы). Жизнь за городом, на природе – не только удовольствие, но и возможность работать безо всякого напряжения по 10–12 часов в сутки. Вставать рано, видеть, как розовеет снег перед восходом солнца... Кроме того, летом из Ново-Дарьино за полчаса мы могли добраться до моего брата и его семейства на Николиной Горе, посидеть воскресным днем за семейным обедом на знакомой с детства террасе. С другой, в Ново-Дарьино, были люди, общение с которыми оставило глубокий след. Особо хочу вспомнить академиков А.М. Прохорова, Б.М. Вула и В.Л. Гинзбурга, обладавших редкой способностью в неспешной прогулке по дачному поселку

«зацепить» самые глубокие проблемы развития науки и общества. Именно акад. Прохоров объяснил мне, что Академия наук, это не «пуп земли», а очень небольшая и находящаяся далеко не всегда на острие прогресса организация.

Итак, время снова «уплотнилось», а круг общения расширился. Начавшаяся политическая либерализация позволила мне открыто и систематически заниматься тем, к чему я внутренне тяготел всегда: к социальной экологии «снизу» или, по научному, к гражданским инициативам, социальным движениям, то есть формам низовой самоорганизации. Неправда, что ее не было в советские времена. Но с началом перестройки она сама и возможности ее изучения гигантски расширились. Это была любимая профессиональная жизнь-работа, отвечавшая моим внутренним потребностям. И столь же интересен и нужен был мне непосредственный контакт с людьми, с «улицей», с российской глубинкой. Хотелось узнать, что же там происходит «внизу» на самом деле. Наверное, доля авантюризма была в моем характере, потому что в 1986 г. я затеял два исследования одновременно.

Одно внутри страны я делал сам: ходил на митинги, консультировал самодеятельные группы, участвовал в общественных экспертизах, брал интервью. И все чаще я вспоминал бабушку Елизавету Львовну Яницкую, ее сестер – Марину Львовну и Раису Львовну, и особенно, мою родную тетю Веру (Веру Федоровну Шмидт), потому что стал понимать, почему они в разное время (конец 1890-х – первая треть 1900-х гг.) отдали столько сил общественным делам и людям «улицы» – бедным, больным, униженным, беспризорным. Бабушка была одной из первых в России женщин-врачей (тогда врачами были почти исключительно мужчины), работала вместе с мужем, земским врачом, на Полтавщине, позже по предложению Городской Управы г. Одессы работала школьным врачом, где боролась с детской трахомой глаз, еще много позже проводила в Киеве специальные антропометрические исследования детей дошкольного возраста в платных и бесплатных детских садах. И все – на общественных началах³⁷. В результате многочисленных интервью и личного участия в делах неформальных организаций в период «перестройки» (1986–91 гг.) я написал о них книжку³⁸. Так в третий раз в моей жизни состоялось «хождение в народ».

Второе дело было гораздо более масштабным. Ту же, близкую мне тему общественного участия населения в охране среды своего непосредственного обитания я попытался «раскрутить» на европейском уровне, начав подготовку международного проекта с участием ученых и активистов из *16-ти европейских стран*. То, кто знает, как трудно бывает соединить усилия исследователей из двух–трех стран, наверняка скажет, что это была авантюра. Помимо гигантских организационных усилий нужны были деньги, много денег. И смелости, потому что моя инициатива никем не была сверху санкционирована, никакая корпорация меня не защищала.

³⁷ Санитарный отчет женщины-врача *Е.Л. Яницкой* о десяти городских школах г. Одессы. Известия Одесской Городской Думы (отдельный оттиск). Одесса: 1901. С. 1–40; *ее же*: Опыт применения антропометрического исследования детей дошкольного возраста для определения показателя физического здоровья их. Дошкольное воспитание. 1912. № 6 (отдельный оттиск).

³⁸ *Яницкий О.Н.* Социальные движения. Сто интервью с лидерами. М.: Московский рабочий. 1991.

На свой страх и риск лишиться партийного билета и возможности выезжать за рубеж, я стал ходить по отделам и представительствам стран-членов ЮНЕСКО в Париже и пытаться заручиться их поддержкой. Чиновники советского представительства ЮНЕСКО вежливо качали головами, а «товарищи» в Москве откровенно недоумевали. Но тут уж нашла коса на камень – я мобилизовал весь мой организационный ресурс. Огромную помощь в этом мне оказал сотрудник Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО Виталий Дмитриевич Сухов, которому я чрезвычайно благодарен. В конечном счете усилиями Сухова из недр бюджета ЮНЕСКО удалось извлечь сумму в 250 тысяч долларов! И проект состоялся, а в 1991 г. вышла международная монография «Города Европы: участие общественности в охране городской среды» (под редакцией голландского социолога Т. Деелстры и моей на английском языке)³⁹. Так, тема общественного участия (public participation) стала по существу для меня и для моих учениц – И.А. Халий и Е.С. Шоминой, которые уже давно стали серьезными самостоятельными исследователями этой магистральной проблемы⁴⁰. Сейчас, глядя назад, вижу, что особых теоретических изысков в той работе не было. Но когда кладешь рядом опыт 16 стран по общей теме, это не только интересно, но заставляет думать дальше. Вообще тогда, после Чернобыля и даже в начале 1990-х, наши проблемы общественного участия были чрезвычайно близки и понятны Западной Европе. И там, и здесь Чернобыль породил общие страхи и общие заботы. И там, и здесь население стремилось к самоуправлению, к развитию низовой демократии. Какой же гигантский социальный потенциал был загублен! Пожалуй, только российские зеленые как общественное движение смогли пережить распад СССР, грабительские реформы 1990-х гг. и сохраниться как социальная сеть.

3. Общение с «Западом»: научное и организационное

Сегодня общение на международных встречах и конгрессах часто означает «потусоваться», «помелькать», «отметиться». Если же говорить о реальном общении, то, как мне кажется, здесь важны две стороны: межличностные контакты с коллегами-учеными и непосредственное пребывание в той социальной среде, которая является объектом твоего профессионального интереса.

Систематическое непосредственное общение с зарубежными учеными началось в 1970 г. в Москве на международной конференции по урбанизации, одним из инициаторов которой я был. Но тогда нас, группу единомышленников, помимо возможности публичного изложения своих взглядов на проблемы советской урбанизации, прежде всего заботил вопрос вхождения в международное сообщество социологов-урбанистов. И это действительно произошло. А вот уже осенью того же года на VII МСК в Варне мне пришлось отвечать на вопросы и вступать в полемику – это был совсем другой уровень общения, «на равных». Потом было множество международных конференций, но для меня их ключевым моментом была моя способность *вести диалог и отвечать на вопросы*

³⁹ Deelstra T. and O. Yanitsky, eds. Cities of Europe: The Public's Role in Shaping the Urban Environment. M., 1991.

⁴⁰ См. например: Халий И.А. Современные общественные движения. Инновационный потенциал российских преобразований в традиционалистской среде. М. 2007.

профессионалов, воспитанных в совсем иной научной традиции. Вот где пригодились мои знания работ лидеров Чикагской школы человеческой экологии, равно как и европейских социологов-урбанистов. Сегодня, по прошествии более 30 лет, основной проблемой такого общения остаются доверие и достижение взаимопонимания в ходе полемики.

Это доверие и взаимопонимание достигалось также опытом личного знакомства с низовой организацией жизни в европейских городах (Англии, Западной Германии, Голландии, Испании, Польши, Франции, Чехословакии). Конечно, методически это были наблюдения «научного туриста». Однако даже этот способ знакомства с иной социальной действительностью, при надлежащей его организации, был весьма информативным профессионально, если, конечно, человек ехал не за покупками. Поскольку я был социолог-урбанист, я «знал слова» и мог задавать конкретные интересующие меня вопросы. Напомню, что вся идеология и система «микрорайонирования» советских городов была заимствована в Англии 1960-х гг., где, кстати, я смог взять несколько интервью у местных активистов. Поразительно, но они говорили, что перешли сюда на работу из фирм, например, с должности менеджера по кадрам и что здесь, в микрорайоне работа гораздо более живая и интересная – разительный контраст с нашей ситуацией.

И все же, самым профессионально сложным видом общения с зарубежными коллегами была *критика их работ*. Странно сегодня наблюдать как студенты, да и их наставники (за редким исключением), «заучивают» знания, а не рефлексировать по поводу услышанного или увиденного: «Вебер мы уже проходили, кажется, сказал...», «Гидденс показал...», «Дюркгейм утверждал»... и т.д.

Когда я в 1978 г. написал в «Социологических исследованиях» критический разбор одного руководства по полевым исследованиям, опубликованного ЮНЕСКО (этот род научных записок именовался Guidelines for Field Studies), это вызвало в научном руководстве программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» некоторый шок. «Русские всегда присутствуют, но почти всегда молчат – что же они могут понимать в наших текстах?» – примерно такой была обычная реакция на участие советских коллег в конференциях по этой теме, по словам одного из членов этого сообщества. Моя статья была мгновенно переведена на английский язык, и автор этого Руководства, маститый канадский профессор психологии Энн Уайт, лидер социально-психологического направления программы «Человек и биосфера», пожелала со мной встретиться. Не скрою, это был серьезный экзамен, причем по «всем предметам сразу»: на знание проблематики, умение формулировать свои мысли и защищаться, а также на владение английским языком. Тем более, что времени на подготовку не было никакого. Тем не менее, встреча состоялась, мы много говорили и потом, на долгие годы остались друзьями.

Мне часто говорили: конечно, хорошо тебе там в Париже, но сколько же организационной работы тебе приходилось делать, чтобы поработать там три-четыре дня или неделю? Согласен. Но если ты хочешь инициировать развитие какой-то новой социологической дисциплины, а городская и экологическая социологии были в 1970-80-х гг. в СССР именно таковыми, то без этого было не обойтись. Как нельзя обойтись и сегодня. Да, за новое приходилось платить. Конечно, если ученый ориентирован на административную карьеру, то он должен быть председателем какого-то оргкомитета, сидеть во всех президиумах, зачитывать резолюции на конференциях и т.д. и т.п. Но у меня была другая задача.

В социологии общественных движений есть вечная проблема безбилетника (free rider). Когда одни борются, вкладывают силы и ресурсы, а другие просто «примыкают» и получают дивиденды, ничего не делая. Так было и здесь: я сознательно тратил время на общее дело, тогда как другие просто присутствовали (или развлекались). Но игра стоила свеч.

Могу сравнить две международные конференции ЮНЕСКО: в Париже в 1981 г. и в Суздале в 1984 г. На первой я был одним из докладчиков, на второй – ответственным за научную программу, то есть прежде всего ее организатором. На первой я сделал сильный доклад, который был позже опубликован в международных монографии и журнале, на второй – мой доклад мне тогда показался слабым, и только сегодня, через 25 лет, оказалось, что гипотезы, в нем заложенные, не только эвристичны, но могут быть эмпирически доказаны. Речь идет о концепции первичной экологической структуры, доложенной мною на конференции в Суздале (1984 г.).

Центральной мыслью моего доклада в Париже (1981 г.) было утверждение, что однажды нарушенная некоторая экосистема (микрорайон, поселок, город, то есть любая социобиотехническая система), если и восстанавливается, то очень долго, требует постоянного вложения ресурсов на ее поддержание и никогда не достигает прежнего уровня организованности. Доклад был сделан на эмпирическом материале наблюдения за сносом старой жилой застройки и строительства нового микрорайона на ее месте в г. Москве в течение 10 лет, плюс на материале пилотажных интервью с их жителями. То есть новодел всегда *менее* экосистемен и потому более хрупок и затратен. С экологической точки зрения, совсем не случайно, что английские, голландские и другие западноевропейские урбан-социологи и градостроители практикуют реабилитацию и обновление таких старых зон, а реконструкцию – в последнюю очередь. Но никак – не выселение, или переселение в другой конец города, как у нас. Максимальное сохранение социальной ткани города там – безусловный приоритет. Это и философия урбанизма, и ее социология, экономика и культура.

Я обозначил четыре направления движения теории и практики урбанизма, которые могли бы смягчить рассматриваемый процесс и уменьшить риски для жителей и природы. Первый – это переход от унификации к учету разнообразия условий (экономических, географических, привычных типов застройки и жилища, используемых материалов, наличного человеческого капитала), детерминируемых «местом». Второй – это понимание, что необходимо соединить науку и практику градостроительства, сделать ее действительно междисциплинарной. Третий – что всякая реконструкция должна исходить из местного социального и культурного контекста. Четвертый, что необходимо создавать междисциплинарный пул экспертов, в котором местные жители участвовали бы как гражданские эксперты. Уже тогда остро требовался сдвиг от научной к культурной рациональности, от научных «предписаний» к диалогу с населением и использованию его жизненного опыта. То есть публичность социологического действия должно была стать проблемно центрированной и партнерской.

4. О первичной экологической структуре

«Я глубоко убежден, что любой успех нашего дела целиком зависит от людей и личных контактов» – эту точку зрения одного из лидеров российского экологического движения разделяю и я. Действительно, межличностные сети –

обмен ресурсами и информацией, взаимной поддержки и мобилизации сил для коллективных действий – важнейший структурный элемент организации гражданского общества. Но не только.

Для анализа этой структуры необходимы некоторые теоретические инструменты. Таковыми являются концепции «первичной экоструктуры» (далее, экоструктура) и «индивидуального ресурсного поля», предложенные мною конце 1980-х годов. Я изложу ее основные положения так, как они были сформулированы именно тогда, а потом приведу пример, как это выглядело в реальной жизни.

Требования, предъявляемые современным, быстро изменяющимся обществом к индивиду, во много раз превосходя его собственные воспроизводственные возможности, делают необходимым наличие некоторого инструмента, повышающего эти возможности. Эко-структура как раз и является таким мультипликатором воспроизводственных потенций индивида. Это их умножение становится возможным только тогда, когда социальная среда, включая непосредственное окружение некоторого социального актора, становится механизмом отбора и сосредоточения наиболее развитых стереотипов человеческой деятельности. Иными словами, конфликт глобального и локального разрешается (теоретически) посредством концентрации универсального и глобального в местном и индивидуальном, «макро» – в «микро».

На стадии начальной (простой) модернизации городская (территориальная) концентрация – населения, учреждений культуры и сервиса – рассматривалась социологами как базовый инструмент для подобной мультипликации человеческих потенций. Однако, с одной стороны, даже культурно насыщенное и социально хорошо организованное пространство города не могло быть использовано его жителями – горожанину реально была доступна лишь малая часть этого пространства, что продемонстрировал К. Линч. С другой, в ходе модернизации, в особенности при переходе к ее высокой стадии, развитые структуры межперсональных сетей индивидов и групп стали мощным мультипликатором увеличения их воспроизводственных возможностей. По сути, *первичная экоструктура является некоторым «сетевым социальным актором», который одновременно обеспечивает доступ к необходимым ресурсам для своих членов и защищает их от избыточного давления социальной среды, в которой они действуют.* Здесь нужны некоторые пояснения.

Под нормой жизненного процесса социального актора здесь понимается его способность воспроизводить свои физические и интеллектуальные потенции без чрезмерного напряжения сил. Напомним, что речь идет о расширенном воспроизводстве, о способности ставить и достигать цели, то есть о процессах, присущих именно активистам социальных движений, а не о простой «адаптации» к изменяющемуся контексту.

Под стереотипом жизненного процесса я понимаю структуры повседневной активности актора, позволяющие реализовать названную выше норму. Процесс социального воспроизводства актора имеет свои специфические фазы, реализующиеся в структурах ресурсных и коммуникативных связей. Эмпирически, данный стереотип есть устойчивый (ежедневный, недельный и др.) цикл повторяющихся взаимодействий. Как будет показано ниже, он весьма специфичен для современных российских зеленых. Механизм «включения – обособления», то

есть чередования контактов с социетальными структурами и дистанцирования от них, есть главная отличительная черта данного стереотипа.

Наконец, под жизненным ресурсом социального актора здесь имеется в виду совокупность ресурсов, необходимых для поддержания нормы жизненного процесса. Социальный актор постоянно расходует свою эмоциональную и психическую энергию, поэтому он должен систематически восполнять ее потери. Можно провести определенную аналогию между рассматриваемыми процессами на групповом уровне и на уровне социальных движений, поскольку в обоих случаях речь фактически идет о постепенном формировании структуры некоторой «индустрии» производства ресурсов.

Спектр и, следовательно, структуры сетей чрезвычайно разнообразны: одни ресурсы должны добываться и потребляться ежедневно, другие – накапливаются годами и могут расходоваться в течение всей жизни. Для экоактивистов такие ресурсы, как научное знание, оперативная информация, политические ноу-хау, имеют особое значение. Однако эффективность их аккумуляции и использования, равно как и весь социально-воспроизводственный процесс, в значительной степени зависит от организационных форм этого воспроизводства. Именно поэтому структура ресурсных и информационных сетей имеет столь большое значение.

С этой точки зрения, первичная экоструктура может быть определена как форма организации названных сетей, позволяющая социальному актору *максимизировать свои жизненные ресурсы* и достигать своих целей не выходя за рамки нормы жизненного процесса. По отношению к отдельному активисту экоструктура выполняет одновременно социализирующие, воспроизводственные и защитные функции.

Основными функциями экоструктуры являются: опосредование интеракций между индивидом и обществом, обеспечение баланса между «включением» и «обособлением» с целью максимизации воспроизводственного процесса, накопление разнообразных ресурсов и их конвертирование в «воспроизводственную мастерскую», интенсификация воспроизводственного процесса посредством сосредоточения глобального в локальном.

Разнообразие функций экоструктуры требует междисциплинарного подхода. С позиций социальной философии, экоструктура есть *инструмент превращения универсального в локальное и индивидуальное*, способ преодоления дуализма человеческого существования. Ассимилируя универсальное в локальном, экоструктура помогает индивиду «снять» сложность и изменчивость окружающего его мира. С позиций экономической науки, экоструктура есть *механизм и контейнер накопления ресурсов, необходимых для поддержания здоровья и воспроизводства человека-труженика*, а в рассматриваемом нами случае – политически и социально активного индивида (т.е. накопление и освоение ноу-хау публичного действия).

С точки зрения социологии, экоструктура есть *организационная форма активности социального актора*, посредством которой он одновременно адаптируется к изменяющемуся контексту, и стремится изменить его в нужном для себя направлении. Если образ жизни определить как систему устойчивых (повторяющихся) способов жизнедеятельности, то экоструктура может быть названа их мастерской. В рамках социальной психологии рассматриваемая структура есть *устройство, обеспечивающее психологическую защиту и*

эмоциональный комфорт для своих членов, периодически вовлекаемых в публичную деятельность и находящихся под давлением далеко не всегда дружественного контекста. Вместе с тем, возникающие в ходе коллективных действий межличностные конфликты являются стимулом для расширения сферы человеческих потребностей. В культурном плане рассматриваемая структура есть индивидуализированный *мир культуры* актора, соответствующий его ценностным ориентациям и жизненным стандартам. Постоянно включаясь в ходе своей публичной активности в различные субкультуры общества, актер постепенно формирует собственное пространство культуры. Подчеркнем, что экоактивисты строят этот индивидуализированный мир культуры одновременно исходя из их непосредственных межкультурных интеракций и из некоторого «отстраненного» видения динамики глобальной экологической ситуации, причем видения как бы из будущего – глазами своих детей или будущего поколения.

Все эти разные аспекты функционирования экоструктуры сфокусированы на личности индивидуального актора. Поэтому и паттерны ее интеракций с внешним миром построены по многофункциональному критерию. По сути экоструктура есть некоторый коллективный «дом», где актер и его окружение представляют неразделимое целое.

Теперь, о концепции индивидуального ресурсного поля. Любой контекст деятельности социального актора может быть представлен в виде континуума ресурсов. На одном полюсе находятся «внутренние» ресурсы, то есть находящиеся в его полном распоряжении или те, которые могут быть мобилизованы быстро и с минимальными усилиями. На другом полюсе находятся «ресурсы-условия», для мобилизации которых нужно затратить усилия (т.е. израсходовать внутренние ресурсы), сравнимые с ожидаемым результатом. Соответственно, контекст деятельности некоторого актора может быть представлен в виде системы катализаторов и блокаторов, которые способствуют его активности или сдерживают ее. Именно поэтому связи и функции рассматриваемой организованности зависят от конкретной конфигурации ресурсного поля, которое, в свою очередь, детерминируется наличной структурой политических возможностей данного социального актора.

Наконец, очень бегло об операционализации некоторых необходимых понятий. Норма жизненного процесса может быть измерена числом и разнообразием постоянно возобновляемых контактов, необходимых для поддержания процесса воспроизводства некоторого актора. Стереотип жизненного процесса, как уже отмечалось, может быть выражен через типичные устойчивые (пространственно-временные) структуры связей этого актора. В свою очередь, их абрис и границы определяются критерием «ресурсного баланса», под которым мы понимаем динамическое равновесие между требуемыми ресурсами и усилиями, необходимыми для их приобретения.

На конференции ЮНЕСКО «Экологический подход к планированию городов» (1984 г.), где я впервые изложил эту концепцию, на нее практически не было никакой реакции. Впрочем, там собрались в основном экологи и специалисты в области городского планирования, для которых эти микросюжеты были достаточно далеки. Как мне еще в 1970 г. говорил известный науковед Дерек Прайс, чтобы на новую научную концепцию или даже гипотезу была хоть какая-нибудь реакция, она должна быть опубликована, а возможно и раскритикована, 5–6 раз.

Позже я обсуждал эту концепцию с коллегами еще несколько раз, но всякий раз ощущал желание собеседника ввести разговор в привычные дисциплинарные рамки: семья, малая группа, производственный коллектив. И... каждый раз я с моими идеями каждый раз оказывался «между». Но что было делать, если эмпирически структура коммуникаций личности и обмена ею ресурсами шла «поперек» этих реальных институтов и привычных междисциплинарных размежеваний. Сейчас это очевидно, сетевой, тем более что ресурсный анализ просто «не замечает» групповых и институциональных границ, но тогда, более 25-ти лет назад, такой подход казался всем надуманным, избыточным. Тем более, что «референтными точками» и одновременно поставщиками ресурсов могли быть не только синхронно живущие со мной социальные акторы, но и давно ушедшие и запечатленные лишь в текстах – книжных или образных... То есть типологически, первичная экоструктура была транслокальной и трансвременной. Хотя в работах К.А. Абульхановой-Славской, на которые я опирался еще раньше, в начале 1970-х, выдвинутый ею принцип «включения–обособления» обнимал все пространство человеческой коммуникации, не специфицируя его по видам социальных институтов. Но там была психология, и соответственно, личность – в центре.

Странно, ведь вся русская художественная литература и публицистика, а позже и русская социология в течение по крайней мере полутора веков, спорили о характере и формах влияния на индивида среды его непосредственного обитания (П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, Д.С. Мережковский – пришлось бы перечислять все сколько-нибудь значимые фигуры того времени). Почему же современные социологи не сделали попытки построить хотя бы качественную модель личности во взаимодействии со средой ее обитания и воспроизводства? Были, правда, некоторые намеки: Ю.А. Левада, например, неоднократно говорил о ценностном ядре личности, вокруг которого располагаются менее устойчивые (поверхностные) слои диспозиций и мотиваций. Но все же это был скорее образ, схема, а не концепция и тем более не модель. Мои попытки обсудить эту проблему с психологами также не увенчались успехом: их интересовали лабораторные эксперименты, так сказать *in vitro*, а я искал инструментарий для модели *in vivo*. Вот почему, когда я стал изучать российское экологическое движение, меня сразу заинтересовали его лидеры и их коммуникативные и ресурсные связи – далекие и близкие. И сразу обнаружилось, что: (1) сеть их контактов гораздо шире и работает более интенсивно, чем у рядовых членов; профессиональный уровень лидеров более высокий; (2) непосредственная социальная среда (семья, соседство, круг общения родителей) снабдили их разносторонним жизненным опытом и навыками; (3) также имели важное значение воля, властный характер лидеров движения; и, наконец, самое важное, что (4) существенные качественные характеристики этих лидеров не улавливаются структурно-функциональным (сетевым) анализом.

А теперь – пример. В подтверждении правоты моих концепции первичной экологической структуры и взгляда на экологическое движение как на сетевое сообщество московский клуб «Левша» и его создатель Кирилл Леонтович занимают особое место. В этом клубе концепция экоструктуры материализовалась на сто процентов и приобрела живые человеческие черты. В клубе, его лидерах и участниках живым, непосредственным образом соединились русская история, природа и научные знания, доброта и отзывчивость людей. Бывает же такое, что исследователь, сконструировав некую социальную модель

(идеальный тип), вдруг «встречает» ее в реальности как некий «остров надежд» в море повседневности. Наверное поэтому я чувствовал себя в этом клубе так по домашнему комфортно и одновременно – там было интересно, невероятно интересно. Не поверив себе, я стал «вбрасывать» туда моих коллег, отечественных и зарубежных. Эффект был тот же: интересно, удивительно, там царит дружеская, почти семейная атмосфера. Я много писал об этом клубе⁴¹, поэтому здесь обозначу лишь уже знакомые читателю ключевые моменты моей концепции первичной экоструктуры.

Этот клуб вырос в старомосковской интеллигентской среде (район Пречистенки и старого Арбата), у клуба уже была своя история, методы, круг друзей и покровителей. Для Леонтовича это была привычная среда существования, он унаследовал свои филантропические наклонности от родителей. Однако были корни и более глубокие: у архитектора и реставратора Надежды Завьяловой, работавшей рука об руку с Леонтовичем, среди ее предков были декабрист Сергей Завалишин, ее мать была лидером одного из подростковых клубов, работавших под патронатом Московского педагогического института (того, откуда был мой любимый школьный учитель истории Дмитрий Николаевич Никифоров). Леонтович руководил клубом и одновременно работал подростковым психиатром, то есть был профессионалом по «трудным подросткам» (как и моя тетя Вера Федоровна). Клуб был «встроен» в социальную среду района: начав с проблемы подростков, Леонтович скоро понял, что без систематического привлечения их родителей он мало что сможет сделать. Для создания такой местной «экологической ниши» необходимо было не только «ходить в народ», но и становиться центром его притяжения.

Действительно, клуб был не только мастерской для детей, но и местом встреч как окрестного населения, так и заинтересованных интеллектуалов разных профессий, а дома родителей обоих лидеров «Левши» всегда были открыты для педагогов, поэтов, художников и писателей. Так что ресурсный обмен происходил естественно: в процессе помощи детям (у токарного станка или у клетки с животными) или здесь же за чашкой чая. Наконец, у лидеров клуба была своя идея, «миссия». Беру это слово в кавычки, потому что клуб не был ни реализацией заранее придуманного «проекта», ни социальным экспериментом над подростками. Миссия была в том, чтобы постепенно в ходе накопления опыта и знаний, диалога между его лидерами, родителями и местной властью, клуб мог бы стать центром кооператива родителей-единомышленников, реализующим помимо повседневных нужд идею хобби-терапии. Врач-психиатр, оказывающий скорую помощь подросткам, Леонтович прекрасно понимал, что его возможности *помочь ребенку* в момент его острого психологического кризиса ограничены, что нужна длительная терапия пребыванием в привычной, повседневной среде обитания, которую Леонтович назвал хобби-терапией. В действительности «Левша» было гораздо большим, нежели клубом по интересам. Он был именно «домом», где органичным, но невидимым внешнему наблюдателю образом соединялись труд подростков, их отдых, общение, познавательная деятельность и защита от

⁴¹ См., например: *Яницкий О.Н.* Социальные движения. Сто интервью с лидерами. М., 1991; *Yanitsky O.* Russian Environmentalism. Leading Figures. Facts. Opinions. М., 1993, Рр. 195—96.

внешней среды. Сравнивая шкалы «степени участия» (ladders of public participation) населения в делах клуба «Левша» и его европейских аналогов, могу сказать, что они мало различались. Конечно, этот клуб был далеко не единственным в стране. Пишу «мог бы стать», но не стал в силу все тех же причин: местные чиновники наложили на него свою тяжелую лапу.

Такие клубы-дома или клубы-сообщества, может быть в не столь завершенном виде, в то время возникали по всей стране, что подтверждает мою мысль о естественном пути их возникновения. Когда я рассказывал их лидерам о существовании подобных сообществ в европейских городах, эти люди лишь улыбались, потому что такая работа была их внутренней потребностью. Создавая эти клубы и инициативные группы, их лидеры стремились прежде всего реализовать свой долго копившийся творческий потенциал в своей среде, в собственном «доме» и уже по ходу дела «наводить порядок» вокруг.

Можно ли возродить эти «очаги» сегодня? Думаю, что нет. За 20 лет изменилось все: население, его интересы, социальный порядок. Район ул. Пречистенки, где размещался «Левша», занят офисными зданиями и помещениями, старая Москва отсюда почти ушла. Рядом вырос храм Христа Спасителя, что также изменило жизнь и ауру этой части городского ландшафта. Возможно, что нынешний кризис снова потребует нечто подобное. Но это будет скорее всего где-то далеко от старого центра, в районах новостроек.

Глава 6. Перестройка (1985–91 гг.)

Об эмиграции и миссии социолога. – Общественные движения: исследователь, эксперт, советчик. – «Вы – социалист?». – Самореализация, самоорганизация и самоуправление. – Кто были эти инициативные люди на местах? – Ресурсы. – Разговоры с Марью Лауристин и другими. – Интервью длиною в пять лет.

1. Об эмиграции и миссии социолога

Когда грянула перестройка, вопрос о выборе дальнейшего личного (и семейного) пути встал во весь рост. Или я выбираю в том или ином варианте жизнь за рубежом, благо мои активы в ЮНЕСКО были тогда достаточно высоки, и я уже готовился к работе там по контракту минимум на четыре года, или же я остаюсь здесь и еще глубже погружаюсь в изучение социальных движений, которые возникали буквально на глазах. Мне было 52 года, предстоял нелегкий выбор, хотя дочь была уже взрослая и не могла, как несколько лет назад, «заблокировать» наш отъезд на несколько лет в Париж. В итоге интерес к работе здесь плюс нежелание покидать страну перевесил перспективу благосостояния и международной пенсии. И потом, как мне казалось, у меня есть некоторая обязанность, ответственность перед экологическим движением, которое я за 10 лет уже изучил неплохо. И они мне доверяют. Позже я все же сделал некоторую пробу: стал на 3 года советником Европейского банка реконструкции и развития, и понял, что, оставшись в России, я сделал правильный выбор.

Я был в США, много раз в Европе, пользовался прекрасными библиотеками их университетов. Подавляющее большинство моих западных коллег были расположены ко мне и оказывали всяческую помощь. Но все же главное заключалось в том, что их работы стимулировали мою мысль и поиски. Когда

видишь новую проблему, загораешься и это придает силы. Но всегда мне хотелось скорее вернуться домой и сесть за машинку или компьютер. А.Я. Гуревич был глубоко прав: «Надо принимать то, что есть, за данность и в пределах этой данности упорно работать»⁴². И вообще: «Почему стоит читать лекции студентам Бостона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Кембриджа, а не московским или питерским студентам? Почему вы наших соотечественников лишаете того, что дарите там?... Вы можете блестяще владеть их языком, но они вашим языком культуры не владеют, и приходится разучивать элементарные вещи. Вы будете там тратить сокровища своих знаний и затрагивать нюансы, которые могут быть поняты только здесь, а наши слушатели будут этого лишены»⁴³.

Действительно, почему я должен быть экспортером тех редких знаний, которые я добыл и которые, если я уеду, уже никогда не получат русские студенты? Выступить там, прочесть курс лекций – да, но и это, как мы все знаем, связано с огромными затратами времени и сил. Не лучше ли потратить из здесь? И действительно ли то, что я им один раз скажу, как-то застрянет в их памяти, а не улетучится через час или два? Все так называемые руссисты, хлынувшие сюда с началом перестройки, не знали и не понимали, что здесь происходит. Наконец, мой американский коллега Дуглас Вайнер, досконально изучавший архивы российского экологического движения более 10 лет, выпустил в США две монографии на эту тему, но регулярного курса по социально-экологической истории России там так никто и не читает.

Был и более фундаментальный этический мотив остаться здесь: «если ты стал гуманитарием и уже сотворил нечто, нашедшее резонанс и здесь и на Западе, ты уже не только частное лицо и у тебя есть некоторая миссия». И далее: «...на нас лежат некоторые обязательства, выходящие за пределы индивидуальной личности. Одно дело когда <за границу> уезжает человек, которому все равно, где работать, с культурой, кроме некоторого потребителя, непосредственно не связанный. Но когда уезжает известный ученый, ослабляя и порывая здесь практически все связи, – это совсем другое. Мы восполняем некоторую миссию» и, следовательно, должны «передать свой жизненный опыт новым поколениям историков»⁴⁴.

Наконец, вероятно по складу характера, мне очень хотелось знать, смогу ли я стать хоть в какой-то мере «публичным социологом»? Сумею ли донести до этой, весьма образованной и независимой аудитории свои мысли, убедить ее в чем-то стратегически важном? И я сделал свой выбор: 15 следующих лет я был исследователем и советником *общественных движений*, Речь идет о новых социальных движениях: экологическом, охраны памятников истории и культуры, жилищном, самоуправления и некоторых других.

2. Общественные движения: исследователь, эксперт, советчик

Сейчас, по прошествии более чем двух десятилетий, я считаю этот период едва ли не самым плодотворным в своей профессиональной биографии. В те годы все «сошлось»: условия и возможности, мой опыт и знания и «социальный заказ» гражданского общества. Но дело не только в том, что именно в те годы я мог выступать как ведущий эксперт по городским и социально-экологическим

⁴² Гуревич А.Я. История историка. М.: РОССПЭН. 2004. С. 240.

⁴³ Гуревич А.Я. Цит. ист., С. 243.

⁴⁴ Гуревич А.Я. Цит. ист., С. 244, 281.

проблемам. Что мог реализовывать на практике оптимальную модель исследовательского процесса, то есть включаться в действительность, слушать, изучать, набирать материал, и – отключаться от нее для углубленной рефлексии. Повторюсь: повседневная жизнь массы горожан, их низовая самоорганизация, способы личной самореализации, их взаимоотношения с природой были и остаются ключевыми темами моего профессионального интереса.

Вот характерный факт. Проработав в ИМРД АН СССР почти 25 лет, я ни дня не занимался рабочим движением. Не чувствовал я этой проблематики, не моя она была. А уйдя из этого института, вот уже более 20-ти лет только и делаю, что занимаюсь проблемами гражданских инициатив и общественных движений. Почему? Да потому что я накопил теоретический ресурс, который можно было применить на практике. Или по крайней мере опробовать его и попытаться построить собственные модели инициатив и движений. Разве это не увлекательно?

Как-то Г.С. Батыгин спросил меня, разделяю ли я профессию и призвание? Призвание – слишком громкое слово. Могу только сказать, что мой личный исследовательский (и мыслительный, естественно) процесс идет постоянно, и я получаю от этого удовлетворение большее, чем от чего-либо другого. Более тридцати лет я веду записные книжки, веду постоянно, где бы я ни находился – дома, в транспорте, на заседаниях, в ожидании приема врача. С удивлением смотрю на иных аспирантов, которые, выходя с очередного научного семинара, не записали ни строчки. Вот в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Теодора Шанина) выступают с докладами социологи мирового класса – У. Бек, Э. Гидденс, а студентки сидят и болтают.

Я уже говорил, что низовой уровень самоорганизации населения меня интересовал всегда. Ведь что такое программа «Экополис», в которой я участвовал с 1979 г., или Движение студенческих дружин охраны природы, с которым я познакомился двумя годами позже? – Это низовая самоорганизация, гражданские инициативы. И я их начал изучать *до начала перестройки*. Конечно, гласность дала огромный эмоциональный импульс и расширила коридор исследовательских возможностей. Но для меня как научного работника проблема заключалась в том, что для понимания, интерпретации этих инициатив и движений нужен был концептуальный аппарат, методология. Поэтому середина 1980-х гг. для процесса моего интеллектуального движения стала *точкой бифуркации*, которая лишь внешне совпала с началом перестройки. В самом деле, посмотрите: с середины 1980-х гг. началось интеллектуальное размежевание советских гуманитариев. Одни (В. Ерасов, С. Кара-Мурза, Г. Осипов, А. Ципко) фактически остались на позициях классического марксизма или демократического социализма. Другие, а их было несравненно больше, стали апологетами либеральной идеологии (А. Ахиезер, Е. Гайдар, Л. Пияшева, Н. Шмелев). Третьи так и не определились теоретически.

Возьму на себя смелость сказать, что и теоретически, и нравственно я был вполне подготовлен к этому идейно-политическому повороту. Речь, конечно, не идет о каком-то предвидении случившегося. Нет, просто я уже давно «врос» в названные «низовые» процессы. Поэтому перестройка, резко расширив коридор познавательных и публичных возможностей, лишь окончательно определила мой выбор. Произошел окончательный сдвиг в социальную экологию в ее демократическом понимании (гражданские инициативы и движения). Я выступал *одновременно* как исследователь, советник, эксперт и непосредственный участник процессов самоорганизации и самоуправления снизу.

Мне кажется, что для углубленного понимания своего предмета вживание в его среду просто необходимо. Потому что при изучении массовых процессов это невозможно. Сегодня опросная «сеть» отвечает на один вопрос, завтра – на другой, послезавтра – на третий. Есть ответ, но человека не видно. Поэтому по складу своего характера и ментальности я *ближе к социальным антропологам*, которые именно «вживались» в среду, контекст объекта своего анализа, старались войти в него «изнутри». Слушать, наблюдать, разговоры разговаривать – вот мой излюбленный метод. И, конечно, копаться в документах и архивах, читать «движенческую» прессу. Отсюда – и характер моей первичной социально-экологической структуры.

Приведу один пример, который, может быть, прояснит мою позицию. Изучая Движение студенческих дружин охраны природы, я имел возможность не только наблюдать, разговаривать (и брать интервью), но и изучать характер многих лидеров сектора «Заказники» этой Дружины, когда они дискутировали по поводу тех или иных проблем. Мои респонденты, тогда активисты этого движения (Алла Блехман, Даниил Борщевский, Екатерина Головина, Галина Левицкая, Вадим Мокиевский, Николай Мюгге, Юлия Саяпина, Николай Соболев, Ольга Роздина, моя дочь Татьяна Яницкая и многие другие), росли и развивались – рос и развивался с ними я в своем понимании их деятельности. Ведь они по характеру среды своей первичной социализации были очень разные – из семей столичных биологов в нескольких поколениях, и со стороны, и просто «примкнувшие», которым нужна была в данный момент поддержка и защита.

Был ли я готов к такому повороту событий? Наверное в минимальной степени, но все же был. Во-первых, к этому времени у меня уже была солидная личная библиотека литературы по инициативам и движениям, прежде всего по экологическому. В этом мне помогли мои зарубежные коллеги. Во-вторых, накопленный ранее ресурс по экологической социологии (Чикагская школа и ее последователи) оказался во многом релевантным. В-третьих, это были мои архивы, содержавшие как фактографию, так и выписки из научной и гуманитарной литературы. В-четвертых, я увлекался мемуарной литературой особого толка: историями жизни декабристов в Сибири и позже – просто биографической литературой. Это было в высшей степени поучительное чтение – оно показывало возможности (и пределы) самоорганизации человеческих сообществ в критических обстоятельствах. Наконец, и может быть это было самым главным, я постоянно был занят переработкой начитанного и увиденного (это примерно 10 рукописных тетрадей, помимо 45 карманных записных книжек) в собственные теоретические наработки. Конечно, перелистывая их сегодня, вижу, что реально была использована лишь малая их часть. Но без этой работы я не смог бы выстроить собственную теоретическую позицию.

Некоторые мои коллеги говорят: прежде всего надо разрабатывать методологию. Я этого не понимаю. Какая может быть методология на пустом месте? Без знания конкретного предмета? Без погружения в материал, контекст? Позиция некоторых моих близких коллег: «кто-то собирает материал, а я его обобщаю» – для меня тоже неприемлема именно по методологическим соображениям. Это должен быть «мой» материал, который я исходил «вдоль и поперек». Другое дело, что ступени теоретической рефлексии по его поводу каждый раз могут изменить подход к конструированию следующего этапа полевого исследования.

С одним лишь теоретическим ресурсом получился полный провал. Я имею в виду пресловутую междисциплинарность. Собственно говоря, на этом пути вся программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» потерпела крах. Мы начинали с идеи «интеграции» наук, потом стали говорить об их возможной «кооперации», а кончили теоретически малопонятным «взаимодействием» наук. Реально же участники программы между собой разговаривали на языке *обыденного знания* и повседневных (и потому понятных всем) практик. В одном я убежден: политики, используют данные социологии, экологии и других наук чисто утилитаристски, то есть манипулятивно. Никакой социальной (политической) интерпретации научного знания, сделанного учеными, они не признают. Для такой интерпретации у них существует собственный аппарат экспертов и помощников. Как в их голове данные естественных наук трансформируются в социологические и политические рекомендации, одному Богу известно.

Чем можно утешиться? На мой взгляд, тогда все же удалось сделать несколько шагов на пути перемещения социально-экологической проблематики из сферы научной экзотики в публичный дискурс.

3. Вы – социалист?»

Меня многие спрашивали: коль скоро я подчеркиваю свой интерес к самоорганизации снизу, значит ли это, что я отношу себя к социалистам? Отвечу так: для меня познание и польза неразделимы. Именно такой была «идеология» деда и бабушки, семьи и ближнего круга. И когда я работал архитектором, и позже – уже социологом, в конечном счете я всегда считал, что моя работа должна принести некоторую пользу обществу или конкретным людям. Подсознательно мне хотелось, чтобы моя работа как социолога была «семейной»: взаимопонимание и взаимопомощь, доверие и участие. Вы скажете, что семейная жизнь столь же напряженна и конфликтна, как и жизнь любого другого человеческого сообщества. Верно, но ведь речь идет об идеологии.

Это стало очевидным, когда я стал участником гражданских инициатив. Сотрудничество с ними не было «патронажем» или «хождением в народ». Я стремился к партнерству, к доверительному и взаимно полезному обмену ресурсами: я им – социальное знание, социальные технологии, а они мне – свой социальный опыт, повседневные практики и, главное, «нерешенные вопросы», «проблемы», которые служили стимулом для моих дальнейших изысканий. Отсюда, и характер моего *ответа на вызовы перестройки* был иным. Моей задачей в конечном счете была помощь конкретному лидеру, группе, общественному (экологическому) движению, хотя довольно часто в форме критики. Тогда как для большинства социологов, ушедших в политику, работой стало обслуживание государства, корпоративных и олигархических групп, политических партий и блоков. Я идентифицировал себя с «жертвами», гонимыми, «лишними людьми», те же, кто ушел в большую политику, – с большинством или «серединой». По квалификации французского публициста Режи Дебри, я отношусь к «низшему слою интеллигенции», который оценивается ее «высшим слоем» как отсталый и даже опасный. Я не принадлежу к корпорации, они – да. Вероятно это можно считать разновидностью социалистической идеологии. Много лет я занимался анализом и критикой социалистических утопий, результатами воплощения их на практике. Я имею в виду движение «городов-садов» в России и Европе, идеи и проекты городов «социалистического быта», процессы

микрорайонирования советских городов и т.п. Что касается дефиниций, то я не придаю им значения. Если кому-то очень хочется поместить меня в некую «идеологическую таблицу», пусть считают меня демократическим социалистом.

Отсюда вытекала и структура моего коммуникативного пространства. Прежде всего, это был круг научной литературы по инициативам и движениям. Далее, это, конечно, круг научного общения. В этот период я тяготел к тем, кто занимался местной самоорганизацией, методами «прямой демократии», конструировал и реализовал проекты *совместно* с населением. Таких исследователей в 1970–80-х гг. в Европе и Америке было много: Шомбар де Лоов во Франции, Крис Пикванс и Рей Пал в Великобритании, Мануэль Кастельс в США, Нико Нелиссен и Тьерд Деелстра в Голландии и другие. С большинством из них у меня были постоянные контакты. В-третьих, это были конференции и семинары по темам местного самоуправления и гражданских инициатив. И, самое главное, – постоянные контакты с лидерами и участниками гражданских инициатив и общественных движений в СССР/России. Контакты были двусторонние, взаимно полезные и, подчеркну, совсем не только локально ориентированные. С Марью Лауристин, Дайнисом Ивансом, Святославом Забелиным, Дмитрием Кавтарадзе, Евгением Шварцем мы обсуждали вопросы стратегии и тактики экологического движения в стране в целом.

Что же касается политических «тусовок», то, поучаствовав в них два–три раза, я охладил к этому занятию. Так же я отношусь и к ток-шоу на телевидении. Читатель спросит: а как же тогда быть с политической интерпретацией добытого вами знания? – Вероятно с этим дело у меня обстоит не очень хорошо. Но что именно политик извлекает из науки – это сложный и мало исследованный вопрос. С моей точки зрения, почти ничего. Политика давно стала самодостаточной областью деятельности со своим языком, научными, организационными и всеми другими ресурсами.

Вернусь в этой связи еще раз к интервью с Г.С. Бытыгиным (2002 г.). Он спросил меня: «Ретроспективно, считаете ли вы себя участником интеллигентского движения гласности и перестройки?» – Я задал встречный вопрос: «а каковы критерии этого участия? Если хождение на заседания Московской трибуны и других неформальных политических клубов, то – нет. Хотя я бывал на многих из них. А вот если ежедневное консультирование лидеров гражданских инициатив, участие в их митингах, помощь в составлении писем просьб, петиций – то, несомненно, да. Я уже говорил, что моим долговременным интересом была низовая демократия, самодействие. Другие любят быть на глазах, я предпочитаю слушать и размышлять. Если вам угодно, числите меня (тогда) независимым экспертом».

4. Самореализация, самоорганизация и самоуправление

Западные социологи квалифицируют движение за мир, экологическое, женское и движения в защиту прав меньшинств как новые, потому что они преследуют постматериальные цели и ценности, то есть делают акцент на личной и гражданской свободе, защите среды обитания, открытости новым идеям и сопротивлении «железной пяте» бюрократии (М. Вебер) или «колонизации жизненного мира системными императивами» (Ю. Хабермас). В российском случае, как показали мои исследования, это были прежде всего ценности самореализации, самоорганизации и самоуправления.

Невостребованные профессиональные знания и социальная активность, рутинный труд, узкие рамки дозволенной общественной работы, наконец, полная потеря доверия к официальным лозунгам и программам, создали сильнейший массовый импульс к самореализации. Причем двусторонне направленный: на *индивидуализацию собственного жизненного процесса* (отсюда, в частности, резко возросший интерес к познанию страны и поиску собственных корней, то есть поиск собственной идентичности), и на *общее благо* (защиту среды обитания, памятников культуры и истории, самостоятельную организацию повседневной жизни). Причем с очень сильным этическим обертоном: помогать больным и инвалидам, старикам и одиноким, тем, кто возвращался из мест заключения, вынужденным переселенцам, которых становилось все больше, и жалеть их.

Отсюда органично вытекает вторая и третья ценности-цели: самоорганизация и самоуправление. Как внутри существующих организаций, так и вновь создаваемые, то есть собственно *гражданские инициативы*. Они, как и студенческие дружины охраны природы, формировались внутри НИИ, вузов, или по месту жительства. В любом случае среди них не было людей кочевых профессий, мигрантов в первом поколении, съемщиков жилья, жителей общежитий и вообще «временных», мало связанных с конкретным местом. Цель опять же была двуединая: регулировать отношения внутри себя (своей группы, комитета, дружины) и добиваться легитимного статуса самоуправления (клубом, местным сообществом и собственно социальным движением), задача, актуальная и по сей день. Впервые глубоко запрятанное человеческое «хочу» и групповое «мы можем это сделать сами» стали организаторами социальной жизни. Эти цели, пробив скорлупу страха и апатии, вышли на поверхность общественной жизни. Оказалось, что *самоорганизация – самостоятельная ценность*.

Русская культура XIX– начала XX веков буквально пропитана напряженной рефлексией и политическим активизмом с сильным гражданским обертоном. Начиная с А.И. Тургенева и П.А. Вяземского, через А.И. Герцена и И.П. Огарева и вплоть до Н.Г. Чернышевского и его последователей⁴⁵ линия на осмысление путей форм развития гражданского активизма не прерывалась до Февральской революции 1917 г. Причем, чем ближе к нам, тем явственней обозначался вектор практических дел, направленных на благо «маленького человека».

Сто лет неизменными лидером гражданского активизма оставалась интеллигенция, естественнонаучная и гуманитарная, сохранялся острый интерес к проблемам прав человека и общественного блага, приемлемости для России/СССР европейской модели социального развития, соотношения технического и этического начал общественного прогресса. Культурный и научный обмен с Европой был чрезвычайно интенсивным, причем идея Просвещения в ее теоретической и прикладной ипостасях оставалась центральной. Характер этой гражданской активности российской интеллигенции точно определил В.И. Вернадский: «Русская умственная культура в XIX и начале XX веков может считаться созданием *общественной самодеятельности*. Государственная организация большею частью явилась враждебным ей элементом... Наиболее резко эти антикультурные тенденции сказались в ведомстве, прямой государственной

⁴⁵ Рудницкая Е.Л. Лики русской интеллигенции. М., 2007.

функцией которого должна была бы являться работа на пользу русской умственной культуры, – в ведомстве Министерства народного просвещения»⁴⁶.

Люди, особенно в больших городах СССР конца 1980-х гг. были достаточно образованными, материально (по меркам того времени) обеспеченными и обладали огромным запасом жизненного опыта – опыта самоорганизации жизни в самых разных условиях и средах, в семье, производственных и научных коллективах, в столицах и таежных поселках. Этот личностный опыт они хотели применить, использовать на местах, «здесь и сейчас». А главное – они верили в такую возможность и в собственные силы. Что сообщая, но не под одну гребенку, они объединив свои человеческие капиталы, они все смогут. Иначе говоря, социальный ресурс, необходимый для перемен снизу, был в наличии, и жители сами были в состоянии мобилизовать его.

Наконец, у них был еще один ресурс, о значении которого сегодня сломано столько копий. Это *доверие*. Лидеры местных инициатив доверяли М.С. Горбачеву, доверяли друг другу, лидерам народных фронтов, родственным западным инициативам и движениям. Наконец, они доверяли нам, ученым, социологам и естествоиспытателям, которые старались помочь им словом и делом.

Сегодня говорят, что реформа ЖКХ – это бездонная бочка, нужны непомерные расходы на его обновление. Согласен, большие. Но по сравнению с тем, какие людские и материальные ресурсы были бездарно брошены, разворованы, расхищены в ходе распада СССР или только одного Варшавского договора, одностороннего разоружения и гибели целых отраслей производства, скажем, текстильного, средства, требовавшиеся тогда для поддержания городского хозяйства, можно считать мизерными. В конце 1980-х я подсчитал, что одна только инвентаризация жилого фонда Москвы (безо всякого нового строительства) высвободила бы жилую площадь для заселения 200 тыс. нуждающихся москвичей. Люди на местах знали, как по-хозяйски распорядиться ограниченными ресурсами. Менталитет русского человека – это менталитет бережливого крестьянина или мастера, где всякая мелочь сгодится в хозяйстве и всякие «отходы» могут быть пущены в дело. То есть *эти люди были экологически ориентированными*.

«Скучная это материя», – говорили мне тогда коллеги по цеху. – «Тут решаются эпохальные проблемы – смены формы собственности, власти, преодоления монополии коммунистической идеологии. А ты тут со своей низовой самоорганизацией. Мелко, брат, бери крупнее». Нет, не мелко! Все мировые демократии основывались именно на такой самоорганизации, они вырастали из нее. Идея А.И. Солженицына об «обустройстве России снизу» отнюдь не русофильская и не почвенническая. Как уже очевидно сегодня, коммунизм как идеология не умер после отмены 6-ой статьи Конституции.

А если брать крупнее, то глубинная причина *социально-экологических* движений состоит в том, что человечество не успевает осознать, отразить то ускорение и уплотнение событий, которое оно же само и породило. У него просто нет опыта жизни в этом стремительном потоке событий. Пресловутый «автодинамизм модернизационного процесса» (У. Бек) порождает высокомерие одних и фрустрацию других. В обоих случаях мы получаем не рефлексию по поводу рисков, а примитивную реакцию на них. И раскол – социальный, конфессиональный, цивилизационный”. Или, выражаясь фигурально, стенка на

⁴⁶ Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995, С. 186.

стенку. Но «наказание» политических движений и даже целых народов порождает бумеранг массового террора. Маховик порождения рисков раскручивается все быстрее. Возникают такие общности и солидарности, которые еще недавно невозможно было помыслить. Когда мир ставится на грань уничтожения, трудно говорить об исследованиях. Это еще одна причина, почему, по моему мнению, социология вытесняется политикой.

5. Кто были эти инициативные люди на местах?

Кто хотел сорганизоваться и устроить свою жизнь более человеческим образом? Прежде всего, трудовая интеллигенция, трудовая в том смысле, что, работая помногу и регулярно в школах, больницах, НИИ и вузах, все же имела свободное время для чтения, размышления и общения с соседями и друзьями. В категориях современной социологии это были *образованные бедные*. Но эта позитивистская квалификация не схватывает того обстоятельства, что это были самостоятельно мыслящие «бедные», воспитанные советским режимом на русской литературе XIX–XX и государственнической традиции веков. В многочисленных нынешних группировках и рубриках, применяемых в инструментариях массовых опросов, едва ли найдутся одна или две, учитывающие эти человеческие качества. Или те же хозяйственность, мастеровитость, о которых только что шла речь. Чтобы ухватить эти «экологические» стороны русского менталитета, пришлось бы к закрытым вопросам присовокупить массу открытых. Скажем, о чем именно эти люди думают, когда отвечают, в каких терминах (категориях), какова их исходная (базовая) идеологическая парадигма, то есть доминирующий взгляд на мир и т.д. Тогда, на рубеже 1980–90-х гг. действовали не статистические единицы, годные к машинной обработке, а *мыслящие и действующие личности, индивидуальности, лидеры*.

Интеллигенция была авангардом и движущей силой новых движений. Здесь в равной степени были важны ее профессиональные знания, включенность в мировое научное сообщество, особенно ученых естественников, и ее этическая, гражданская позиция, которая сформировалась задолго до перестройки. В формировании структурной основы движений огромную роль сыграли научные советы АН СССР и творческие союзы (архитекторов, художников, писателей), где и раньше шла повседневная клубная работа, а теперь развернулись публичные дискуссии. Причем особую роль сыграли ученые, инженеры, писатели, журналисты, которые уже долгое время были знаковыми общественными фигурами: А. Адамович, Г. Галазий, Д. Лихачев, С. Залыгин, В. Распутин, А. Яблоков и другие. Помимо всего прочего, гуманитарная и научная интеллигенция старого закала отстаивала целостный взгляд на мир человеческой жизни, который также можно назвать экологическим или гуманитарным. Силами их поддержки были «жители» – образованные и умудренные житейским опытом пенсионеры, учителя и врачи, молодежь, молодые матери с маленькими детьми.

Как же так, возразят мне, ведь то была эпоха «позднего брежневизма», загнивающего авторитаризма, профанации коммунистических лозунгов вообще и Кодекса строителя коммунизма, в частности. – Да, система изживала себя, но не люди. Напротив, их сопротивление, сначала – кухонное, потом диссидентское, а с началом перестройки – уже легальное (неформалы), нарастало. Да, лозунги властью были профанированы, но это вовсе не означало, что они были ложными. Напротив, нормальные, честные люди стали задумываться над тем, как эти лозунги

и принципы реализовать на деле. Неудивительно поэтому, что в среде образованного класса, а он тогда, по разным подсчетам, составлял от двух третей до трех четвертей взрослого населения страны, *сформировались сети доверия, взаимной поддержки и обмена информацией*. А иначе откуда бы сразу после объявления перестройки возникли тысячи дискуссионных клубов и гражданских инициатив по всей стране?

Далее, почему мои оппоненты забывают о законе социального сравнения? Ведь сравниваться могут не только доходы, но и модели поведения. Причем не только сопоставляться, но и распространяться, мигрировать, то есть воспроизводиться. Что и произошло. Другое дело, что «реципиентами» образцов гражданской активности могли быть организации, существующие уже не один десяток лет, как, скажем, Московское общество испытателей природы (МОИП) или Дружины биофака МГУ. Или же – вновь возникающие, и поначалу копирующие образцы крупных городов. Но, заметим, что и в глубокой провинции – спасибо централизованной советской системе – уже существовали ячейки такой активности, будь то местное отделение Общества «Знание» или Всероссийского общества охраны природы (ВООП), которые из элементов официальной структуры очень быстро превратились в ячейки горизонтальных гражданских сетей.

Причем разделение местных инициатив на экологические и другие было весьма относительным в силу тесного переплетения экологических проблем с экономическими и культурными и дефицита всех видов ресурсов (в чем очередной раз проявилась специфика российского менталитета). Например, когда в 1994 г. возник острый конфликт между рабочими и служащими Национального парка Самарская Лука, сотрудники его научного отдела действовали именно как *образованные граждане*, разъясняя местным жителям социальную суть возникшего конфликта: сырьевая компания хотела иметь гравийный карьер в этом национальном парке.

В социологии социальных движений центральным является понятие «структуры политических возможностей» (structure of political opportunities), под которой понимается восприимчивость или неприемлемость политической системой протеста, организованного некоторой группой, находящейся вне институциональной системы данного общества⁴⁷. Для условий перестройки впрямую этот подход не годился: слишком он был «крупен». Поэтому я предложил разделить контекст движений на три уровня: локальный, социально-политический и историко-культурный⁴⁸.

Стабилизация и *укоренение*, то есть стремление к жизни спокойной, безопасной, обустроенной, ожидание «пришествия» наконец, жизни повторяемой, предсказуемой и оседлой – черты первого из них. Накопление некоторого «запаса» жизненных ресурсов (квартира, дачный участок, машина), житейские навыки удовлетворения действительно «постоянно растущих» потребностей посредством механизмов неформального перераспределения (блат, связи) – все это работало на переход к модели потребительского общества. Другая сторона этого первого слоя – *поиск корней*, личных, национально-культурных и политических.

⁴⁷ Цит. по: McAdam D., J. McCarhty and M. Zald. Social Movements, in: Smelser N., ed. Handbook of Sociology, Newbury Park, 1988, P. 699.

⁴⁸ Ianitskii O. Industrialism and Environmentalism: Russia at the Watershed Between Two Cultures. Sociological Research. January–February. Vol. 34. No 1. Pp.48—66.

Мои респонденты, рассказывая о своих общественных начинаниях, неожиданно начинали говорить о поисках семейных архивов, найденных родственниках, живых и ушедших – сестрах милосердия, земских врачах. Для одного было важно, что в их доме собирались «макаренковские среды», для другого – что дед был революционером, третий определился как демократ после тяжелых «кухонных» споров с отцом-сталинистом. Как сказал один из эстонских активистов, «даже среди тех, кто сейчас занялся политической деятельностью, есть люди, занимавшиеся тем же до сорокового года»⁴⁹. Совокупность этих процессов я называю поиском своей *идентичности* и одновременно возрождением «*культуры места*».

Гласность несомненно расширила структуру политических возможностей социального действия, сыграла решающую роль в том, что *экологический протест* стал первой формой протеста *политического*, причем так позже было почти во всех странах Варшавского блока⁵⁰. Конкретные причины? – Скорее всего в этом сошлось несколько обстоятельств: экология, как казалось властям, была наиболее простой сферой «выпуска пара» назревавшего социального напряжения вследствие трех лет ожидания перемен и ухудшения экономической ситуации в 1985–89 гг.. Действительно, власть стала более чувствительной к экологическим требованиям населения, тем более, что на этом можно было быстро заработать политические дивиденды. Успех в 1988 г. массовых акций протеста против строительства каналов Волга-Дон-2 и Волга-Чограй явно показал, что такие акции – серьезное политическое оружие. Поэтому борьба против поворота рек стала одновременно «политическим поворотом»⁵¹. Таков был второй, социально-политический, уровень.

И все же, вопреки мнению некоторых социологов, согласно которому социальное движение есть совокупность повторяющихся и организованных массовых кампаний с единой целью⁵², в СССР эти движения возникали и развивались прежде всего снизу, в социальной среде городов и микрорайонов. Это объясняется практически: локальные проблемы были налицо, ресурсы, человеческие и организационные, имелись в каждом городе, социальный контроль сверху был ослаблен, способы действий (*action repertoire*) – петиции, митинги протеста – уже наработаны. О том, насколько глубоки корни локальных проблем, знали тогда только ученые. Замечу, что сопротивление местных властей было яростным, потому что требования населения непосредственно угрожали статусу и интересам местных чиновников. Что, естественно, усиливало напор протестующих.

Я не случайно акцентирую слово «место». Советский человек был не в состоянии трансформировать Систему. Поэтому он начал с доступного ему – с защиты «места» (*immediate milieu*) – собственного дома, поселка, микрорайона. Не дожидаясь директив «сверху», он начал обустройство своей жизни «снизу»

⁴⁹ Цит. по: Яницкий О.Н. Социальные движения. М., 1991, С. 35–38.

⁵⁰ См. Vari A. and P. Tamas, eds. Environment and Democratic Transition. Policy and Politics in Central and Eastern Europe. Dordrecht, 1993.

⁵¹ Залыгин С.П. Поворот. М., 1987.

⁵² Marwell G. and P. Oliver. Collective Action Theory and Social Movement Research, in: Kreuberg L. (ed.). Research in Social Movements, Conflict and Change, Vol. 7, 1984, Pp. 1–27.

явочным порядком. В общем это была нормальная линия социальной эволюции: от кочевого образа жизни к оседлому, обживанию и самоорганизации. В этом движении немалую роль сыграла так называемая народная дипломатия (культурный обмен между городами-побратимами, туристические поездки делегаций за рубеж, научные конференции, встречи и семинары единственно официально разрешенного тогда международного Движения за мир). Городская культура Западной Европы с ее качествами спокойной, налаженной, во многом самоорганизующейся снизу, хотя и весьма интенсивной повседневной жизни, постепенно проникала в СССР и разрушала мобилизационные стереотипы сознания тоталитарного периода. Несмотря на различие укладов, упомянутое сравнительное исследование⁵³, а также мои собственные интервью, взятые в 1986–89 гг. у местных активистов в Великобритании и Нидерландах, то есть в странах с наиболее развитой низовой демократией, показали, что в их действиях есть много общего с российскими активистами.

Когда на рубеже 1980–90-х гг. возможности для индивидуального выбора резко расширились – можно было идти во власть и политику, становиться публичной фигурой, основывать собственное дело, ехать за границу насовсем или на учебу, зарабатывать деньги, включаться в работу западных фондов в качестве эксперта или посредника или становиться гражданским активистом и т.д. – на короткий период возникла совершенно новая для советского человека проблема: *свободного выбора*. Для общественных движений Запада она, как я уже говорил, именуется проблемой «безбилетника», которого инициаторы или лидеры движения хотят вовлечь в него, хотя он может получить те же выгоды, не являясь его участником⁵⁴.

В наших условиях этот выбор опять же определила соответствующая «порождающая среда», то есть сказалось влияние историко-культурного контекста. Если не брать в расчет тех, кто был уже «запрограммирован» на карьерную лестницу своим социальным положением, например, детей членов советской номенклатуры, то, активизм был присущ всей российской и советской культуре XX века. Но был он разный. Как сказала опытная активистка движения в защиту Байкала, есть два человеческих типа. Первый – «это люди, наделенные огромной амбицией, не соответствующей их способностям, и не нашедших социальной ниши в обществе. Они хотят хорошей карьеры и власти, хотят занять ключевые посты в обществе. Они агрессивны, нахраписты и горлопаны. Второй тип – это люди, понимающие ситуацию и возмущенные несправедливостью, у которых переполнилась чаша терпения и они “пошли в разнос”. Первых, к сожалению, большинство...». Замечу, однако, что те и другие в сумме составляли меньшинство, где-то около 7–8 % дееспособного населения. Остальная его часть оставалась «молчаливым», выжидающим, растерянным.

6. Ресурсы

Теперь – о ресурсах экологического и других движений того периода и способах их мобилизации. В рационально ориентированном, хорошо

⁵³ Deelstra T. and O. Yanitsky. Op cit.

⁵⁴ См. Olson M., Jr. The Logic of Collective Action. Cambridge, MA, 1965. Дискуссию по этой теме см.: Tarrow S. Power in Movements. Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge, MA, 1995, Pp. 14 и след.

структурированном («организационном») западном обществе, где социальные движения действуют в контексте множества ячеек гражданского общества, мобилизация ресурсов представляет собой род хорошо налаженного производства (social movement industry)⁵⁵, где помимо структуры политических возможностей и социальных предпосылок важную роль играет мобилизация денежных средств (fundraising). Население СССР уже много десятилетий пребывало в состоянии перманентной мобилизационной готовности. Но теперь открывалась возможность мобилизации не на далекие цели, а на решение ближайших задач «здесь и сейчас» (свободное волеизъявление, самоуправление, безопасная среда жизни). У большинства социальных движений рассматриваемого периода необходимые им тогда ресурсы – люди, их опыт и знания, их свободное время – были в наличии. Более того, накопившиеся массовые ожидания требовали выхода, реализации. Движения могли использовать и материальные ресурсы (здания, помещения, связь). Они имели доступ в прессу и в меньшей степени на телевидение.

Конечно, соотношение этих ресурсов было разное. Экологическое движение опиралось на существующую структуру движения Дружин охраны природы и местные инициативы, движение самоуправления – на своих сторонников и их ячейки на предприятиях и в микрорайонах, кооперативное – на новые законы и поддержку «красных директоров», краеведения – на местную интеллигенцию, национально-освободительные в республиках – имели серьезную поддержку как властных и теневых структур, так и сети общественных организаций по сохранению памятников истории и культуры в республиках. Так или иначе, поначалу материально-финансовые ресурсы не требовалось мобилизовывать – их просто брали у государства, которое, как выяснялось, имело очень много «запасников». Еще более важно, что оно, слабея, все же обеспечивало всеобщую стабильность – а это также был весьма существенный ресурс для всех коллективных акторов. На местах были также сборы средств по подписке, пожертвования кооперативов, небольшие взносы поступали от официальных общественных организаций.

Мобилизация ресурсов зависела от целей движения и мотивов его участников. Целью интеллигенции были демократизация власти сверху и снизу, неотложные экономические реформы, сохранение многонациональной культуры, безопасность среды обитания – все это на *общее благо*. Интеллигенцию мотивировали энтузиазм, освобождение от страха, возможность самоорганизации жизни, сбережение национальных ресурсов. Это была мобилизация интеллектуального потенциала страны, когда стало очевидно, что не-материальные ресурсы и результаты труда могут быть ценными и политически востребованными ресурсами. Как справедливо отмечается, не все результаты производительной деятельности работников интеллектуального труда «измеряемы в денежной форме, и далеко не всегда их ценность (value) может быть количественно измерена»⁵⁶. Заклучая параграф, замечу, что эта, может быть первая и самая массовая *само*мобилизация граждан и доступных им ресурсов была все же скорее региональной, а не всеобщей. Громадность территории, отраслевая замкнутость и

⁵⁵ McCarthy J. and M. Zald. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology. Vol. 82, 1977, Pp. 1212–1241.

⁵⁶ Иноземцев В.Л. Книгочей. Библиотека современной обществоведческой литературы в рецензиях. М., 2005, С. 38.

национально-культурные различия, невозможность коммуникации on-line, равно как и стремительность происходивших перемен, были непреодолимым препятствием для общенациональной мобилизации. Как и в 1917 г., она была «островной», еще раз косвенно подтвердив тот исторический факт, что страна находится на стадии незавершенной урбанизации-индустриализации. Это была и трагедия лидеров демократически ориентированных движений. Они по сути были интеллектуальным ресурсом перестройки, так как были образованы, инициативны, европейски ориентированы, опирались на советскую «машину» НИОКР, мыслили себя как движители реформ, нового этапа модернизации. Но СССР оставался страной незавершенной индустриализации, опиравшейся прежде всего на производство и экспорт сырьевых ресурсов.

К началу 1990-х гг. в экономике и политической жизни СССР назрел и публично обозначился ряд «поворотных точек», резко изменивших как сами движения, так и их контекст. Ровно 20 лет назад был принят Закон о государственном предприятии, открывший путь к быстрому легальному обогащению «здесь и сейчас» через создание при них кооперативов, причем таким образом, что прибыль оставалась им, а издержки – предприятию. Тем самым открывался путь к обретению материального благополучия, не сходя, так сказать, с рабочего места, без участия в акциях и демонстрациях. Напротив, для гражданских инициатив и новых движений все острее становился вопрос о ресурсах: государственные организации не только более не оказывали им финансовой поддержки, но начали выбрасывать в массовом порядке свой интеллектуальный потенциал буквально на улицу, а личные ресурсы активистов были истощены – надо было идти зарабатывать. Так одним ударом бюрократия победила зарождавшуюся меритократию.

Стабильность, социальный порядок, бывшие ресурсом новых движений, закончились. Начинаясь период хаоса. С моей точки зрения, период массовой «митинговщины» был не формой демократического волеизъявления, а именно первой формой проявления этого хаоса, когда уставшие ждать и отчаявшиеся люди (frustrated) бросались от митинга к митингу в надежде обрести точку опоры. Не случайно героями митингов были не лидеры новых движений, а харизматики, жаждавшие политической популярности. Ситуация усугублялась тем, что общесоюзный политический процесс становился все более отчужденным от жизни массы людей. Тягучее обсуждение нового «союзного договора», решения о силовых акциях в «окраинных» республиках и даже референдум о сохранении Союза фактически были «верхушечными», «вертикальными», поскольку замыкались в узком кругу высшего партийного руководства. «Низы» оставались в растерянности и напряженном ожидании.

Ослабление унифицированного социального порядка, центробежные процессы в национальных республиках сразу выявили глубинные основы цивилизационных и культурных различий между Прибалтикой, «срединной Россией» и республиками Средней Азии⁵⁷. Что четко проявилось в последней сцене драмы эпохи распада: возникновении и исчезновении *народных фронтов*.

⁵⁷ Это еще раз подтвердилось позже. В бытность мою советником Европейского банка реконструкции и развития (1992–94 гг.) им была запущена программа Public Participation Information Initiative. Когда мы двинулись для реализации программы

Сейчас трудно установить, была ли это отвлекающая акция конструкторов этой идеи, или же – действительно последняя попытка «западного» крыла лидеров перестройки перевести этот процесс в действительно демократическое русло. Но то, что это была социальная конструкция, это точно. Мало кто помнит, что полное название этих движений было «народные фронты в поддержку перестройки». Надо отдать должное идеологам и конструкторам народных фронтов. Они, верно оценив ситуацию, разыграли свой сценарий как по нотам. Перестройка пробуксовывала, массовое недовольство росло, не имея экономической программы реформ, центральная власть была в растерянности. И тут, эстонские экономисты и социологи, поддержанные российскими учеными, выдвинули идею хозяйственного расчета. Быстро ее обсудив и конкретизировав, эстонцы (литовские и латвийские активисты вступили на этот путь чуть позже) выдвинули идею «народных фронтов». И не только выдвинули, но приняли исключительные меры по ее пропаганде во всех республиках бывшего СССР. Были специальные эмиссары, которые ездили по республикам и тиражировали программу Народного фронта Эстонии (НФЭ) в качестве образца. Это подтвердили западные социологи, оценившие посткоммунистическое преобразование в республиках Прибалтики как *спроектированный* их реформаторской элитой капитализм⁵⁸.

Идея народного фронта везде была принята на ура: как же, массы наконец вовлекались в конкретное общественное действие, массовое недовольство обретали программу и коллективного актора и т. д. Поначалу, казалось, в этой идее не было никакого сепаратизма, никакого национализма – чисто экономический проект продвижения перестройки. Только не учли советские партократы, что национальный, культурный, политический и пространственный контекст в республиках Прибалтики, РСФСР, Закавказье и среднеазиатских республиках был разный. В Прибалтике большинство коренного населения было мотивировано на восстановление status quo, то есть на возвращение на Запад⁵⁹, чему была масса причин: насильственное присоединение, последующие массовые депортации и аресты, топорная модернизация, нанесящая невосполнимый урон национальной культуре этих народов, ориентация на Запад большей части национальной интеллигенции, в том числе, партийных лидеров, тесные (включая родственные) связи с Финляндией и Швецией и т.д. и т.п. Плюс, что очень важно, личные счета с коммунистическим режимом и личный долг лидеров НФЭ перед своей страной. Шаг за шагом, через массовые мирные митинги и протесты, поправки к конституции, региональные выборы эти лидеры вели свои республики к цели обретения независимости. Не последнюю роль сыграли там социально-пространственные факторы: общая историческая судьба этих трех республик, периферийность их геополитического положения в СССР и компактность проживания. Жители трех республик буквально «взялись за руки», когда надо было продемонстрировать свое единство и решимость. В итоге в Прибалтике в 1988–89 гг. был достигнут желаемый результат – республики обрели

в азиатскую часть РФ, оказалось, что население там часто просто не понимает смысла термина «общественное участие».

⁵⁸ *Offe C.* Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing Triple Transition in East Central Europe. *Social Research*, 1991, (58) 4, P. 877.

⁵⁹ *Lauristin M. and P. Vichalemm.* Return to the Western World. *Cultural and Political Perspectives on the Post-Communist Transition*. Tartu, 1997.

национальный суверенитет, и фронты стали быстро трансформироваться в политические партии и неправительственные организации⁶⁰.

Наконец, об отношении «движения–Запад» (здесь я имею в виду только РФСР/РФ). Они, на мой взгляд, оказались в обоюдном выигрыше. Без поддержки правительственных и частных фондов США, Западной Европы и Японии гражданские инициативы и движения просто не выжили бы. Но и потери были велики: движение демобилизовалось, разбившись на сеть дискретных «проектов». Здесь, проект как *социокультурный модуль* сыграл ключевую роль. Но подробнее об этом ниже.

Итак, это были *новые социальные движения*. Они формировались в порых советской системы, мотивировались и консолидировались не идеологически, а вокруг социальных ценностей – умножения общего блага «здесь и сейчас» в сочетании с разнообразием человеческих интересов, сохранения природы и социального капитала, мира и среды непосредственного обитания, самовыражения и самоуправления, обретения собственных корней. То есть они были *идентично-ориентированными*. Поэтому имеющаяся в отечественной социологии их квалификация как «неформалов» слишком плоская, отражая лишь момент их дистанцированности от официальных структур.

Не «производственные фонды», а знания, житейский опыт, существующие гражданские организации и межгрупповые «горизонтальные» связи были их ресурсом. Это были движения советского среднего класса, во главе которых стояла интеллигенция. Они были европейски ориентированы, но контакты с подобными движениями США и Европы не означали копирования западных образцов, шла постоянная работа по их переосмыслению и развитию собственных. Иначе и быть не могло: слишком уж разный был контекст. Были ли они утопичными? – Скорее, стратегически мыслящими. То, о чем они твердили и за что боролись 20 лет назад, становится вызовом (и риском) сегодня, и от этого никуда не уйти.

Новые социальные движения позднего СССР были продуктом и движителем постепенных эволюционных перемен в условиях растущей открытости общества миру, относительной социальной стабильности и материального достатка. Эти движения, согласно концепции А. Турена⁶¹ и других европейских социологов, могли бы стать мотором социальной модернизации общества и прежде всего трансформации его мировидения (worldview), базовых ценностей. Но времени, стабильности и других ресурсов для созревания этой социальной силы не хватило. А начавшиеся вооруженные конфликты, безработица и бедность, а затем распад СССР лишь на короткое время радикализировали некоторые из них. Потом неизбежно наступил их спад и «отрицательная селекция» (П. Сорокин).

⁶⁰ Насколько плохо понимали (или не хотели понимать) случившееся иные наши официозы видно из следующего. Когда это произошло, я написал для журнала «Новое время» статью под названием «Необходимое послесловие» с описанием развития этой организации, ее ресурсов и т.д. Редакция опубликовала статью в № 14 за 1990 г., переименовав в «Рождение новой силы», что тогда уже совершенно не отвечало политической реальности.

⁶¹ *Touraine A. Le retour de l'acteur*. Paris: Fayard, 1984 (в начале 1990-х гг. в журнале «Коммунист» был опубликован отрывок из этой работы под моей редакцией – О. Ян.).

Здесь снова вернусь к третьему уровню контекста: историко-культурному. Представляется, что критически важным в неуспехе движений была утеря связи времен. Успех или по крайней мере сохранение демократических принципов и экологического (то есть целостного, не-утилитарного) подхода к жизненным ситуациям и конфликтам были там, где еще были живы носители и участники русской культуры XIX века. Я могу назвать некоторые имена: Д.С. Лихачев, А.И. Солженицын, В.Г. Распутин, Ф.Р. Штильмарк. Поэтому в России лишь на короткое время, в частности, наиболее стойким оказалось экологическое движение, которое вдохновлялось или непосредственно опиралось на носителей культуры неистощительного использования природного и культурного ландшафта досоветской эпохи. Самые лучшие принципы без живых носителей нежизнеспособны. Как говорил французский эколог и гуманист Р. Дюбо, «Храните хранителей».

Если посмотреть шире, то короткий период 1987–91 гг. напоминает ситуацию связи целей «выживания и развития» в России начала 1900-х гг. Выживания не в плане физического сохранения, а как установка на удовлетворение основных социальных потребностей, а в нравственном смысле – рефлексии, морального осмысления происходящего в стране и с самой интеллигенцией через развитие огромного числа кружков, самодеятельных и дискуссионных клубов, знаменитых «обедов», газетно-журнальной полемики, равно как и общественной активности ученых и преподавателей университетов (и инженерно-технических вузов тоже), вообще – напряженной общественной деятельности и интеллектуальной работы⁶². Вот только советское студенчество не в пример своим предшественникам в своей массе оставалось инертным.

Вспышка массового движения в форме народных фронтов была не только формой возврата к «инструментальным» движениям эпохи индустриализма, которые в теории получили название «инклюзивных»⁶³, ориентированных на вовлечение максимума участников. Это был также момент истины для инициатив и движений «эксклюзивных», идентично-ориентированных, которые встали перед нелегким выбором: влиться в общий поток с риском утратить идентичность, растворившись в аморфной массе фронтов, или же сохранить ее, но с риском резко сократить свою социальную базу. К чести активистов экологического, самоуправления, жилищного и ряда других движений, их участники, выйдя на защиту Белого Дома в августе 1991 г., затем вернулись к своим профессиональным и социальным делам, сохранив тем самым свои организационные структуры.

Возвращаясь к проблеме Россия–Европа, можно сказать, что по форме позднесоветская культура участия (*public participation*), будучи ориентированной на формы прямой демократии, взаимопомощь и участие, снижение дефицита общения, на использование неизрасходованного человеческого капитала, безвозмездный труд (волонтерство) для создания чистой и безопасной среды своего непосредственного обитания, а также на решение действительно общечеловеческих проблем (обустройство жизни стариков, одиноких и детей и вообще – наведения порядка в повседневной жизни), *была близка к европейской*.

⁶² О том, сколь высок был ее накал в обществе см., например: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995.

⁶³ Kriesi H., R. Coopmans, J. Duvendak and M. Giugni. Op. cit., Pp. 83–88.

Но потом у нас начался распад этого ценнейшего социального капитала, а Запад снова ушел вперед.

7. Разговоры с Марью Лауристин и другими

Социолог, который становится публичным политиком, всегда берет верх над социологом-исследователем. Известно, что с конца 1960-х гг. связи московских, ленинградских и эстонских социологов были очень тесными. На знаменитых встречах в Къярикку под Тарту собирались самые неравнодушные, ищущие. Я также сотрудничал с группой молодых социологов из Таллинского педагогического института (теперь университет), занимавшейся психологией городской среды. Но все же самые тесные связи были именно с Марью Лауристин, которая была душой и лидером всех тех встреч и начинаний. Почему М.Л. занималась тогда преимущественно социологией массовой коммуникаций я понял много позже.

Когда наступила перестройка и М.Л. стала депутатом Съезда народных депутатов СССР и лидером Народного фронта Эстонии (НФЭ), а я погрузился в изучение и консультирование возникавших тогда по всей территории страны гражданских инициатив и общественных движений, мы с М.Л., хотя и реже, но продолжали встречаться и обсуждать ситуацию в стране. Напомню, что полное название упомянутого движения было Народный фронт Эстонии в поддержку перестройки. Тогда мне казалось, что мы движемся в одном направлении – демократизации государства общества и нашей науки. Тем более, что я разделял ее активную гражданскую позицию.

Вот она: «Мы (руководство НФЭ – О.Ян.) стараемся не “опускать” идеи на массы. Мы стараемся формулировать проблемы, которые им уже ясны, а главное – давать им решения. Никакая демократия не возможна без того, чтобы люди стали более рефлексивными, не только единицы, но и та самая “масса”. Люди должны вступать в диалог, а он невозможен без рефлексии... Все у нас в дефиците, но дефицит рефлексии – особый». И – далее: «Вообще, представляется, что в умах московской социологической элиты прочно засели модели, заимствованные из американского общества...Если здесь только хотеть быть Европой или Америкой, то это значит быть ничем. Здесь – Евразия! И тогда надо дать Европе быть Европой и не бояться признать, что ты Евразия. Русский социолог должен осознать свою миссию по отношению к своему народу. Пока этого нет, мои отношения с научной Москвой – никакие. Потому что от нее нет никакого импульса».

А вот еще одно извлечение из нашего диалога. **Я:** «Полтора года назад вы довольно скептически отнеслись к мысли о необходимости изучения общественных инициатив. Сегодня вы – лидер движения. Чем объяснить такую перемену?». **М.Л.:** «Это результат развития. Мы же начинали не на пустом месте, начинали с проблемы фосфоритов. Я бы ею не занималась, если бы не верила, что можно что-то сделать. Потом мы перешли к программе регионального хозрасчета, но занимались ею как ученые. А параллельно развивались другие процессы, и был отчетливо виден выход в политику. Встал вопрос о судьбе республики, о судьбе народа» (Из моего интервью 15.06.1988 г.).

Итак, если социолог в такой переломный момент считает, что у него должна быть миссия, то Лауристин видела ее для себя в восстановлении независимости Эстонии. Кроме того, М.Л. четко определила свою общественную позицию, в которой соединились роли как социолога и публичного политика. Плюс ее личные

счета с коммунистическим режимом и личный долг лидеров НФЭ перед своей страной.

Я акцентирую этот этап своей биографии, потому что 1987 г. был очередной *точкой бифуркации* моего исследовательского интереса и, соответственно, перестройки и развития всей индивидуальной коммуникативной структуры: я все же вошел в сферу публичной политики (точнее сказать, был вовлечен в нее всей своей предшествующей деятельностью). *Активизм как социологическая интенция соединился с активизмом как моим образом жизни*. Перемена не столь радикальная, как состоявшийся ранее переход из архитектуры в социологию, но все же весьма существенная. Если я не эмигрировал, то, у меня был такой выбор: или идти в политику, как это сделали В. Глазычев, Б. Кагарлицкий, Г. Павловский, А. Ципко, В. Шейнис, А. Яблоков и другие, или же – изучать только-только возникающий социальный феномен, что позволяло к тому же участвовать в его становлении (я называю это гуманитарным активизмом научного работника; в западной литературе этот род научной деятельности получил название *advocacy science*). Выбор в пользу последнего был предопределен всем предшествующим личным опытом – семейным, научным, организационным, общественным. Иными словами, я оставался граждански ориентированным исследователем.

Окончание этого этапа маркировано 1991 годом лишь потому, что это был год распада СССР. И естественно многое менялось или, наоборот, укреплялось, о чем будет сказано ниже. Начать с того, что как исследователь я «вошел» в сердцевину изучаемого мною объекта, стал инсайдером. Гражданские инициативы (их тогда называли неформалами) второй половины 1980-х гг. были чрезвычайно интересны своим разнообразием, социальными и культурными корнями, формами социальной организации и политического действия, в общем – всем.

Тогда жизнь призывала к ответственности конкретно и непосредственно. Вот только один случай. Страна уже бурлила, инициативы возникали повсюду, чиновники огрызались. Разрыв между напором «снизу» и явной растерянностью «наверху» мог окончиться открытым столкновением. Что, собственно говоря, уже кое-где и происходило. Нужен были их диалог и какой-то *общий* план действий, потому что тогда еще, в 1985–87 гг., 9/10 лидеров гражданских инициатив апеллировали к власти. Я обратился к академику И.Т. Фролову, тогда главному редактору «Вопросов философии» и недавно избранному члену ЦК КПСС. Он знал меня и по моим публикациям, и как сосед по Ново-Дарьину.

И.Т. предложил сделать несколько публикаций на тему самодеятельности масс в «Коммунисте», журнале, который поддерживал М.С. Горбачева и перестройку. Я опубликовал в нем несколько статей на эту тему, но полагал, как теперь вижу, весьма наивно, что надо бы собрать лидеров этих инициатив и выработать какой-то общий план действий. Люди собрались действительно разные: лидеры движений от Алма-Аты до Таллинна – социологи, журналисты, депутаты, биологи и даже детский психиатр.

Мы собрались, поговорили, и они предложили мне подготовить окончательный текст коллективного доклада для публикации в «Коммунисте». Под его выводами и рекомендациями я могу подписаться и сегодня. Особенно под такими, что самодеятельность – не какая-то «внешняя сила, а живительный фактор демократических преобразований», что «с углублением перестройки все большее число проблем люди захотят и смогут решать сами», что если эти инициативы будут «блокироваться и подавляться, сопровождаясь применением

силы,...то мы получим ушедшую в поры общества оппозицию..., апатию и разочарование, особенно в среде молодежи»⁶⁴.

Но, не побоюсь этого слова, трагедия была в том, что огромный потенциал самостоятельных инициатив в СССР не был востребован властью, и не стал политической силой, с которой эта власть вынуждена была бы считаться. Тут я согласен с классиками, что коренной вопрос революции это вопрос о власти. Пока эти группы выступали за ограничение ее произвола, за «улучшения», власть вяло сопротивлялась. Но как только подошло время выборов местных и городских, а затем и на Съезд народных депутатов СССР, власть встала на дыбы и преградила путь самоорганизации на местах, будь то детский клуб, или политическая партия, особенно партия зеленых или комитет самоуправления. Тем не менее, эта публикация имела прямой эффект.

Через месяц после ее публикации ко мне неожиданно приехали инженеры-шахтеры из Донбасса. Они хотели получить план конкретных действий, основанный на тезисах статьи. Серьезные люди, занятые серьезным делом обратились ко мне как к эксперту – как я мог отказаться? Эти люди поняли, что обращаться к властям бесполезно – они искали совета и защиты у нас «в центре». Не знаю, насколько наш долгий разговор помог им, но для меня это был момент высшего напряжения и *ответственности*. Ответственности профессионала, что резко отличало ту ситуацию, от современных опросов экспертов, которые просто «высказывают мнение, равно как и от полемики «френдов» в интернете. Время перестройки было для меня временем *прямой, непосредственной* ответственности за свои слова и поступки. Ведь научный работник привык к пространственной и временной дистанции: отклик на его труды приходит иногда через много лет и далеко не в форме прямой полемики.

Но тогда, в 1987–89 гг., было иначе. Поэтому я рискнул выступать как эксперт или советник, помогая составлять предвыборные программы местным активистам в ряде районов Москвы. Глядя назад, думаю, что я им был нужен скорее как политическое прикрытие – все же авторитет ИМРД, журнала «Коммунист» да и мой собственный был довольно высок. Но в делах своих районов и округов активисты разбирались куда лучше меня. Я лишь помогал им политически грамотно сформулировать их требования. Потом было еще много встреч с инженерами с Воронежской АЭС, активистами из Рязани, Иркутска, Ярославля и конечно из Москвы и Подмосковья с такими же проблемами и просьбами.

Параллельно развивалась иная форма участия гуманитариев – социальное проектирование. Этим занимались мой коллега В.Л. Глазычев и многие другие. Думаю, что в то время все формы прямого участия научных работников в социальной жизни мест были полезны обеим сторонам. Но все же были и различия. Последователи Г.П. Щедровицкого старались «сломать» сознание рядового советского человека и навязать ему свое видение ситуации. Чисто конструктивистский подход необольшевицкого образца. Работа Глазычева была

⁶⁴ Самодеятельные инициативы. Неформальный взгляд // Коммунист. 1988. № 9. С. 96–106. См. также: *Яницкий О.Н.* Общественные инициативы и самодеятельность масс // Коммунист. 1986. № 8. С. 61–714 *его же:* Отказ от шаблонов, ломка стереотипов // Коммунист. 1987. № 11. С. 74–84.

была основана на гораздо более «мягкой» парадигме соучастия: он и его коллеги старались найти на местах инновативные общественные группы и вместе с ними смоделировать развитие деятельности этих сообществ. На этом их «импульс» заканчивался, что потом приводило подчас к жалобам населения, что их «бросили». Моя позиция была несколько иная: помогать людям только в том, о чем они просили сами. Форсирование событий и тем более его детальное конструирование представлялись мне ошибочными. В этом смысле моя позиция была ближе к позиции М. Лауристин.

8. Интервью длиною в пять лет

Самым увлекательным делом того времени было изучение общественных движений методом глубинных интервью. Движений разных: экологических, историко-культурных (например, краеведческого движения, которое было фактически уничтожено Сталиным) и уже упоминавшихся политических – народных фронтов Прибалтийских республик, России, Интерфронта и других. Это была *совершенно новая социальная реальность*, рождавшаяся буквально на глазах. Она была одновременно и протестной, и креативной. Поэтому для меня этот период сегодня представляется сплошным интервью длиною в пять лет. Конечно, я не успевал за переменами. Конечно, методика была еще примитивной. Но я учился, опять учился! Коллеги-англичане прислали мне фолиант под названием «A Manuel for Interview Making». За три года я провел более 100 глубинных интервью плюс собрал множество других материалов (личных документов, писем, листовок, манифестов). К тому же, все это позволило скомпоновать *хронологию* ключевых событий, связанных с этими движениями. И тем самым оценить построение хроник как инструмента изучения социальной динамики.

Как я говорил, у меня уже был опыт общения с экоактивистами. Но в целом активисты времен перестройки были совершенно новым слоем советского общества. Естественно, он родился не в один день – были в нем и общественники советских времен, и совсем новые люди. Коридор социальных и политических возможностей этих групп стремительно расширялся. Поэтому было чрезвычайно интересно наблюдать, как они изменяются под воздействием происходящих перемен. А это можно было сделать только подолгу общаясь с ними лицом к лицу.

Но не только наблюдать и изучать. Повторюсь, это был период, когда я *особенно был нужен* этим людям. Пока они были инкапсулированы в своих группах (в университетах, творческих союзах, по месту жительства), то есть внутри институциональной структуры советского общества, их знаний и опыта им было достаточно. Но как только они вышли на только-только формируемую публичную арену, им потребовались советники и эксперты, хоть как-то осведомленные об общей структуре и механике жизни общества. О методах и способах «прямой демократии». Эти люди мне доверяли, и это была большая ответственность. Мне помогали мои прежние знания и опыт в области городской социологии: я неплохо знал городскую механику и умел разговаривать на языке «местных» проблем. Пригодился также опыт участия в нескольких экспертизах Госплана СССР.

Может быть именно тогда я до конца осознал, сколь социально значимым феноменом являются *личные архивы*. Ведь тогда архив моей семьи еще не был открыт, я не работал с ним, хотя многие факты из него были мне известны по рукописным биографиям ее членов, сделанных в последние годы жизни моим

отцом. Я уже прочел книгу П. Томпсона “Голос прошлого. Устная история” (1978) и познакомился с ним лично. Но все это до поры до времени находилось на периферии моего сознания и исследовательского интереса. И вот я с удивлением обнаружил, что среди побудительных мотивов ряда моих респондентов к участию в гражданских инициативах есть сугубо личный интерес: поиск своих семейных корней и семейных архивов. Или хотя бы каких-то свидетельств о родных и близких, исчезнувших в годы репрессий и войны.

Этот период был также важен постепенным овладением методом «изучения случая» (case study). Мне кажется, что для условий столь кризисного периода этот метод наиболее адекватен, хотя бы потому, что «случай» в действительности не кончается, а продолжается (в иных формах и на других уровнях) практически неопределенно долго. Этим он отличается от методов, используемых конфликтологией.

Судите сами. В первом же из изучавшихся мною «случаев» – конфликте между местным населением одного из районов Москвы и архитекторами-планировщиками – в действительности было задействовано более десятка акторов: население, группы активистов-общественников, местные управляющие органы, районная власть с ее бесчисленными департаментами, партийная власть района и города, архитекторы, планировщики, пожарники, в общем – вся механика функционирования города, сконцентрированная в некоторой фокальной точке. И, как всегда, корни этого противостояния уходили на десяток лет назад. Теперь представьте себе, каким объемом знаний нужно обладать, чтобы хотя бы понимать, в чем суть конфликта, и каковы возможные пути его разрешения. Сколько интервью взять и какое количество архивов перелопатить, чтобы сформулировать требования людей на языке, понятном профессионалам от городской политики и самим активистам. Могу лишь сказать, что текст с изложением данного «случая», опубликованный в 1991 г. на английском языке в упоминавшейся монографии «Города Европы», пользуется спросом до сих пор (так, преподаватели одного из университетов США используют этот «случай» в своих лекциях по городской политике)⁶⁵.

В целом, данный период был временем максимального расширения исследовательского поля и интенсивного включения (в разных формах) в публичную политику или, если быть более точным, в *неполитическую политику*, используя термин У. Бека. Времени на рефлекссию, на «обособление» почти не оставалось. Думаю, что только мой характер и, в частности, желание больше слушать и меньше говорить, спас меня от соскальзывания в политику вообще.

Хватало ли мне интеллектуальных и физических ресурсов? О теоретических я уже сказал. Что же касается ресурсов материальных, то тогда все еще было доступно и дешево. Кроме того были средства (и накопленный опыт) по реализации упомянутого проекта ЮНЕСКО «Города Европы...». Ресурсом же гражданских инициатив и движений были тогда еще не гранты, а собственные силы и свободное время их участников.

⁶⁵ Yanitsky O. Lefortovo, Moscow: Resolving the Conflict Between Urban Planners and Residents, in: *Deelstra T. and O. Yanitsky*, eds. 1991. *Cities of Europe: The Public's Role in Shaping the Urban Environment*. M., Pp. 356—371.

Я бы сказал, что объем затрачиваемых на полевое исследование ресурсов в серьезной мере зависит от степени доверия между исследователем и респондентом. Конечно, проблема формулирования вопросов и интерпретации полученных данных всегда остается. *Но чем выше уровень доверия между ними, тем искренней ответы последних.* Более того, опыт тех лет показал, что зачастую сами респонденты предлагали варианты ответов на вопросы, поскольку сами были включены в процесс поиска решения конкретной проблемы. А в иных случаях ситуация просто «переворачивалась»: они, активисты, предлагали варианты решений, а мы, эксперты, должны были осмыслить и оценить их. Они были тогда не «опрошенные», а именно активисты.

К тому же, поскольку мы сами были включены в процесс (включенное наблюдение) и поскольку имели массу других способов проконтролировать ответы респондентов (их протоколы, заявления властям, выступления лидеров инициатив на митингах), мы имели возможность контролировать получаемые в ходе интервью ответы. В этом смысле дистанция между исследователем и респондентом была минимальной. И, следовательно, не было необходимости в изощренных методиках, чтобы «подловить» лукавого респондента.

Но доверие порождало другие трудности. По сути дела, поддерживая идеи и дела «неформалов», я был «по их сторону баррикад». То, что их лидеры мне доверяли в ходе долгих интервью, что узнавали я сам в ходе участия в их неформальных встречах и на митингах, я зачастую не имел морального права обнародовать (публиковать, излагать на конференциях). То есть ресурс интеллектуальный и политический накапливался, но он не мог быть пущен в дело. Что, в свою очередь, снижало мои возможности хоть как-то выступать в защиту их интересов. Конечно была дифференциация. Чем больше социолог (или другой интеллектуал) становился публичным политиком, тем выше была вероятность, что он скрывает часть своих мыслей, планов и т.п. Но все же в целом в то время степень доверия к нам, пришедшим к ним на помощь к ним социологам, была очень высока – фактически, они гораздо более считали нас «своими», нежели это было на самом деле.

Заключая, я сказал бы, в этих интервью и бесчисленных разговорах более всего расходовался *ресурс эмоциональный*. Позиция не только включенного наблюдателя, но зачастую и единомышленника, требовала высокого напряжения психических сил. Этот ресурс восполнялся за счет удовлетворенности делом, чувств причастности и востребованности, но все равно это было очень большое напряжение.

Глава 7. Перестройка, 1985–91 гг. (продолжение)

Переход в Институт социологии. – Студенческое и «взрослое» природоохранное движение. – А. Турен и М. Вивьерка: «социологическая интервенция». – Роль социолога: советчик, критик. «Третий лишний»? – Нормальное и мобилизационное исследование. – Размежевание транснационалов и местных. – Публичность социологии прежде всего?

1. Переход в Институт социологии

Переход из распадавшегося ИМРД в Институт проблем занятости Госкомтруда РФ и работа в нем (1991–93 гг.) не оставила серьезного следа – я был увлечен проектом по изучению экологического движения в России, экзамен на понимание происходящих перемен и на владение качественными методами продолжался (о проекте ниже). А вот переход в Институт социологии РАН я воспринял как «возвращение» к своим корням и к любимому делу. Тем более, что тут были уважаемые мною люди Г.С. Батыгин, Ю.Н. Давыдов, В. Д. Патрушев, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов – всех назвать не могу, чтобы никого не обидеть. Здесь было главное: я был среди профессионалов, благожелательных, но готовых мягко разнести в пух и прах мою очередную идею. В Институте был и по сей день сохраняется дух дискуссии, в нем я приобрел много новых друзей, которые раньше просто были для меня «коллегами». Главное, я наконец почувствовал себя в «своей тарелке», и это ощущение сохраняется до сих пор. Могу сказать одно: все прошедшие 15 лет я с удовольствием хожу на работу (конечно, если не слишком часто).

2. Студенческое и «взрослое» природоохранное движение

Здесь я должен начать с еще одного «ресурса», точнее, человеческого капитала, может быть самого важного для меня. Это моя дочь Татьяна Яницкая, которая вот уже 30 лет является для меня советчиком, коммуникатором между мною и многими лидерами движения, но самое главное – критиком и порой очень жестким критиком (в том числе, первой редакции этой книги). Разговаривать с лидерами экологического движения и его активистами – моя профессиональная задача, но далеко не каждый из них был согласен «пробовать на зуб» мои работы, начиная от замыслов и до схем интервью и вопросников, выдерживая при этом дистанцию отстраненного аналитика. Дочь росла как профессионал – углублялось и мое понимание ситуации, сначала в Дружине, а потом в лесной и многих других сферах охраны природы.

Пять книг и наверное не менее полусотни статей я посвятил анализу студенческого природоохранного движения СССР/России, которое существует уже почти 50 лет. В литературе оно чаще известно как Движение дружин охраны природы, или просто Дружинное движение. Западные студенты часто участвуют в подобных акциях и организациях, но чтобы такое движение сохраняло свои идеологию и руководящее ядро именно как движение, воспроизводило свои кадры и действовало на публичной арене почти полвека – такого в истории мирового молодежного движения я не знаю. Я не собираюсь пересказывать здесь его историю и мой критический анализ их стратегии и тактики – они имеются в моих книгах и статьях ⁶⁶, но хотел бы остановиться на четырех вопросах: на социальном

⁶⁶ См. Яницкий О.Н. Социальные движения: сто интервью с лидерами. М., 1991; *его же*: Экологическое движение в России. Критический анализ. М., 1996; *его же*: Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика). Новосибирск, 2002; *его же*: Экологическая культура. Очерки взаимодействия науки и практики. М., 2007; *его же*: Russian Environmentalism: Leading Figures, Facts, Opinions. Moscow, 1993.; *его же*: Russian Greens in a Risk Society. A Structural Analysis. Helsinki, 2000; *его же*: The Value Shift of Russian Greens // International Review of Sociology. 2005, № 2 и другие.

и культурном качестве этого студенческого движения, его идеологии и ценностях, механизмах воспроизводства и в отношениях с моим цехом – социологами, что меня интересовало более всего. Эти вопросы разбросаны по моим публикациям, постараюсь здесь их собрать воедино.

Итак, первое – это социальное и культурное качество движения. Это была молодая советская интеллигенция, порожденная советской школой и советским вузом, точнее их факультетами естественнонаучного профиля. Прежде всего – биологическими, почвенными и географическими. Несмотря на потери, понесенные в ходе репрессий и гонений на естественные науки 1930–40-х гг., включая печально знаменитую дискуссию о положении в биологической науке 1948 г., интеллектуальное, в значительной степени дореволюционное, ядро этого комплекса наук сохранилось в советских вузах. Плюс, те, кто выжил в ссылках и лагерях, но не смог вернуться в столицы, стали работать в научных отделах биостанций и заповедников, превратив их тем самым в гнезда воспроизводства молодых кадров, многие из которых потом шли учиться в столичные университеты. Благодаря сложившимся формам производства научного знания в этой сфере (работа сети биостанций, экспедиции, ежегодная летняя практика студентов, выезды с ними на природу) уже к концу 1960-х гг. сформировалась довольно устойчивая *сеть связей* между столичными вузами и этими ядрами научной и природоохранной работы на местах. То была *сеть интеллигентных людей*, связавшая воедино научную, учебную и общественную работу. Несмотря на пресс лысенковщины, эта сеть транслировала советским студентам культурные коды дореволюционного сообщества русских естествоиспытателей.

В том же направлении работали еще два фактора. Один – это закон социального сравнения: молодежь из глубинки видела как бездумно и навсегда уходят под воду их села и малые города, как разрушается привычный им ландшафт, как пустеют их родные деревни. Второй, тоже выталкивающий. Абитуриентам из глубинки, их родителям и учителям казалось, что в столичных вузах их научат, как справляться с этой бедой, сохранить местные традиции и культуру. В селе, малом рабочем поселке они были в одиночку бессильны – нужна была организация. Несомненно, присутствовал и третий фактор: хотелось убежать от всего этого, обрести в вузе друзей (и семью), а главное – учиться. Сейчас большинство учится для галочки, для того, чтобы обрести желанные корочки, строчку в резюме, приоткрывающие путь в большой мир. А тогда учеба, приобретение знаний были самостоятельной ценностью.

Идеология и ценности. По характеру, личным склонностям к общению с домашними и комнатными животными и растениями, они уже росли как их защитники. *Защитники всего живого, природы.* Сколько раз родители слышат от своих детей: «Не наступай, не ходи здесь, разве ты не видишь, это их (муравьев) дорожки, жилища!» и т.п. В отличие от множества технических вузов, на биологические факультеты шли по большей части осознанно, часто желая продолжать дело своих родителей, дедов. Для них биология была больше, чем школьный «предмет», это была часть их повседневной жизни. Город не был их

желанной стихией. Не меньшую роль в их выборе играли и «антиценности». Биолого-почвенные факультеты были максимально удалены от накачки официальной идеологией. Нет, конечно, марксизм-ленинизм «проходили», как и все, но – не более того. Кроме того, тогда студенты и абитуриенты (а многие поступали по много раз) уже знали, что работа в Дружине освобождает их от ненужных общественных обязанностей. Да, Дружина в борьбе с комсомолом выторговала себе в этом отношении некоторую автономию. Ну и, наконец, свобода. Не просто – вольница, а интересные, подчас захватывающие работа и отдых на природе в компании друзей, спаянной команды, да еще на равных со старшими товарищами. К Дружине прибивались те студенты из малых городов и сел, кому было трудно адаптироваться к столичной жизни.

О механизмах воспроизводства. Глядя исторически, заповедники превращались, по словам С.П. Залыгина, в «архипелаги свободы», старая интеллигенция готовила себе преемников на биологических факультетах, в научных советах АН СССР, клубах молодых биологов, школьных лесничествах. По существу, уже тогда, в 1960-х гг., это была сеть, *сетевое сообщество* единомышленников. Однако никакое сообщество молодых невозможно без повседневно действующей организации. Конечно, главным таким механизмом была учеба: лекции, семинары, экзамены. Но летняя практика и выезды Дружины могли совмещаться. В течение пяти лет учебы моей дочери на биофаке МГУ я мог наблюдать, как Дружина живет и действует. Естественно, в ней было ядро и формальная структура, специализация (программы «Флора», «Фауна», «Выстрел», «Борьба с браконьерством», «Пропаганда» и др.). У каждой программы были свои командир и комиссар, планы выездов (на природу) и т.п. Юность нуждается в организации, а это была *самоорганизация* – самоорганизация молодых образованных людей, хотевших стать профессионалами. Причем с каждым новым приемом в вуз в Дружине происходил «набор–отсев», в результате чего Дружина не только укреплялась, но и транслировала от старших к младшим правила и нормы дружинной жизни.

Так, постепенно, из старших дружинников и преподавателей-кураторов дружины сформировалось то, что я назвал *порождающей средой (engendering milieu) первого порядка*. Потом из «стариков», то есть членов Дружины, уже окончивших институт, но сохранивших с ней связь, постепенно сформировалась *порождающая среда второго порядка*. Причем на этом этапе от Дружины начали отпочковываться (или на ее базе создаваться) самостоятельные организации, из них самая крупная – Социально-экологический Союз. Наконец, возникла и третья порождающая среда, представленная разветвленной сетью уже за пределами Дружины – в офисах, институтах, министерствах, научных отделах заповедников и т.д., – по принципу «У природы везде должны быть свои люди». Конечно, когда в годы перестройки возникли Народные Фронты и масса природоохранных организаций на местах, Дружинному движению пришлось потесниться. Но в конечном счете оно нашло свою «экологическую нишу» и устояло.

Жизнь в Дружине, как правило, определяла последующий «индивидуальный жизненный проект» ее члена. Вот как они говорили об этом *сами*: «Дружина почти полностью сформировала меня как личность. Она дала мне знания, углубленный и направленный интерес к биологии и родственным наукам. Она дала мне деловые качества, жизненную, в том числе физическую закалку, умение работать с людьми, осознание проблем взаимодействия человека и

природы, ориентир для последующей деятельности на службе, массу друзей всех возрастов. Она препятствовала моим карьерным устремлениям, если таковые были, и вычистила из меня “остаточный инфантилизм”. Она также отучила меня отдыхать и отодвинула мою личную жизнь на второй план. Она, наконец, сформировала мою неудовлетворенность тем образом жизни, которым мы, городские жители, живем»⁶⁷ (из интервью Е. Красновой 1989 г.).

Только сегодня, по прошествии полувека, этот «генетический запас» видимо истощился окончательно, и отцы-основатели Студенческого движения охраны природы постепенно заменяются другими людьми.

3. А. Турен и М. Вивьерка: «социологическая интервенция»

В 1991–94 гг. я участвовал в исследовании экологического движения в России, которое было частью большого исследования «Новые социальные движения России». Фактически это было «изучение случая», поскольку мы работали только в Нижнем Новгороде. Однако методом его изучения была «социологическая интервенция», выведившая и нас, и собеседников, активистов различных движений, далеко за пределы проблем данного города.

Я не буду вдаваться в подробности описания этой методики. Ее суть в том, что в течение длительного и интенсивного общения группы социологов (А. Берелович, М. Вивьерка, И. Халий, О. Яницкий) с группой лидеров и участников экологического движения и периодического «вбрасывания» в нее дискуссионных из других гражданских инициатив, а также из государственных организаций *рефлексия* основной группы дискутирующих социологов и активистов по поводу собственной активности и ее контекста все более углублялась. Концентрация и мобилизация *мыслительного процесса* участников шли по нарастающей. Конечной целью такого интенсивного диалога было выявление глубинных мотивов и установок лидеров движения или, иначе, их доминирующего взгляда на мир, а также используемых или предлагаемых ими стратегий и тактик социального действия. Наконец, поскольку в течение этих лет таких встреч было несколько, можно было видеть сопряженное развитие данной группы лидеров и меняющейся экономической и социальной ситуации.

Время и место для такого диалога были выбраны чрезвычайно удачны. Пик демократического подъема только что прошел, СССР распался, и лидеры движения вынуждены были взять тайм-аут и сконцентрироваться на осмыслении сделанного и новой ситуации. В течение нескольких лет они выступали на митингах, боролись с местной властью, писали листовки и воззвания, подвергались гонениям. А здесь, они попали в совершенно другую интеллектуальную и культурную среду, в аудиторию высококлассных профессионалов, где их ждали и готовы были внимательно слушать, обсуждать происходящее с ними и в стране в целом.

Место, тихий пансионат в пригородном лесу Нижнего Новгорода, с прекрасным питанием (что в те годы было немаловажно) давали возможность этим небогатым и уставшим людям перевести дух и чуть-чуть расслабиться. Говорю чуть-чуть, так как сама обстановка и ситуация – их приехали слушать и с ними дискутировать известные французские и русские социологи – скорее

⁶⁷ Цит. по: Яницкий О.Н. Социальные движения: сто интервью с лидерами, С. 81.

мобилизовала активистов. В общем вся обстановка «интервенции» менее всего походила на стандартное заранее спланированное интервьюирование. Тем более не было никакого давления, выкручивания рук – наши прошлые и особенно нынешние методики подчас подходят на допросы из телевизионных сериалов. Здесь же был временами напряженный, но всегда уважительный диалог между активистами и социологами. Было еще одно техническое обстоятельство, которое однако весьма способствовало углубленной рефлексии активистов. Поскольку их ответы или реплики все время переводились на французский, активисты получали некоторое дополнительное время для формулирования своих мыслей.

В итоге, это было одно из самых продуктивных социологических исследований, в котором я когда-либо участвовал. Прежде всего, лидеры и участники этого действия не только «раскрылись» и обосновали свои точки зрения, но и быстро росли в собственных глазах, поскольку проясняли для себя и одновременно для окружающих свою идеологию и политические позиции. Общение лидеров разных инициатив и движений между собой, поначалу скованное и даже «дистанцированное», с каждым разом становилось интенсивнее, взаимно их обогащая. Замечу, что вообще такая концентрация и мобилизация стимулировали последующую эволюцию позиций и взглядов собравшихся там лидеров – этот импульс «социологической интервенции» они еще долго вспоминали. Поскольку там были и чистые природоохранники, и лидеры местных и городских общин, и профсоюзные деятели, важным результатом этого взаимодействия была выработка общего языка общения и некоторого общего взгляда на ситуацию в городе и стране. Мы, социологи, получили уникальный материал для теоретического осмысления и методический инструмент, адаптированный к российским реалиям. Кроме того, мы получили прекрасный урок междисциплинарного, межгруппового и всякого другого «меж» общения. Что касается меня лично, то я еще более укрепился во мнении, что я был в среде не «респондентов», но личностей, коллег по общему делу, хотя и по-разному смотрящих на него. К тому же получился лонгитюд: некоторые мои контакты, обретенные там, продолжались – в форме индивидуальных бесед-интервью – потом более десяти лет. Наконец, это исследование укрепило меня в убеждении, что демократическое движение можно изучать только демократическими методами.

И все же, два соображения я хотел бы высказать. Первое – «социологическая интервенция» была не контекстуальной, но универсалистской методикой. Демократическая по процедуре, она мало (да и не могла) учитывать специфику страны и города, где она применялась. Последующий анализ протоколов наших заседаний показал, что как аудитория (лидеры), так и «вбрасываемые» в нее гости далеко не всегда понимали друг друга – на это требовалось гораздо больше времени и усилий с обеих сторон. Второе – проект был завершен, по нему выполнен ряд публикаций и... его результаты были практически забыты. Насколько я могу судить по публикациям, ни мои коллеги-социологи, ни лидеры инициативных групп и движений на него никогда не ссылались. Хотя, на мой взгляд, это был ценнейший, может быть уникальный материал, поскольку само то время было уникальным.

4. Роль социолога: советчик, критик. «Третий лишний»?

Теперь – самый сложный и болезненный вопрос: их взаимоотношения с нами, социологами. Но сначала некоторые факты. Дружина и выросшее из нее российское экологическое движение, при всей их толерантности к самым разным движениям и группам, была в те годы достаточно закрытой организацией. Тому есть много объяснений: они возникли первыми и организовались, они – профессионалы, которые «знают лучше», причем не просто профессионалы-ученые, а практики, обладающие опытом общения с самыми разными категориями граждан – от милиции до браконьеров. Они – люди, знающие цену опасности и неписанные правила общения с местным населением, потому что несколько их товарищей были убиты в стычках с нарушителями закона. Поэтому они долгое время держались обособленно от других движений и неформальных групп. Я много раз говорил их лидерам об очевидном совпадении их интересов и тактик с другими движениями, например, самоуправления, жилищным или краеведческим, но всегда встречал вежливый, но твердый отказ. Потому ли, что они хотели как можно дольше сохранить свое единство, «братство», как называл его бессменный лидер СоЭСа Свет Забелин? И это при том, что лидеры экологического движения оценивали свои политические способности очень высоко. Когда я спросил Юлию Саяпину, члена руководства СоЭСа, считает ли она, что ее опыт, профессиональный и жизненный, достаточен, чтобы стать политиком национального масштаба, ответ был утвердительным: «Мой опыт и экологические знания позволяют сказать: да. В остальном я могла бы “дорости”». **Ян.**: «Не смущает ли вас, что как <будущему> депутату вам бы пришлось участвовать в решении многих вопросов, далеких от экологии?» – **Ю.С.**: «Нет, не смущает. Вопросами демократизации общества в последнее время я занималась не меньше, чем экологическими» (18 марта 1989 г.). И это было действительно так. В течение 1989–91 гг. многие биологи стали политиками, начиная от местного уровня и до советника президента РФ. Значит, они сами, без помощи социологов или политологов, могли переводить экологическое знание на язык публичной политики вообще и политических решений в частности.

Но почему эоактивисты шли на контакт с социологическими организациями столь неохотно? Причины были самые разные. Активистов слишком часто опрашивали и расспрашивали, ничего не оставляя взамен, кроме ощущения, что их в очередной раз использовали для каких-то «чужих» целей, не имеющих отношения к их трудной работе. Даже если они охотно давали интервью, подспудно они поначалу рассматривали социолога как союзника или по крайней мере советчика, который может помочь решить их неотложные проблемы. Поскольку этого не происходило и поскольку зеленые организации с начала 1990-х гг. стали получать из-за рубежа серьезную финансовую поддержку, они стали заказывать или проводить сами необходимые для их неотложных нужд исследования, а на нас, когда мы стали анализировать их тактику и стратегию для их же пользы, стали смотреть как на «собираателей меда».

Далее, результаты массовых опросов, которые мелькали в СМИ, их просто раздражали, так как эти цифры и факты по большей части были не о них и не об их ситуации в столь разной российской глубинке, а в очередной раз были «средней температурой по госпиталю». К тому же, за 40 лет существования Движения они уже стали многорукими профессионалами, которые действительно «знают лучше» (и общую, и свою конкретную ситуацию), потому что постоянно взаимодействовали со всеми социальными институтами общества, начиная с

судебной системы, бизнес- сообщества и местной администрации и вплоть до школ и вузов. «Они же – в теме, они сидят в процессе», как сказал один адвокат, употребляя привычную ему терминологию. Но они также были публичными политики, а главное *коммуникаторами, посредниками*, потому что были вынуждены работать сразу в разных социальных средах, переводя позиции и требования одних групп интереса на язык других. Социологи только изучали и потом «вещали» на все общество, а они, зеленые, были также и многорукими практиками, *practitioners*, как их называют на Западе.

Но есть и объективные причины слабых наших с ними контактов. Главная их них – цейтнот, хроническая нехватка времени у них. Приведу типичные ответы моих уважаемых коллег-активистов на мое предложение принять участие в 3-ем Всероссийском социологическом конгрессе, ВСК (октябрь 2008 г.): «Уважаемый О.Н., не смогу, не успеваю, так как беспрерывно сидим в судах...» (А.К., С. Петербург). «Спасибо, О.Н., может быть тезисы я напишу, но приехать не смогу, все время – неотложные дела, разъезды и т.п.» (М.Р., Иркутск). Однако тем, кто еще пока доверяет социологам, остро не хватает личного общения с ними, возможности изложить свою точку зрения на локальную ситуацию и послушать, что они скажут об этом.

Показателен «Я-образ» эоактивистов, их видение себя со стороны. Они, как и сто и сто пятьдесят лет назад, прежде всего «люди дела». М. Р. – мне: «Как вы себе представляете смысл моего участия в Конгрессе? Я ведь собственно изучением общества не занимаюсь – только пытаюсь организовать его на собственные дела, иногда описываю это в статьях». Зная М.Р., этого крупнейшего лидера российского экологического движения много лет, могу с полной ответственностью сказать, что ее понимание ситуации в обществе много конкретнее и глубже, нежели у многих из нас, социологов. Именно она и ее коллеги-активисты, опираясь на это понимание, выиграли у государственных или бизнес-структур многолетние тяжбы на арене охраны природы. Тем не менее, М.Р. старается дистанцироваться от социологов.

Но были и такие, которые не приняли моего предложения поучаствовать в 3-ем ВСК по мотивам принципиальным. Д.Л., Экологическая Вахта Сахалина: «Мы тут, посоветовавшись в своем кругу, решили пока никуда не писать» (!). И это при том, что Д.Л. также крупнейший лидер российских зеленых, участвующий во многих международных проектах и публикующийся в российских и зарубежных журналах и интернет-изданиях. Значит, негативизм по отношению к социологам, тем более – московским, имеет под собой глубокую основу. Было над чем задуматься.

По моему ощущению, Москва (как бизнес и административный центр, воплощение власти, столица – все вместе), с точки зрения местных зеленых, нанесла такой урон природе страны и, прежде всего, Сибири и Дальнего Востока, так за последние десятилетия насолила ее защитникам, что они ни с кем из нас не хотят иметь дело. В такой ситуации социологам надо снова и снова завоевывать их доверие, завоевывать публично, а уж потом – рассуждать о границах и формах публичности в этой, чрезвычайно болезненной для них сфере. Публичность без доверия – это скорее пиар, лишь усиливающий отчуждение, нежели форма коммуникации и с лидерами и активистами экологического движения России.

Однако в последние годы российское экологическое движение (и его организации) все более подчиняются тенденциям глобализации и монополизации,

то есть разделяются на локальные (местные и региональные) и глобальные. Первые скорее бедные и продолжают беднеть, вторые – были изначально более богатыми и продолжают богатеть. Первые радикализируются, организуя акции протеста, вторые стремятся «экологизировать» интересы существующих властных и бизнес-структур. Естественно, что первые стремятся найти поддержку у местных органов власти, а также у других организаций гражданского общества (у местного бизнеса, федеральной и региональной общественных палат и др.), на Западе и Востоке, тогда как вторые у больших российских бизнес-структур и богатых международных фондов.

Вследствие такого внутреннего размежевания, «богатые зеленые» заказывают социологические исследования ФОМу, КОМКОНу и другим крупнейшим игрокам на рынке социологической информации, которые используют стандартные методики и собственные опросные сети, тогда как «бедные» ищут независимых экспертов, которые могут вникнуть в их специфические локальные проблемы. Так социальное размежевание в обществе проникает во взаимодействие науки и практики, детерминируя различия в эпистемологии и методиках социологического анализа и формах публичной политики социологов⁶⁸. Снова возникает вопрос: кто есть социолог: изготовитель некоторого «информационного пакета», удобного власти предержащим, который потом можно тиражировать через СМИ, или же профессионал и гражданин, который стремится вникнуть в местную ситуацию (то есть в глокальный конфликт) и довести до «верха» проект решения, который учитывает необходимость сохранения местной экосистемы, независимо от того, является ли она реальным человеческим сообществом или же этот проект представляет собой решение, предлагаемое независимыми экспертами из местного университета для безлюдной (пока!) территории. То есть опять вылезает основное противоречие и конфликт: указ сверху или право голоса снизу.

5. Нормальное и мобилизационное исследование

Наконец, есть еще одна принципиальная грань между членами больших социологических корпораций и независимых социологов-адвокатов. Одно дело – «обычное» (нормализованное, рутинное) исследование проблемы, в которую вовлечено движение, и другое – «мобилизационное», когда конфликт переходит в стадию противостояния (массовая акция протеста, демонстрация, пикет). Массовые опросы населения, как правило, проводятся в спокойном его состоянии, когда оно может дать более или менее адекватную оценку текущей экологической ситуации или предстоящему ее изменению, например, в связи с намечаемым строительством какого-либо промышленного предприятия, отношению к такому проекту населения, роли зеленых в ее предотвращении его негативных последствий и т.п. «Обычное» – это исследование легально и относительно мирно текущей ситуации, то есть когда есть некоторая проблема, но есть и согласие заинтересованных сторон ее обсуждать на существующих легальных площадках и ресурсы для ее разрешения. В этом случае социолог или прогнозирует некоторую ситуацию или

⁶⁸ См. об этом: *Яницкий О.Н.* Производство социально-экологического знания. Политический и культурный аспект // *Общественные науки и современность.* 2006. № 6. С. 138–147.

изучает ее последствия. Объектом такого исследования обычно бывает некоторый «проект» и общественные слушания по его поводу.

В момент острого конфликта социолог со своими анкетами просто не сможет войти в его сердцевину. Обычно это делают журналисты или репортеры (вот почему важно отслеживать их репортажи). *Мобилизационным* я называю исследование, направленное на изучение социального конфликта изнутри. Что обычно выполняется методом «изучения случая», включающим простое и включенное наблюдение, изучение документов, архивов, интернет-коммуникаций, построения хроник событий внутри движения или между ним и его сторонниками и противниками. Согласно Б. Латуру, это скорее именно расследование, а не исследование⁶⁹. В таком конфликте время течет быстрее, оно более спрессовано, и вообще люди и организации себя ведут по-другому, нежели в спокойном состоянии. Мобилизационное исследование может производиться и после разрешения конфликта (акции протеста или др.), но для этого нужна углубленная рефлексия по поводу произошедшего, которая достигается или посредством глубинного интервью с его лидерами и участниками, или же *post factum*, путем анализа человеческих документов, произведенных в период конфликта (протоколов, листовок, интернет-рассылок), и мемуарной литературы.

Если логически продолжить эту линию, то надо посмотреть на «идеальный тип» мобилизационного исследования, *предлагаемый самим движением*. Для мобилизации людских ресурсов (активистов и сторонников) лидеры движения естественно стремятся выявить таковых в своем ареале (и за его пределами). Для этого им не нужны массовые опросы – им нужен метод (прием) эффективного рекрутирования и мобилизации. Конечно, они делают это путем сходов, собраний, почтовых, факс- и интернет-рассылок, воззваний, публикаций в прессе и другими привычными способами. Но в отличие от открытой и доброжелательной атмосферы (контекста) 20-летней давности, сегодня на этом поле разворачивается острая конкуренция за очень дефицитные ресурсы, да еще в условиях корпоративной секретности и информационных войн. Коль скоро – конкуренция и секретность, то и методы рекрутирования и мобилизации становятся иными.

Вот как ситуация выглядит изнутри, с точки зрения местного активиста: «Как известно, сам акт опроса стимулирует интерес к той или иной проблеме, процессу в обществе, явлениям в различных сферах человеческой деятельности. Этим активно пользуются на экологическом “поле”, особенно в тех случаях, когда реализация того или иного проекта не является бесспорно безопасной и для корпорации, и для властных структур, и для жителей региона: например, в том случае, когда крупная корпорация планирует реализацию каких-то проектов в регионе. Особенно очевидными эти приемы становятся в регионах, которые представляют интерес с точки зрения добычи ресурсов или их транспортировки. На этих территориях применяются и отрабатываются различные социально-информационные технологии, имеющие целью сформировать желаемое для застройщика (корпорации или др.) общественное мнение.

Таким образом, складывается ситуация, когда крупная корпорация, имеющая к тому же большие возможности для этого, заказывает анкетирование,

⁶⁹ Latour B. From the World of Science to the World of Research? // Science, 280, 1998. Pp. 208—209.

которое, естественно, ориентируется на интересы корпорации. И корпорация, как правило, получает желаемые ответы. Односторонность таких опросов приводит к тому, что под прессом официальных средств массовой информации, под влиянием административного ресурса, с одной стороны, и определенным образом сформулированных вопросов, с другой, формируется комплекс ответов, желательный для корпорации, но не отражающий реального положения дел. В результате проблема загоняется внутрь, возникают обманутые ожидания, нереализованные надежды и т.д.

В связи с этим возникает необходимость более объективной оценки отношения жителей региона к конфликтным проектам. А для этого методы социологических исследований целесообразно применять в интересах обеих сторон – и сторонников конфликтного проекта, и его противников. Иными словами, необходимо сотрудничество исследователей–социологов с общественными организациями.

В качестве методов решения этой задачи могут быть использованы: разовые или периодические опросы именно среди тех жителей, которые выражают и отстаивают точку зрения, отличную от официальной или лоббируемой корпорациями, а также опросы среди нейтрально настроенных жителей; интервью экспертов и/или специалистов, привлекаемых общественными организациями, отстаивающими другую (альтернативную) позицию по конфликтным проектам – и другие методы социологического исследования, позволяющие более объективно оценить процессы, происходящие в обществе. необходимо сотрудничество исследователей–социологов с общественными организациями. Это позволит более объективно оценивать процессы, происходящие в обществе, и будет способствовать формированию гражданского общества» (из интервью, март 2008 г.).

Например, для общественных слушаний по газопроводу, проектируемому через Горный Алтай, газовая корпорация выложила документы в библиотеках малых городов. Их жители восприняли эти материалы как «книгу для отзывов». Наивно, скажете вы? Да, для «современного» социолога эти отзывы – не аргумент. Но вот что говорит Л.Г. Ионин о роли публичных библиотек в информационном обществе: «Во всем мире первым прибежищем для пользователей информации, доступной для населения, являются публичные библиотеки. Их репутация как в высшей степени фундаментальной опоры тех, кто ищет информацию, непререкаема». А отсюда и роль библиотекаря как «квалифицированного, ответственного и доброжелательного посредника»⁷⁰.

Здесь важны взаимная заинтересованность и *непрерывное* сотрудничество активистов и социологов, которые будут способствовать не только их обоюдному обогащению знаниями и социальными технологиями. Непрерывный диалог есть основа *социальной устойчивости*, которая в свою очередь является предпосылкой устойчивости природно-климатической, биосферной, которая, как уже очевидно сегодня, является все более мощным ограничителем при столкновении геополитических притязаний глобальных, региональных и локальных игроков.

В этой ситуации, во-первых, ключевым критерием для выбора методики мобилизационного исследования является характер социального, точнее

⁷⁰ Ионин Л.Г. Социология в обществе знаний. От эпохи модерна к информационному обществу. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ. 2007. С. 262–263.

экономико-правового, контекста, детали которого обычно не принимаются во внимание теми, кто проектирует и проводит массовые опросы. Если этот контекст благоприятствует публичному обмену мнениями, столкновению точек зрения – одно дело; если же контекст оказывает сопротивление, структура политических возможностей для инициативной группы или движения минимальна, но все же есть легальные рамки для отстаивания ими своих позиций – другое; и, наконец, если контекст полностью враждебен⁷¹, решения «наверху» принимаются без публичного обсуждения или при поддержке «карманных организаций» – это третья, наихудшая не только для движения, но и для социолога, стремящегося понять «какой была на самом деле» ситуация. В последнем случае социологическое исследование должно быть нацелено не столько на выявление «общественного мнения» населения в отношении социально-экологического конфликта, сколько на выявление реальных и потенциальных его участников, на расстановку сил, на мотивы массовой мобилизации. Я согласен с моими европейскими коллегами, считающими, что «поведение» общественных движений и их организаций *в фазе мобилизации и участия в конфликте* весьма продуктивно изучать при помощи фреймов⁷². Фрейм в данном случае – это вербально выраженный мотив, в политическом смысле лозунг, под которым происходит мобилизация на коллективное действие.

Во-вторых, мобилизационное исследование по существу превращается в расследование, то есть в сбор информации относительно действий всех сторон, вовлеченных в конфликт. Значит, действия социолога должны быть «междисциплинарными» и межсекторальными по определению. Конечно, социолог может выступать и в других ролях – исследователя, эксперта или адвоката движения или его организации. Как я уже отмечал, существует несколько степеней вовлечения ученого (социолога) в деятельность НПО⁷³. Но все же главная его роль – «социального следователя». А ему всегда нужны предыстория конфликта, архивы, фигуранты и обстоятельства.

В-третьих, в ходе такого *общественно-научного расследования* постепенно выявляется вся реальная диспозиция социальных сил в отношении проблемы или конфликта, их декларируемые намерения и реальные действия, без детального знания которых невозможно его разрешение или хотя бы смягчение. Как мне удалось показать, внутри «тела» конфликта постоянно идут трансформации, обусловленные изменением обстановки: большой бюрократический круг принятия решений трансформируется в «малый», то есть в круг людей, реально участвующих в конфликте; явные цели прикрываются скрытыми, ложными; сами решения могут быть радикальными (окончательными), «хромающими» и замораживающими конфликт или переносящими его на другой уровень и т.д..

Я не случайно сказал «в ходе», потому что в острой, мобилизационной ситуации социолог вынужден «идти за конфликтом». Поэтому весь применяемый

⁷¹ Yanitsky O. 1999. The Environmental Movement in a Hostile Context. The Case of Russia // International Sociology, 14 (2), pp. 157–172.

⁷² Gerhards Ju. and D. Rucht. 1992. Mesomobilization: Organizing and Framing in Two Protest Campaigns in West Germany // American Journal of Sociology. Vol. 98, pp. 555–595.

⁷³ Яницкий О.Н. Диалог науки и общества // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 86–96.

арсенал социальных методик необходимо дополнять *хроникой конфликта*. Такая хроника позволит позже проанализировать его как шахматную партию вовлеченных в него игроков, реальных и подставных. Но построение хроник конфликта имеет гораздо большую эвристическую ценность: они дают полную «развертку» конфликта во времени и пространстве, фиксирует его латентные и открытые фазы, переломные точки (то есть невозврата), позволяют выявить его основное русло и ответвления, скорость его протекания, вовлечение игроков, ранее к нему, казалось бы никакого отношения не имеющих, построить кривую его течения (пики, спады, «анабиоз») и т.д. Иными словами, всю социальную динамику конфликта. Но самое главное, что хроники дают возможность представить некоторый *конфликт как сетевой процесс*, то есть как сеть реальных и виртуальных позиций и взаимодействий⁷⁴.

В-четвертых, по окончании острой фазы конфликта выявленные в результате такого анализа его участники и их сторонники могут быть вовлечены в спокойный, предметный диалог, где для социолога также сохраняется широкое поле социального действия: он может их просвещать, консультировать, учить технологиям социального действия, участвовать в их собственных дискуссиях и т.д. И, что не менее важно, учиться сам анализировать произошедшее. К сожалению, должен сказать, что серьезные социально-экологические конфликты практически не разрешаются – они обычно переводятся в «замороженное состояние», потери от которого не компенсируются никогда. Всем известный конфликт вокруг БЦБК на Байкале продолжался более полувека.

Очевидно, что столь длительное течение социально-экологического конфликта никак не вписывается в привычную схему социологического исследования: заказ–исследование–результат, начало и конец строго оговорены контрактом. Говоря более широко, социально-экологическое исследование не вписывается в культуру потребительского общества с ее пренебрежением к истории и привычке конструировать жизненное пространство «под себя». Здесь нужны длительные, иногда многолетние наблюдения, никак не соответствующие духу и темпу постмодерна. Вот тут мы и натываемся на *ключевой антагонизм всякого социально-экологического конфликта*: между медленной эволюцией природы и ускоряющейся реконструкцией социума. Значит ли это, что социологи могут идти только *вслед* за конфликтом? К сожалению, не получится: природа уже вносит свои коррективы привычными ей способами: наводнениями, ураганами, засухами, изменением климата, грозящими вселенскими катастрофами.

Еще один вопрос: вот социолог расследует конфликт. А какова роль местного населения, вовлеченного в него? Кто оно: страдающая сторона, сторонний наблюдатель или союзник того, кто нарушил существующее равновесие? В свете сказанного критически важно, чтобы полноправным участником «изучения случая», начиная от разработки методологии и вплоть до участия в сборе социологической информации, была *местная интеллигенция*, в первую очередь ученые, преподаватели и работники учреждений культуры. Важно потому, что они – образованные и заинтересованные граждане, хорошо знающие местную ситуацию и владеющие искусством общения с людьми. Опыт показывает,

⁷⁴ Яницкий О.Н. Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика). Новосибирск, 2002. Глава 9.

что участие местной интеллигенции в подготовке и проведении общественных слушаний на местах или доверительные ответы респондентов на открытые вопросы анкеты дают для понимания сути конфликта много больше, чем стандартный опросный лист.

Как видно из сказанного, «публичность» является не венцом мобилизационного исследования (сначала изучили, потом рассказали), а одним из его начальных этапов. Проблема, конфликт *сначала* должен стать публичным, проявиться как система противостоящих акторов и их связей. И вот когда она «всплывет» на публичную арену (в СМИ или на общественных слушаниях), тогда, кажется, есть смысл подвергать ее детальному социологическому анализу. Однако это только на первый взгляд! Потому что со всех точек зрения гораздо более эффективным является «предварительное расследование» латентной фазы назревающего конфликта. На этой фазе бывает достаточно его выноса его на публику, чтобы он угас. Такой подход гораздо более рационален с точки зрения экономии времени, не говоря уже о том, что он гораздо более дешев и не требует обращения к услугам весьма дорогой и громоздкой «Большой Социологии», когда уже требуется длительный мониторинг конфликта⁷⁵.

Для социолога, тем более «столичного», участие в таком расследовании чрезвычайно полезно поскольку позволяет быть одновременно инсайдером и аутсайдером, видеть ситуацию глобально и локально. Крупнейший специалист в области кросс-культурных исследований Карл Дейч как-то сказал мне, тогда только начинающему экосоциологу: «Помните, чтобы делать сравнительные исследования, ученый должен одинаково хорошо знать культуру и образ жизни обеих стран». Сегодня, когда глобальная (поточная) и локальная (местная) жизнь все более дистанцируются, превращаясь по существу в параллельные миры, живущие однако один за счет другого, чтобы адекватно интерпретировать конфликт между ними, нужно знать их одинаково хорошо.

Тут однако намечается и глокальная коллизия: глобальный стандарт *versus* локальное знание. Например, в 2007 г. сто школьных учителей из разных школ астраханской области под руководством преподавателей и ученых из Астраханского университета и Института географии РАН изучали процессы опустынивания области, их социальные последствия и их восприятие местным населением. Хотя желание сотрудничать с учеными у последних было, их взаимопонимание было далеко от идеала, так как принятые на международном уровне понятия «экосистемных услуг или экосистемных благ» для сельских учителей и тем более для местного сельского населения, еще весьма далекого от европейских рыночных реалий, были им совершенно не понятными. Это мне напомнило ситуацию 25-летней давности, когда проект «Информация и общественное участие», финансируемый Европейским банком реконструкции и развития, в котором я участвовал, вдруг застопорился и был в конечном счете свернут, потому что за Уралом понятие «общественное участие», выработанное европейской политической культурой, просто не работало – там были свои специфические его формы. Вывод все тот же: нельзя культурную рамку, форму,

⁷⁵ Собственно говоря, это и сделали биологи (А.С. Карпов из С. Петербурга), а не социологи, превратив достаточно аморфные общественные слушания в административно-общественные, то есть в тип судебного заседания со строгой процедурой (см. «Выживем вместе. Бюллетень ИСАР». 2006).

фрейм, понятные и привычные для западного человека и общества, налагать на иную действительность.

И все же «отталкивание» социологов активистами продолжалось. Почему? Вроде бы все демократические принципы соблюдены, социологи идут навстречу экологам. Но почему тогда в течение нескольких десятилетий существовало устойчивое неприятие, а временами прямо-таки отталкивание социологов лидерами экологического движения? Почему только совсем недавно, 5–7 лет назад, они стали прибегать к помощи социологов? И к помощи кого именно? Ответы на эти вопросы во многом переворачивают уже привычную нам схему «ученые–экологическое движение», а возможно и парадигму «наука–практике» вообще.

Отталкивали прежде всего потому, что ядром движения была академическая и университетская интеллигенция, познавшая советскую жизнь изнутри, многие «в местах не столь отдаленных». Сторонились потому, что за ними стояли естественные науки, накопившие за добрую сотню лет огромный фактический материал, тогда как советская социология находилась в младенческой стадии. Зеленые долгое время справлялись сами, потому что были профессионалами, а проблемы были столь горячи и очевидны, что обращение к социологам привело бы к недопустимой затяжке времени (минимум на несколько месяцев) с весьма неопределенным результатом, угрожая утерей экологически ценного объекта. В то время зеленые сами могли изучить ситуацию, перевести ее на политический язык и мобилизовать необходимые ресурсы. А также потому, что выходили на публичную арену тоже сами, ни в чьей помощи не нуждаясь.

В перестроечные годы государство нехотя, но худо-бедно предоставляло им публичную площадку в СМИ, вспомним «Прожектор перестройки», – или они создавали ее сами. Более того, сами СМИ, то есть журналисты и, прежде всего из некоторых центральных газет (Комсомольская правда, Литературная, Советская Россия) становились «организаторами и пропагандистами» многих массовых экологических начинаний и кампаний. Наконец, и это очень важно иметь в виду, что зеленые, пройдя к началу перестройки 25-летнюю школу в Движении студенческих дружин охраны природы, в ходе кампании в защиту озера Байкал, были действительными лидерами экологического движения, заслужено ощущали себя таковыми и вполне резонно не хотели никому отдавать это лидерство. Фактически, когда разразилась перестройка, С.И. Забелин, С.П. Залыгин, В.Г. Распутин, Е.А. Шварц уже были публичными фигурами. И это был тогда их важнейший социальный капитал! Совокупность этих обстоятельств выражалась зелеными предельно четко: «Мы, профессионалы, знаем лучше!».

Здесь позволю себе отступление. В последние годы в СМИ была популярна тема одиночного сопротивления» злу, в каком бы обличье оно не выступало: «один против всех». Но и 20 лет назад такие люди были. Вот, например, Маргарита Львовна Моница, пенсионерка, в прошлом горный инженер, защищавшая один из ценнейших историко-культурных ансамблей Москвы – Лефортовский дворец и парк – от прокладки третьего транспортного кольца наружным способом. Непримириемость, настойчивость и профессионализм М.М. стоили усилий сотни людей. Она боролась даже тогда, когда борьба была очевидно неравной. М.М. использовала все возможные средства: писала письма в инстанции, в газеты, в международные организации. Но главными была три вещи. Первая – она одна или с помощью коллег-геологов готовила и рассылала во все властные структуры

экспертные заключения о каждом этапе стройки и добивалась, чтобы эти заключения были зарегистрированы, рассмотрены и подшиты к делу. Вторая – М.М. всегда была на месте производства работ (т.е. проходки кольца) и первая сигнализировала, если технические условия или договоренности нарушались. Третья – она не только постоянно выступала на различных общественных советах, но и готовила обеспокоенных жителей к таким выступлениям. Наконец, М.М. опиралась на помощь других таких же интеллектуалов-энтузиастов, в частности на поддержку научного сотрудника Института истории естествознания и техники РАН, к.б.н. К.Б. Серебровской, лидера группы «Косино-Экополис», у которой хранились все документы по истории 3-го транспортного кольца. Кстати, в деятельности этого сообщества очень много общего с «Левшой» и всем тем, что ее окружало.

6. Размежевание транснационалов и местных

Что же изменилось с началом «нулевых»? За прошедшие 20 лет базовый сциентистский фрейм зеленых («Мы знаем лучше!») вследствие размежевания в самом движении претерпел существенные трансформации, по существу разделившись на два. Большие и богатые эконоНПО, аккумулировав значительный финансовый и профессиональный капитал и одновременно столкнувшись с новыми масштабными экологическими проблемами типа ввоза в страну ядерных отходов, прокладки транснациональных трубопроводов или же добычи нефти на морских шельфах, стали претендовать на политический фрейм: «мы знаем, как делать экологическую политику в стране» или, иначе, возродили старый лозунг: «поможем государству» (а теперь и бизнесу). Я называю их транснационалами.

К кому они стали обращаться? – Естественно к мощным организациям, исследующим общественное мнение (ВЦИОМ, ФОМ), которые способны не только подкрепить их позиции своей авторитетной цифирью (хотя зеленые могли сделать нужные выводы и без них, потому что их постоянными консультантами и советниками были врачи, токсикологи и другие профессионалы), но главное – помочь им вывести их точку зрения на публику, в СМИ. Чего теперь в новой информационной ситуации они уже не могли сделать сами, несмотря на наличие сотен сайтов, интернет-рассылок и зеленой прессы. Транснационалам нужен был мощный рупор, который им могли предоставить только несколько социологических гигантов, ежедневно цитируемых в прессе, телевидении и в интернет-изданиях. То есть транснационалы использовали социологические центры инструментально в прямом смысле – им нужен был *инструмент давления на власть*, а не детальное и долгое расследование социально-экологических проблем страны и регионов как таковых.

Региональные и местные экологические организации, находясь в ситуации тройного давления: со стороны государства, (транс)национальных корпораций и спайки местной «власти–собственности», располагали значительно меньшими ресурсами и степенями политической свободы. К тому же, местное население еще менее, чем столичное, было озабочено экологическими проблемами. Усилиями СМИ потребительская психология была внедрена в самые отдаленные уголки страны. Природные ресурсы, к обладанию которыми стремились все – от транснациональных корпораций и до местного бизнеса – находились здесь, на месте, все проблемы и конфликты сосредоточивались в *конкретных точках географического пространства страны*, а рычагов воздействия на эту тройную

силу у местных зеленых практически не было. Отсюда их апелляция к независимым малым организациям и экспертам. Задача местных зеленых состояла не в том, чтобы определить, какой процент местного населения их поддерживает – это они знали лично и поименно, и не в том, чтобы с помощью социологов оценить последствия нового технологического проекта, будь это трубопровод или АЭС – зеленые всегда работали в связке с экспертами многих наук, от медицины и до глобальной климатологии. Цель «местных» состояла в том, чтобы получить доступ «наверх», в СМИ, в публичную политику и тем самым остановить разрушение среды их обитания. Иными словами, *публичность была их самым дефицитным ресурсом*. Публичное лицо общественного движения вынуждены были формировать сами лидеры движения, а социологи уже много позже просто комментировали происходившие события. Только единицы из «местных», находясь внутри конфликта, способны были прорваться в публичное пространство самостоятельно. Но тогда они скорее играли роль репортера или эксперта, а не исследователя. Таким образом схема действительно переворачивается: *сначала достижение публичности*, а потом использование этого социального капитала (публичного знания) для аналитики и критики.

Так или иначе, чисто академической схемы социально-экологического исследования никак не получалось. Участвуя в изучении (разрешении) социально-экологических конфликтов, равно как и выступая в качестве экспертов при разработке экологических доктрин, программ и проектов, консультируя местные власти или НПО, помогая наладить летние школы и лагеря, ученые выступали в роли общественников. Не в традиционном презрительно «дворовом» смысле, а потому, что работали не на благо корпорации или группы интереса, а некоторого социального субъекта – общественного движения, общины, поселка или общества в целом.

7. Публичность социологии прежде всего?

Остается один вопрос, до сих пор для меня не проясненный. Влезая в сложную сеть переплетения интересов, *не становился ли социолог посредником*, теряя тем самым свою профессиональную идентичность? (я не рассматриваю случай, когда мнение социолога просто покупается одной из сторон). А может быть, в наше жестокое конфликтное время это и есть его главная общественная роль и гражданская долг? То есть его *публичная роль – прежде всего*? Или он должен быть мастером закулисных переговоров? Спрашиваю об этом не случайно, потому что в США, например, уже давно существует отрасль знания и практики на стыке социологии и дипломатии, хотя ее авторы не хотят, чтобы их называли инвайронменталистами⁷⁶. Они именно посредники, переговорщики между различными группами интереса, называя свою работу сплавом искусства и науки. Отечественные защитники природы, может быть за исключением эконоанархистов, уже давно практикуют как посредники и в этом преуспели гораздо больше, чем социологи, стремящиеся ограничить свою публичную функцию экспертными оценками, мастер-классами и публичными лекциями. Да, активисты от экологии были вынуждены освоить роль посредника, чтобы сохранить себя на публичном поле. Ну и что? Что они потеряли? Разве в самой что ни на есть элитарной среде

⁷⁶ Susskind L.E. Environmental Diplomacy. Negotiating More Effective Global Agreements. N.Y.: Oxford University Press. 1994.

мы не слышим постоянно: он – «поэт и переводчик», «критик и переводчик»? Да, между посредником и переводчиком есть разница. Но так ли уж она велика? Просто гораздо комфортнее переводить для себя или друзей, нежели быть посредником на публичной арене. Так или иначе, думаю, что такая перемена труда для социолога – отнюдь не худшая из возможных. А с позиции общего блага – так просто необходимая.

Читатель уже заметил, что исследование общественных инициатив и движений тесно связано в проблемой публичности социологии как института и как инструмента исследования и коммуникации. Я прерву на этом месте тему, а мой общий взгляд на проблему публичности социологии изложу в последней главе. Потому что эта проблема тесно связана с эпистемологией социологического исследования как таковой.

Глава 8. 1990-е гг.: рискология как наука

Концепция «общества всеобщего риска». – Почему рискология столь актуальна сегодня? – От эмпирики – к теории. – Накопление энергии распада и критический случай. – Н.Ф. Наумова: человек в условиях кризиса. – Риск как источник прибыли и предмет торга.

1. Концепция «общества всеобщего риска»

Чем глубже я уходил в изучение экологических проблем, тем больше мне не хватало концепции, их объемлющей. Уже в 1994–95 гг. я показал, что российское общество стоит перед «парадигматическим» выбором: индустриализм или инвайронментализм⁷⁷. В той же работе тип макросоциального контекста был обозначен как одна из ключевых детерминант этого выбора. Что взять, какой конкретно теоретический инструмент использовать для его анализа?

Концепция кризиса, даже всеобщего или системного, меня не удовлетворяла потому, что она не указывала на вектор перемен. То же можно сказать и о конфликте. Кризисы и конфликты случаются и проходят (или замораживаются), но обычно из них общества выходят обновленными. Наша социологическая литература была тогда переполнена катастрофической терминологией: «распад», «агония», «прогрессивный паралич», «бифуркации», «хаос», «астенический синдром», «социальная патология», «взаимоуничтожение», «негативные солидарности», «страхи», «катастрофическое сознание» – этот перечень можно продолжить. Наше общество в начале 1990-х гг. быстро и неуклонно демодернизировалось, распадалось. Значит, оно длительное время *производило риски*, причем такой мощи и повсюду – сверху донизу, от экономики до политики, от идеологии до стереотипов повседневности, – что в совокупности они привели страну на грань небытия. Вот почему я назвал его «обществом всеобщего риска», немало тем самым смутив своих российских и зарубежных коллег.

В моем понимании концепция общества всеобщего риска – это *новый* взгляд на общество, его ценностные ориентиры, социальную структуру, процессы

⁷⁷ *Ianitskii O.* Industrialism and Environmentalism: Russia at the Watershed Between Two Cultures // Sociological Research. 1995. January–February. Vol. 34. No 1. Pp.48–66.

социальных изменений и т. д. и т. п. Взгляд, преодолевающий как сциентизм, так и социальный детерминизм. Предмет рискологии – не риски и их «последствия», не катастрофы, а *общество*, которому имманентно присуще производство, распространение и потребление рисков. Всякое общество чревато риском, но прежде всего – современное, переходящее от стадии простой к высокой (поздней) модернизации. Если еще жестче: предмет рискологии – это самопорождение и функционирование рисков в социальных системах. Самопорождение потому, что человечество в одних случаях не хочет, а в других неспособно думать о последствиях собственной деятельности. У многих просто нет опыта жизни в этом стремительном потоке событий. Отсюда высокомерие и изоляция одних и фрустрация и озлобление других. И в конечном счете – углубляющийся раскол человечества – социальный, конфессиональный, цивилизационный.

Корневые понятия теоретической рискологии – непредсказуемость, неоднозначность, неопределенность и, конечно, обратная связь. Рискология в сущности стремится ответить на тот же вопрос, что и историческая наука: как эволюционирует человеческий мир, почему одни общества и цивилизации развиваются, а другие исчезают с исторической арены. Поэтому, думаю, сам термин «рискология» со временем отомрет, уступив место новому этапу развития теоретической социологии, которому еще нет названия. Впрочем, У.Бек, Э. Гидденс и другие уже давно оперируют понятием «рефлексивная модернизация». Однако, полагаю, этот термин все же узковат для обозначения современной социетальной динамики. Что же касается прикладной рискологии (*risk assessment*), то она будет существовать всегда, поскольку это исчисление риска в заранее заданных пространственно-временных рамках. Прикладная рискология – это инструмент политики, неважно социальной или экологической. Однако глобальный и трудно калькулируемый результат самого что ни на есть локального риска становится все более очевидным. Вспомнив Чернобыль, читатель поймет, о чем я говорю.

Риск, в моем понимании, – не исключительный случай, не «последствие» и не «побочный продукт» процессов общественной жизни. *Риски постоянно производятся* обществом, причем это производство легитимное, осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности общества. Риск, полагает Бек, может быть определен как систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и производимыми процессом модернизации как таковым. Современный риск, в отличие от опасностей прошлых эпох, суть порождение и неустранимый момент мощи современной модернизации и порождаемых ею чувств неуверенности и страха⁷⁸.

«Общество риска» – это фактически новая теория общественного производства. Ее суть в том, что господствовавшая в индустриальном обществе «позитивная» логика общественного производства, заключавшаяся в накоплении и распределении богатства, все более перекрывается «негативной» логикой производства и распространения рисков. Чем более производство рисков будет расширяться, тем быстрее будет происходить обесценение общественного богатства. Речь идет о рисках, которые, как правило, невидимы, неконтролируемы и трудно предсказуемы. Так, последствия глобального потепления, разрывов озонового слоя или предстоящего демографического кризиса очень трудно

⁷⁸ Beck U. Risk Society. Toward a New Modernity. London: SAGE. 1992. P. 45.

поддаются исчислению. К тому же, производство рисков весьма «демократично»: оно создает эффект бумеранга, поражая в конечном счете тех, кто наживался на производстве рисков или же считал себя от них застрахованным. Отсюда другой вывод: производство рисков – мощный *фактор изменения социальной структуры общества*, перестройки его по критерию степени подверженности рискам, в частности, по социально-экологическому критерию.

Существенно изменяется и роль науки в общественной жизни и политике. Дело в том, что большинство рисков, порождаемых успехами модернизации, равно как и «длинными волнами» изменений мировой экономики, не воспринимаются непосредственно органами чувств человека. *Эти риски существуют лишь в форме знания о них*. Отсюда специалисты, ответственные за определение степени рискогенности новых технологий, а также средства массовой информации, распространяющие знания о них, приобретают ключевые социальные и политические позиции в обществе. Следовательно, говорит Бек, «политический потенциал общества риска должен быть проанализирован социологической теорией в терминах производства и распространения знаний о рисках». И далее он делает вывод, имеющий непосредственное отношение к российской политике: риски «*политически рефлексивны*», то есть вызывают к жизни новые политические силы и оказывают влияние на существующие социальные институты общества⁷⁹.

Далее, современное научное знание не может быть использовано непосредственно в политическом процессе. Необходим *перевод* этого знания *на язык политического диалога и решений*. Формируется институт экспертов, который приобретает самодовлеющее политическое значение, поскольку именно эксперты определяют *уровень социально-приемлемого риска* для общества. Разделение общества на экспертов и всех остальных вызывает у населения стойкую реакцию недоверия к науке. В конечном счете, наука как социальный институт разделяется на две: академическую или лабораторную, «пробирочную» (науку фактов) и науку опыта, которая, основываясь на публичных дискуссиях и жизненном опыте рядовых граждан, «раскрывает истинные цели и средства, угрозы и последствия происходящего»⁸⁰.

Еще три положения этой теории представляются мне политически значимыми для России. Во-первых, это пересмотр основополагающей *нормативной модели* общества. Если главным нормативным идеалом прошлых эпох были равенство и социальная справедливость, то (теоретически) нормативный идеал общества риска – безопасность. Естественно, цели достижения равенства и социальной справедливости не исчезают, однако социальный проект общества всеобщего риска имеет явно выраженный защитный характер. Иными словами, система ценностей «неравноправного общества» все более замещается системой ценностей «небезопасного общества», а ориентация на удовлетворения новых потребностей – ориентацией на их самоограничение». Во-вторых, в обществе риска возникают новые общности – общности «жертв рисков», их *солидарность на почве отчужденности и страха* может породить мощную политическую силу. В-третьих, общество риска *политически нестабильно*. Недоверие к существующим политическим институтам и организациям нарастает, не только у нас, но и по всему миру. Эти нестабильность и недоверие закономерно вызывают в обществах

⁷⁹ Beck U. Risk Society. P. 23–24.

⁸⁰ Ibid., P. 15.

поиск точки опоры – «твердой руки». Таким образом, периодический возврат к прошлому, в том числе авторитарному и даже тоталитарному, теоретически не исключен.

Подчеркну, что в западной культуре и социологической традиции, сфокусированных на человеке, с их культом рациональности, постоянными подсчетами приобретений и потерь, оценка риска любых социальных действий является делом не только привычным, но и необходимым. Более того, налаженный рыночный механизм вообще не может существовать без высокой культуры счета, развитой рефлексии по поводу своих и чужих действий. Советская культура была иной. Очевидно, что первая это культура калькуляций, тогда как вторая – культура затрат и заимствований. Далее, первая гораздо более рефлексивна в смысле учета изменения условий социального действия, причем эта рефлексия носит обычно публичный характер. Вторая же скорее реактивна, причем реакция, как правило, имеет келейный, замкнутый характер, вследствие чего не способствует выработке обществом специфических культурных стереотипов, готовящих и адаптирующих его субъектов к действиям в рискогенной среде.

2. Почему рискология столь актуальна сегодня?

Длительное пренебрежение к двойной, созидательно-разрушительной природе общественного производства, исключение проблемы его потенциальной и актуальной рискогенности из сфер государственной политики и научной рефлексии, привело сегодня к тому, что риски и опасности, десятилетиями сбрасываемые в среду обитания и накапливаемые там, стали серьезным препятствием на пути реформирования российского общества. Очень многому в этом плане меня научило общение и знакомство с работами В.М. Лупандина и А.В. Яблокова.

Слово среда следовало бы написать с большой буквы, потому что нет в современном мире деления на среду природную, техногенную и социальную. Только в сугубо аналитических целях можно разделять эти понятия. Иначе, как нашим невниманием к строгости собственно теоретического мышления можно объяснить употребление в трудах социологов и публичных политиков бессмысленного словосочетания «окружающая среда».

Среда конкретного общества всегда обладает некоторым запасом прочности (поглощающей способности), позволяющей аккумулировать «сбрасываемые» в нее риски без изменения принципов ее организации и функционирования. Эту устойчивость среды я называю *несущей способностью*. Перед началом реформ эта способность собственно социальной среды была достаточно высока. Несмотря на импульсы унификации, постоянно исходящие от партийно-государственной машины, эта среда советского общества была к тому времени уже достаточно разнообразной, хорошо структурированной и имевшей несколько степеней социальной защиты (общественные фонды потребления и др.). Однако по мере углубления реформ, два процесса развивались параллельно: «сбросы» рисков в социальную среду росли, а ее несущая способность истощалась вследствие интенсивной эксплуатации ее ресурсов и отсутствии средств для ее воспроизводства. В конце концов эта среда, состоявшая из множества хрупких микромиров межперсональных общностей, идентификаций и солидарностей, соединенных паутиной слабых взаимодействий, рухнула, что имело несколько последствий. Прежде всего социальная среда перестала играть роль поглотителя

рисков. Напротив, интенсивно атомизируясь, она стала источать их во всевозрастающих масштабах. Далее, она стала ресурсом для быстрого распространения старых и формирования новых рискогенных солидарностей (теневых, криминальных и других патогенных структур). К тому же эти асоциальные структуры, используя ресурсы, полученные от процесса конвертирования власти в собственность, стали подчинять своим интересам креативные общности и солидарности, сохранившиеся от прежних времен. Наконец, интенсивное формирование общностей, целиком зависимых от притока ресурсов с Запада и поэтому не укорененных в российской среде, также явилось потенциальным источником рисков.

Вторым стимулом моего интереса к изучению данной проблемы является феномен, названный мною *парадоксом модернизации*. Он заключается в ее «риск-симметрии». Коль скоро российское общество вступило на путь модернизации по западному образцу, его откат назад и даже просто задержка, «стояние» на этом пути чреваты интенсификацией производства рисков. Демодернизация так же рискогенна, как и недостаточно осмысленный переход общества к последующей фазе модернизации. Это – фундаментальная закономерность развития современной цивилизации: чем более мир нашей жизни становится искусственным, рукотворным, тем более он нуждается в профилактике, поддержании его в рабочем состоянии. Это утверждение в равной мере относится к земледелию, индустрии, городскому хозяйству, инфраструктурам жизнеобеспечения, военно-техническим системам и всему остальному. Если же подобная профилактика не осуществляется или осуществляется недостаточно, то источниками рисков становятся не только атомные реакторы и склады химических боеприпасов, но и самые мирные, «бытовые» устройства. Люди начинают погибать от взрывов элеваторов и газопроводов, размораживания отопительных систем, проваливаться в кипяток озер под улицами и тротуарами. Парадокс модернизации всеобщ, ему в равной мере подчинены и гражданские, и военно-технические системы. Более того, производство и ликвидация многих современных средств массового поражения *не симметричны*: специалисты владеют технологиями их создания, но не знают рецептов сколько-нибудь безопасного и одновременно экономически приемлемого способа избавления от них!

Дискуссия, шедшая в российском экспертном сообществе в 1990-е гг. была чрезвычайно показательна. Одни уповали на начавшийся экономический рост, другие его боялись, справедливо полагая, что предельно изношенная российская индустриальная система его не выдержит и породит серию техногенных катастроф. Третьи надеялись на зарубежные инвестиции, забывая при этом, что просто «бросить» старую индустриальную систему никак не удастся. Эта дискуссия есть еще одно публичное подтверждение моего тезиса о «риск-симметрии» современного общества. С теоретической точки зрения, за этой дискуссией стоит идея свободного и неограниченного экономического роста и всегда сопутствующая ей мысль о безразмерности «среды обитания», как бы странно это ни звучало в нынешних условиях всеобщего дефицита.

Между техногенными катастрофами и состоянием общественной морали есть прямая связь. Подавление этики честного и напряженного труда, показуха, стяжательство, атмосфера вседозволенности и всеобщей безответственности, достигшая общенациональных масштабов, есть прямой и непосредственный источник малых и больших катастроф. «Технический порядок», то есть

соблюдение работником технологической дисциплины, и социальный порядок взаимообусловлены и взаимозависимы.

3. От эмпирики – к теории

И все же, меня все время беспокоил вопрос: не является ли введение новых понятий (риски, риск-рефлексия, рефлексивность, энергия распада) в аппарат теоретической социологии своего рода «умножением сущностей», то есть избыточным, излишним?

Возьмем для начала наиболее близкое, казалось бы, понятие – кризиса. Он, несомненно, может трактоваться как результат воздействия многих рисков, равно как и пренебрежения ими. Но кризис – как состояние общества – не раскрывает *механизма* производства рисков. Социальный конфликт как столкновение интересов, результат ошибочных решений и т.п. – это опять же некоторое состояние, результат. Можно конечно говорить о «воспроизводстве» конфликтов некоторой социальной системой и их динамике, однако понятие конфликта не дает возможности раскрыть суть проблемы производства рисков, последнее является гораздо более фундаментальным, если угодно, субстанциональным.

Обратимся теперь к таким фундаментальным понятиям социологии как социальный порядок и социальные изменения. Несомненно, нарушение социального порядка, в особенности революции и другие сдвиги радикального свойства, суть мощные генераторы социальных и иных рисков. И – наоборот, риски, порождаемые и накапливаемые в ходе функционирования некоторой социальной системы, могут провоцировать социальные изменения и геополитические сдвиги. Однако и в этом случае механика производства рисков остается за кадром. «Отклоняющееся поведение», «ценностный вакуум», «отчуждение», «аномия» – эти понятия содержат в себе понятие риска как бы в скрытом, свернутом виде, но содержат именно в качестве подчиненного момента или побочного результата социального действия, а не его всеобщего и неустранимого качества. На этом фоне кажется удивительным, что понятие риска чрезвычайно широко используются в обыденной жизни. Рефлексия индивида, группы, профессионального или территориального сообщества по поводу рисков их собственного поведения или среды обитания является неотъемлемым моментом планирования и структурирования деятельности этих социальных субъектов. В чем же здесь дело?

Во-первых, как представляется, российская социология долгое время была весьма мало озабочена ролью «отходов» общественного производства, равно как и проблемой их социальной «цены». На периферии социологического интереса остался и феномен «позитивного риска», то есть сопряженного с позитивными социальными и экономическими преобразованиями. Это стало очевидным сегодня, когда разразился глобальный кризис. Как справедливо отмечено, финансово-экономический пузырь был выгоден всем, «вне зависимости от общественно-политической формации. Когда же пузырь лопнул, выяснилось, что... бенефициаров у кризиса нет вовсе»⁸¹.

Во-вторых, норма и патология производства рисков изучались обособленно. Фактически предполагалось, что патология всегда может быть конвертирована в

⁸¹ Лукьянов Ф. Мировой пузырь надулся, потому что это было выгодно всем // Коммерсантъ. 26 декабря 2008. С. 9.

норму средствами социальной терапии или же локализована и вытеснена на периферию социального прогресса. Тезис о производстве «негативного элемента» (контрреволюционеры, вредители, саботажники) в ходе «обострения классовой борьбы» принадлежал коммунистической доктрине, но никак не научной социологии. В-третьих, риски и опасности стали восприниматься и осмысливаться как постоянный и неустранимый компонент любой человеческой деятельности только недавно, когда тема пределов развития человеческого общества, налагаемых средой его обитания, встала во весь рост.

Тектонические социальные сдвиги (распад СССР, разрыв сложившихся социальных и экономических связей, изменение форм собственности и политического устройства) побуждали меня к поискам адекватных инструментов их социологической интерпретации. В частности, именно поэтому мне представлялось необходимым ввести термин «энергия социального распада» (о нем – ниже), поскольку научный аппарат современной социологии не позволял в достаточной мере схватить глубину и характер происходивших в России перемен. Эмиссия этой энергии – это не социальная патология какой-то части «здорового» общества, но результат систематического разрушения сложившегося в течение многих десятилетий социального пространства, привычных форм социального порядка и образа жизни⁸².

Вообще, становление рыночного общества (практически в любой его форме) требует не только постоянной калькуляции вложений и потерь, но и способности контролировать и нейтрализовать эмиссию энергии распада. Наличие действительных, а не символических рыночных структур, открывающих новые возможности для «лишних» людей, создание государством и частным капиталом системы институтов, локализирующих риски распада и даже трансформирующих их в формы креативного поведения, – все это необходимые условия для уменьшения рискогенности переходного периода. Наконец, рискологические исследования сегодня стали особо актуальными, потому что Россия столкнулась сегодня с вызовами глобального общества риска. Нынешний мировой финансово-экономический кризис подтверждает мою гипотезу «общества всеобщего риска» и эмиссии энергии распада как его неизбежном следствии.

Пора последовательно изложить *методологические предпосылки*, лежащие в основе моей концепции «общества всеобщего риска»⁸³:

Всякая социальная деятельность имеет двойственную, созидательно-разрушительную природу. Поэтому всеобщность понимается мною как потенциально равные возможности – накопления и растраты, подъема и спада, позитивных и негативных социальных изменений, в конечном счете, эволюции и деволюции. Поскольку риски производятся всеми условиями бытия, а не только

⁸² Яницкий О.Н. Модернизация в России в свете концепции «общества риска» // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии / под ред. Т. Заславской. М.: Интерцентр. 1997. с. 37–47; Yanitsky O. Sustainability and Risk. The Case of Russia // Innovation. The European Journal of Social Sciences. 2000. Vol. 13. № 3. pp. 265–277.

⁸³ Яницкий О.Н. Социология риска. М.: Издательство LVS. 2003. Гл. 2 и 3.

другими социальными фактами (Дюркгейм). Иными словами, концепция общества риска междисциплинарная.

Процессы социального производства и воспроизводства рисков действительно являются всеохватывающими, поскольку они замыкаются через среду – природную, техническую, социальную. Подходы типа «производство–отходы» или «затраты–выпуск» оправданы лишь с чисто утилитарной точки зрения. Производство рисков всеобщее также в том смысле, что оно не только «встроено» в природные и технические системы, но является также *самостоятельным* видом социального производства. Риски могут *социально конструироваться* группами интереса и затем «онтологизироваться» в экономических, политических и других процессах и институтах.

Теоретически, существуют два качественно различных типа переходного общества: созидательный и разрушительный. В обоих из них производство богатства и рисков идут бок о бок. Однако способы этих производств резко различны. Несмотря на риски и опасности, общества созидательного типа осуществляют переход к высокой (не обязательно западного типа) модернизации, наращивают свой творческий потенциал. Общества противоположного типа отмечены прогрессирующей демодернизацией. Расходуя и просто расхищая свой креативный потенциал и ресурсы, необходимые для жизни, подобные общества могут вообще исчезнуть с исторической арены. Тоталитарная система была рискогенна по своей сути, так как была сконструирована искусственно, исходя из утопического социального проекта. Эта система отличалась «генетической» агрессивностью и экспансионизмом, которые оправдывались идеями создания общества справедливости и бесконечного прогресса. Отсюда любые социальные риски трактовались как необходимая плата за этот прогресс. Производство рисков и расхищение природных и интеллектуальных ресурсов было нормой функционирования этой системы. Жизнь в условиях тоталитарной системы сформировала у советских людей стойкое негативное отношение почти к любым переменам «сверху», которые воспринимались как угроза среде их обитания и им самим. Блокируя импульсы социальных изменений снизу, система была построена на принципе тотальной управляемости, что уже чревато риском, но он опасен вдвойне, когда управление представляет совокупность келейных решений, подчиненных некоторым идеологическим принципам.

Наконец, «средовые» риски суть наиболее трудно преодолимое наследство тоталитарной системы. Она удерживалась в устойчивом состоянии путем все новых мобилизаций сил и ресурсов природы и общества. Доктрина «мобилизационного общества», практиковавшаяся в советские времена, имела два следствия. Первое – накопление рисков в среде означало *сокращение ее несущей способности*. Второе – привыкание к жизни в экстремальных условиях, каждодневная борьба за выживание создали в обществе *чрезвычайно высокий уровень социально-приемлемого риска*. Когда катастрофизм становится доминантой общественного сознания, когда безразличие и апатия возрастают, когда, наконец, жизненное пространство воспринимается людьми как непригодное для жизни⁸⁴,

⁸⁴ Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века (по материалам международных исследований) / под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина и В.А. Ядова. М. : Московский научный фонд, 1999.

возникает *порочный круг*: чем выше рискогенность среды, чем больше сил нужно положить на удовлетворение первоочередных (витальных) потребностей, тем менее общество чувствительно к этому угрожающему состоянию.

Итак, с моей точки зрения, российское общество, модернизируясь слишком медленно, все еще сохраняет черты «общества всеобщего риска». Мои аргументы в пользу этого утверждения следующие:

Производство и распространение рисков, одновременно нарастает изнутри и извне общества, поскольку Россия все глубже интегрируется в глобальную финансово-экономическую систему, находящуюся сегодня в глубоком кризисе, и во все более неустойчивую биосферу. Тем самым производство рисков сохраняет всеохватывающий и экстерриториальный характер. Недостаточность институтов социальной защиты означает выделение гигантских масс *энергии распада*. Энергия распада суть массовые действия, разрушающие любой социальный порядок, его нормативно-ценностную и институциональную структуры. Эмпирически эта энергия существует в форме потоков вынужденных переселенцев, беженцев, бездомных, безработных, а также выступает в форме местных войн, криминальных разборок, заказных убийств и актов террора. Отягчающий момент: отсутствие согласия относительно базовых ценностей и целей общества. Его характерными чертами являются всеобщий дефицит доверия, выживание одних за счет других, и всех – за счет природы и богатства, созданного трудом предшествующих поколений. Сама среда жизни, природная и социальная, продолжает превращаться в производителя и распространителя рисков. Негативные «побочные эффекты» прошлой деятельности, аккумулированные в среде обитания, все более определяют настоящее, а производство рисков становится инструментом политической борьбы.

Коль скоро социальный порядок обременен бесконечной чередой больших и малых рисков, риск превращается в норму повседневной жизни. Поэтому *не развитие, а самосохранение* становится главным ориентиром деятельности всех социальных сил, включая государство. Управление превращается в «тушение пожаров», в деятельность по ликвидации аварий и катастроф. Общество, направляя все больше ресурсов на ликвидаторскую деятельность, истощает ресурсы, необходимые для адекватной рефлексии по поводу собственной динамики. Привыкание к жизни в экстремальных условиях затрудняет осознание необходимости поиска иной модели общественного развития.

Российское общество приобрело новый стратификационный признак: оно разделилось на производителей и потребителей рисков. По некоторым подсчетам, сегодня до половины территории страны представляют собой зоны экологического бедствия, населению которых полагаются льготы. Другое измерение того же явления – разделение России на сверхбогатое меньшинство и обнищавшее большинство – социально взрывоопасно само по себе. Но оно опасно дважды, поскольку меньшинство и сегодня во время кризиса понуждает беднеющее население следовать недостижимым для него поведенческим стандартам.

Не наука и высокие технологии, а рынок, легитимный и теневой, детерминируют динамику общества. В ходе реформ наука, оказавшись в самом низу шкалы национальных приоритетов, была политически маргинализирована, лишена каналов публичного диалога с обществом и обречена на прозябание. Кланово-корпоративные структуры обзавелись собственными экспертными службами. В нынешней России нет социальных институтов, которые систематически социально и политически интерпретировали бы для широкой

публики достижения естественных наук. Обществу риска нужны комментаторы текущих катастроф и политических разборок, но никак не аналитики «длинных волн» динамики российского общества.

Культура новой России рискогенна, так как «не успевает» осваивать стремительно меняющуюся ситуацию. Чтобы «успевать» необходима интенсификация процессов *социокультурной рефлексии*, понимаемой как перманентное критическое осмысление меняющейся ситуации и публичный диалог. Даже Чернобыль и другие мега-риски последних десятилетий все еще осваиваются в терминах традиционной культуры – как «беды», «несчастья» и «напасти». Под недостаточной рефлексивностью⁸⁵ я понимаю также медленную трансформацию старых и возникновение новых социальных сил и институтов в ответ на «вызовы» общества риска. Процесс институционального обучения ориентирован главным образом на самосохранение. Заметим, что во все времена одна из главных причин формирования «общества всеобщего риска» и следовавшего за ним распада состояла именно в неспособности правящей элиты к критическому и концептуальному мышлению. Происходит опасный сдвиг к «перемене знака»: борьба с внешними рисками, угрожает вытеснить производство общественного богатства, и его основу – здоровье и интеллектуальный потенциал населения. Есть в этом и другой смысл: блага и бедствия, правое и левое, добро и зло становятся все менее различимы. Как жить в обществе, где патология и норма трудно различимы – вот задача для социологического осмысления. Чем дольше будет продолжаться бег «вверх по лестнице, идущей вниз», тем риски демодернизации, архаизации, утери самостоятельности и национальной идентичности будут выше и дороже.

Особо надо сказать об эмиссии *энергии распада*. Она есть процесс, противоположный мобилизации ресурсов. Если креативное социальное действие требует мобилизации «полезных» ресурсов (людских, финансовых, информационных), то распад есть превращение этих ресурсов и их носителей в «отходы», их рассеивание в среде. Если мобилизация «полезных» ресурсов ведет обычно к повышению уровня организованности общества, то выброс энергии распада есть признак резкого снижения этого уровня, а в пределе – хаотизацию общества.

Эмиссия энергии распада как форма социального риска есть неизбежный продукт социальной динамики всякого общества. Любые его форсированные структурные и функциональные изменения сопровождаются потерями – появлением «ненужных» социальных ячеек и «лишних» людей. Это – обратная сторона любого модернизационного процесса. Однако общество способно контролировать и даже нейтрализовать эту эмиссию. Энергия распада, в частности, может поглощаться рыночными структурами и НПО, постоянно порождающими новые формы креативной деятельности. Вместе с тем, государство создает системы институтов, локализирующих риски распада (в определенных зонах или организациях), поглощающих (системы социальной защиты) и даже трансформирующих их в формы креативного поведения (системы переподготовки, психологической поддержки и т.п.). Особую роль в поглощении или

⁸⁵ Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford, CA: Stanford University Press. 1994.

нейтрализации рисков играет социальная среда. Однако сегодня государство пытается нейтрализовать эмиссию энергии распада путем создания все новых *силовых* структур. Другое средство видится в усилении «вертикали» исполнительной власти и, тем самым, дальнейшем снижении возможностей самоорганизации снизу. Однако инерция прошлого очень сильна. На поверхность социальной жизни все еще продолжают выходить и даже набирают силы традиционные социальные структуры. Отсюда возникает парадокс нашего общества: путь к его модернизации лежит на данном этапе через *демодернизацию* традиционализацию и восстановление политических структур, весьма напоминающих советские времена, поскольку именно они позволяют снизить производство рисков. Почему так происходит станет понятным, если рассмотреть этот процесс исторически.

4. Накопление энергии распада и критический случай

Распад советской системы, с точки зрения концепции общества риска, был предопределен преодолением некоторой совокупности пороговых значений ее сохранения. Во-первых, порога *баланса интересов* между центральным ядром системы и ядрами входивших в нее подсистем. Эту ситуацию можно квалифицировать как *риск утери консенсуса*. Во-вторых, это достижение *порога исполняемости решений*. Исполнительская дисциплина на местах продолжала ухудшаться вплоть до прямого уклонения от следования директивам Центра. В-третьих, происходило наращивание потенциала массовых движений локалистского характера, их перерождения из креативных в *деструктивные*, разрушающие систему. В-четвертых, это достижение *порога сложности* – деградирующая правящая элита Центра не была более способна управлять столь сложным конгломератом, называвшимся Советским Союзом. Все эти процессы вели к накоплению энергии социального распада, которую до поры до времени Центру удавалось нейтрализовать за счет ресурсов социальной и природной среды.

Однако такой способ сдерживания этой эмиссии указывал на главный порок Системы: ее неспособность к самоизменению. Это, в свою очередь, указывало на неспособность ядра системы к *самостоятельному концептуальному мышлению*, эклектическое заимствование западных рецептов и схем. Это также отсутствие интереса властвующей элиты к осмыслению прошлого многонациональной страны. Прошлое проявилось в ином – в крайней дихотомичности мышления («или – или»), в неумении рассчитывать и делать рациональный выбор, в приверженности к чрезвычайно политизированному мышлению, опирающемуся исключительно на данные политических рейтингов и «черный пиар». Такую рефлексию можно назвать также технократической, инструментальной, с полным пренебрежением к ценностной, этической стороне осуществляемых реформ. Рефлексия, присущая правящей элите ельцинской эпохи, была ограниченной и в том смысле, что не создала стратегии существования России в системе глобального миропорядка. «Оборонное» сознание, хотя и несколько трансформировалось, но сохранилось. Необходимость трансформации *самой модели социальных изменений*, позволяющей снизить опасность эмиссии энергии распада, даже не обсуждалась.

Производство рисков имеет свою неумолимую логику развития. Ее предел – состояние, которое я назвал критическим, когда производство рисков как вреда

(потерь, бедствий) является безраздельно господствующим способом социального производства. *Критический случай* есть предельный («идеально-предельный», употребляя терминологию П. Сорокина) случай производства риска именно как массового бедствия – распада государства, конкретного сообщества, гибель людей, разрушение экосистем – в условиях максимальной неопределенности ситуации и перспектив.

Теоретически, *критический случай* я представил следующим образом:

(1) прекращение производства материальных и духовных благ и, следовательно, распад или постепенное перерождение всей совокупности социальных институтов и отношений, связанных с этим процессом. Созидание как основополагающая форма социального действия и, следовательно, как социологическая категория теряет смысл. Коллективные социальные субъекты переключаются на производство средств разрушения и обороны;

(2) чудовищная трансформация института труда. Во все времена мирный (созидательный) труд соседствовал с ратным. Однако в критическом случае фактической целью труда становится разрушение, инструментом – насилие, а результатом – нанесение (частичного или максимального) ущерба. Под категорию «мирного» труда в таком случае попадают заложничество, производство и торговля оружием, наркотиками и «живым товаром», использование рабского труда, производство различных фальсификатов (продуктов питания, алкогольной продукции, лекарств). Такой «мирный» труд порождает в обществе всеобщее недоверие и страх;

(3) под воздействием этих трансформаций в конечном итоге изменяется все: социальный порядок, социальная структура сообщества, уклад повседневной жизни, психология людей, отношение к природе. Поэтому возникающие в этой среде экологические или психические факты должны социологически интерпретироваться и рассматриваться в качестве социальных фактов («я хочу умереть» – социальный факт). Производство рисков не может быть точечным процессом – рано или поздно оно превращается во всеохватывающий. Поэтому геноцид, война, подрывная деятельность, терроризм как массовые действия представляют собой не отдельные акты насилия и даже не их совокупность, но организованное производство рисков, нацеленное на разрушение некоторого социального сообщества;

(4) доминирование производства рисков создает в *критической зоне* специфические пространство и время. Физические расстояния измеряются не скоростью средств коммуникации, а масштабом ожидаемых потерь и, соответственно, ресурсом, необходимым индивиду (группе) для выживания. Риск и порождаемые им страх и всеобщее недоверие детерминируют траекторию, скорость и ритм пространственных перемещений. Например, день и ночь оцениваются уже не как привычные периоды бодрствования и сна, работы и отдыха, а с точки зрения вероятности причинения ущерба и защиты от него, то есть как более или менее опасные «временные коридоры» для выживания;

(5) производство «бедствий» имеет свою логику развития (эффект бумеранга): террор порождает антитеррор, насилие порождает насилие, военные действия – сопротивление и т. д. Однако при длительном развитии критической ситуации в конечном счете складывается некоторое единое «критическое сообщество» (негативный симбиоз) сил внешнего давления, внутреннего сопротивления (защиты, обороны) и страдающих мирных граждан;

(6) феномен двойного риска. В критических зонах производство общественной жизни и социальных ценностей не только минимизируется, но и приобретает архаичные формы (собирачество, натуральный обмен, вынужденное иждивенчество, грабежи, похищение людей, выкуп). Технологии разрушения и нанесения ущерба «противнику» становятся все более изощренными, а орудия разрушительных действий постоянно модернизируются. Возникают институты обучения насилию и разрушению. Еще одна проблема заключается в том, что в обществе риска форма более не соответствует функции – под шапкой организаций созидания (учебных, экспертных, спортивных, развлекательных) может и часто действительно осуществляется накопление разрушительного потенциала;

(7) социальная среда критического сообщества из поглотителя рисков трансформируется в их производителя, от которых страдают все стороны, вовлеченные в конфликт (эскалация враждебности и обучение насилию, похищения людей, скота и домашнего имущества, болезни и эпидемии, страх, психические расстройства и самоубийства). Рискогенная среда выталкивает трудоспособное население, ориентированное на созидательный труд, и, напротив, притягивает криминал во всех его формах. Организация социальной среды целиком детерминирована формами и ритмами «критического случая». Самоорганизация населения принимает специфические формы: сопротивление (партизанская война), посредничество (между враждующими сторонами), криминальный бизнес и создание групп взаимопомощи с целью физического выживания;

(8) трансформируется и социально освоенная среда обитания (природный и техногенный ландшафт). В обществе возникают зоны, непригодные для хозяйства и нормальной жизни из-за перманентной угрозы невосполнимых потерь вследствие вооруженных конфликтов, загрязнения среды или периодических «зачисток». Даже много позже формального установления «мира» (прекращения военных действий или введения миротворческого контингента) обжитые ранее территории превращаются в «мертвые зоны» (земля непригодная для обработки, минные поля, отравленные реки, разрушенные поселения и ирригационные системы);

(9) несмотря на кажущуюся исключительность, «критический случай» подчиняется общим закономерностям функционирования общества риска. «Последствия» разрушительных действий (убитые, пропавшие без вести, раненые, пленные, захваченные в рабство, психически покалеченные, беженцы и переселенцы) никуда не исчезают. Они, представляя собой социальные факты, порождают другие социальные факты, которые в конечном счете производят социальные изменения не только в социальном порядке «критической зоны», но и *обществе в целом*: изменяется политический климат в стране, растут оборонное сознание и милитаристские настроения, возникают новые и радикализируются старые общественные движения, тяжелое бремя ложится на бюджет страны, на институты реабилитации и социальной защиты, деформируется психология молодого поколения. Наконец, эти «последствия» надолго остаются в памяти каждого. Таким образом, «закон бумеранга» У. Бека действителен и здесь.

Выход из «критического случая» всегда долг при том, что прежний уровень жизни и социального порядка никогда не достигается. Как на месте срубленного дуба сначала может вырасти только осина, так и на месте разрушенного социального порядка может возникнуть сообщество, организацией и качеством на порядок ниже. Своего рода социальная сукцессия. Под воздействием

процесса отрицательной селекции, когда в процессе разрушительных действий изменяется качественный состав населения: эмигрируют, дисквалифицируются, болеют, умирают его лучшие элементы и остаются жить и плодиться «худшие». П. Сорокин подчеркивал, что «элементы морально чистые» не выдерживают «раздражений» среды, не могут отказаться от выполнения своего долга, что «усиливает риск гибели таких людей»⁸⁶. «Критический случай» означает невозможность восстановления былого человеческого капитала.

Итак, «критический случай» в терминах социологии есть *гуманитарная катастрофа*, то есть такое состояние (со)общества, когда его институты неспособны самостоятельно поддерживать его жизнедеятельность на минимально допустимом уровне (выживание). Основные характеристики гуманитарной катастрофы: отсутствие производства благ и услуг, голод, болезни, эпидемии, полная социальная и территориальная иммобильность. Сокращающееся и социально деградирующее вследствие названных выше причин человеческое сообщество выживает исключительно благодаря гуманитарной помощи извне.

5. Н.Ф. Наумова о человеке в условиях кризиса

И что же, человек в критической ситуации – только ее заложник, потребитель гуманитарной помощи? Думаю, что не совсем и не всегда. В справедливости этой позиции меня поддерживала Нина Федоровна Наумова, человек острого и неординарного гуманитарного мышления, с моей точки зрения, крупнейший современный русский специалист в области философии и социологии личности. Не хочу употреблять затертых слов о целостном, холистическом подходе, но личность, увиденная только через очки социологии, то есть в рамках дихотомии «адаптация–дезадаптация» – и не личность вовсе. До сих пор с радостью и с сожалением (потому что их было мало) вспоминаю наши вечерние дискуссии у Н.Ф. дома, на Ленинградском проспекте в середине 1980-х гг. Сколько же я потерял драгоценных часов общения с нею только потому, что она была сова, мысль которой разгоралась только к ночи, а я – жаворонок.

В чем суть ее подхода? Н.Ф. ввела в социологию две категории: терпение и молчание. Она показала, что человек не просто «терпит» (катастрофу), то есть внутренне бездействует, «закрылся и стоит на месте». Из поколения в поколение передается «знакомость» новых, прежде всего, кризисных ситуаций. Что позволяет накапливать *опыт жизни в катастрофических условиях*. Тем самым в культуре формируются устойчивые образцы поведения, смысл которых – «стратегический, даже предвосхищающий ответ на запаздывающую модернизацию»⁸⁷. Ранее Н.Ф. высказала еще более сильный тезис: ответы на вызовы цивилизации могут быть не только адекватными, но даже «опережающими». Тем самым, Н.Ф. подвергла сомнению норму традиционной русской культуры: терпение и труд все перетрут. Или, как говорил В. Даль, «терпение исподволь свое возьмет». Это было для меня важно потому, что категории терпения и молчания входили в мою концепцию «общества всеобщего риска». Здесь мы подходим к ключевому моменту моей

⁸⁶ Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994. С. 423–424.

⁸⁷ Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества? М.: Эдиториал УРСС. 1999. С. 18.

трактовки концепции личности. «Между» включением в общество и обособлением от него лежит главное: *внутренняя работа личности* – элемент, который был элиминирован в исследовании страхов в России 1990-х гг. даже таких видных социологов, как В.Н. Шубкин и В.А. Ядов. А ведь Шубкин издал дневник своего репрессированного отца («Дневник словесника») с обширным комментарием, где отчетливо видна как раз эта «внутренняя работа личности», дававшая силы его отцу сопротивляться бюрократической рутине школьного образования предреволюционной эпохи.

Терпение и молчание личности суть индивидуализированные социальные формы выражения традиционного «терпения-напряжения» и «терпения-ожидания», ориентированные на будущие ситуации. То есть терпение и ожидание, терпение и молчание суть не просто структурные элементы индивидуального или группового поведения, но важнейшие креативные составляющие как русской, так и советской культуры. Особо плодотворна была мысль Н.Ф. о *прожективной роли молчания*, которое, по ее мнению, «изначально возникает как гораздо более глубокая и неоднородная реакция на неустойчивость социальной системы, чем адаптация и дезадаптация. Она суть системная, часто *опережающая реакция человека* на некоторую обобщенную социальную опасность. Человек может не понимать, в чем конкретно она заключается, но он уже насторожился и собрался. Вот именно – реакцию обобщенную, то есть «средовую», нерасчлененную на институты и дисциплины. Но откуда же берется эта «прожективная реакция»? Источник только один – индивидуализированная история – прошлая и современная, которая, значит, все же чему-то учит.

Подтверждение идеи о двойственной – адаптивно-прожективной – роли молчания как напряженной внутренней работы личности пришло совсем недавно из уст физика Александра Викторовича Гуревича, академика РАН. После расшифровки генома человека, этого крупнейшего открытия XX века, оказалось, что каждая наша клетка, подобно кольцам дерева, хранит запись всей человеческой истории. Можно предположить, что *существует индивидуальный социокод*, детерминирующий или, скажем мягче, опосредующий всю сложную систему ресурсных и информационных связей человека.

Вывод? – В обществе риска традиционные терпение-ожидание и терпение-покорность не являются адекватными ответами на его вызовы. Прошлый опыт, придававший ценность выжиданию как средству накопления индивидуального ресурса, в этом обществе быстро обесценивается, ведя к фрустрации индивида. Но и протестовать в одиночку тоже невозможно. Поэтому сегодня на первый план выходят терпение и молчание человека как *сосредоточенность, интенсивная рефлексия с целью накопления и мобилизации ресурсов* для выработки планов и структур активного сопротивления угрозам глобализации-унификации. Личность, рефлексирова и обмениваясь информацией, возвышается до понимания необходимости коллективного сопротивления этим угрозам. Как видно, моя точка зрения отличается от того, что говорила мне и писала Наумова. Но я бесконечно благодарен ей за диалог, за указание пути, позволяющего развить мою концепцию первичной экоструктуры и встроить ее в историко-культурный контекст.

6. Риск как источник прибыли и предмет торга

Но вернусь на макроуровень. Обращу внимание, что производство рисков может быть результатом как сознательно разрушающих действий, так и

самораспада некоторой организации (института) вследствие резкого изменения условий ее существования. Однако во всех случаях на начальном этапе выживают архаические социальные структуры. В самом деле, в ходе деструктивных процессов первыми в России деградировали структуры «всеобщего труда» – наука и высокие технологии. За ними последовала индустрия, городская и сельская. Затем – городские и иные социальные и социотехнические структуры. Однако слой *кланово-корпоративных структур*, прежде всего тех, кто владел или имел доступ к источникам сырья, не только сохранился, но значительно расширился.

Последнее наблюдение подтверждает мою гипотезу о том, что производство рисков может быть экономически прибыльным делом или орудием борьбы против политических противников. Так, Чернобыль, аварии с массовыми жертвами в армии и на транспорте, случаи массового террора в Буденновске, Беслане, Москве и других городах использовались антагонистами правящей элиты как средство раскачивания социального порядка в стране. Политические риски (массовые протесты, забастовки, акции гражданского неповиновения), реально существовавшие или инспирированные, использовались кланово-корпоративными структурами для расширения поля своих политических возможностей. Не менее выгодными для главных и местных олигархических структур были ситуации «на грани» риска. Они отвлекали ресурсы общества и государства, предназначенные для стабилизации экономической ситуации и позитивных социальных изменений. Социальные и политические риски – реальные и конструируемые – использовались также этими структурами для выбивания льгот, кредитов и т.п.

Риск таким образом есть *предмет торга* бизнеса с государством. Разрушение некоторой социальной системы с последующей эмиссией энергии распада может в определенных пределах контролироваться. Подтверждение тому «скрытый распад» множества промышленных предприятий страны. Ситуация хорошо известна: производство резко сокращено или остановлено вовсе, часть персонала уволена, другая месяцами не получает зарплаты, но предприятие (организация, институт, больница) как некоторая скорлупа, оболочка сохраняется, в частности, потому, что она является *контейнером* энергии распада, препятствующим ее эмиссии в окружающую социальную среду.

Если мы посмотрим на ситуацию изнутри предприятия, то обнаружим, что распад, как правило, начинается с отказа от ячеек и связей, обеспечивающих модернизацию производства, потом следует отказ от систем, контролирующих выброс отходов в среду. Затем – отказ от социальных инфраструктур, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность персонала, то есть прекращение инвестиций в воспроизводство и накопление «человеческого капитала». Следующий шаг представляет собой селекцию персонала, сначала по «объективным» показателям (пол, возраст, квалификация, состояние здоровья), затем уже по критерию приближенности к управляющему клану. Наконец, это отсечение целых производственных единиц или структурных подразделений. Все это на начальном этапе стимулировало накопление энергии распада и ее трансформацию в формы асоциального поведения.

Выброс негативной социальной энергии после распада СССР есть факт, зафиксированный всеми общественными науками. Это был «взрыв» общества изнутри, неуправляемый выход разрушительной социальной энергии, за которым последовали общее понижение уровня организованности общества и распад его многих социальных ячеек. Менее очевидно, что эта энергия есть «*ползучий риск*» с

трудно контролируемые и плохо прогнозируемые социально-политическими последствиями. Для их устранения (смягчения) «ползучие риски» требуют кооперирования усилий в региональном и планетарном масштабе. В таких случаях интересы российской национальной элиты и международного сообщества, казалось бы, должны совпадать: необходима стабилизация экономического и социального порядка любой ценой.

Однако практика предшествующего периода реформ показывает, что подобная стабилизация чаще всего носила иной характер. Под консервирующей или негативной стабилизацией я подразумеваю разновидность политики, имеющей целью сохранение общества или некоторой его части путем *перехода на более низкий уровень социальной организации*, возврата к ее традиционным формам. Соответственно, тип массового поведения, доминировавший в нашем обществе на протяжении 1990-х гг., был *резистентным, сопротивляющимся*. Его суть – в стремлении сохранять уклад жизни и поведенческие стандарты, присущие до-перестроечным временам. И это – еще одно объяснение сопротивления массы населения социальным изменениям, инициируемым сверху. Обратной стороной медали в той ситуации был феномен *негативной риск-солидарности*⁸⁸, то есть взаимной поддержки производителей и потребителей рисков, которые, несмотря на противоположность их положения и интересов, вынуждены были поддерживать друг друга с целью сохранения своих экономических и социальных позиций.

Сегодня ситуация меняется, но опять же неоднозначно. С одной стороны, государство и наиболее активная часть населения стремятся сблизить внутренние и международные стандарты экономической и социальной практики. С другой, бывшие «негативные солидарности» разрушаются, уступая место социальному протесту, как традиционному (рабочее движение), так и новому (объединения солдатских матерей, бывших военнослужащих, родителей против наркотиков и др.). В общем и целом, по моему глубокому убеждению, «догоняющей» или «рецидивирующей»⁸⁹ модернизации в России до сих пор нет. Нет даже проекта такой модернизации, не говоря уже о ее идеологии. Есть очевидные результаты по стабилизации текущей ситуации, связанной с мировым кризисом. Но есть и другое, что сегодня эксперты обозначают как «феномен года X», когда в одной временной точке сойдутся разные ветви нисходящего демографического, социального и технического развития общества.

Можно ли переломить эту (все еще) негативную динамику? Социальные процессы достаточно инерционны, и поэтому было бы амбициозным давать рецепты конкретных решений. Данная выше интерпретация предшествующей динамики российского общества, естественно, не единственная. Но она обладает тем преимуществом, что позволяет свести в рамках одной концепции разделенные ранее в социологической теории и практической политике «прогрессивное развитие» и его «негативные последствия». И, тем самым, увеличить теоретический ресурс российской социологии. Риски, страхи, катастрофы могут и должны быть осмыслены в рамках общесоциологической концепции динамики российской действительности.

⁸⁸ Яницкий О.Н. Риск-солидарности: российская версия // Интер. 2004. № 2–3. С. 52–62.

⁸⁹ Наумова Н.Ф. Цит.ист.

В заключение совсем о другом. С определенного времени друзья и коллеги стали отмечать «эмоциональный накал», моих текстов и выступлений. Так по крайней мере они его называли. Да и во время выступлений за рубежом, например, в 1998 г. в Гамбурге, на региональном заседании Балтийского отделения Римского клуба я почувствовал, что притягиваю аудиторию не только содержанием доклада, но и манерой его произнесения. Другие говорили, что я хорошо формулирую свои мысли, причем в достаточно лаконичной форме. Что ж, вероятно со стороны видней.

Возможно, это была со временем проявившаяся черта характера. Моя философия жизни состоит в том, что люди, как правило, не меняются – они лишь с течением жизни проявляются. Но главная причина в другом: этот «накал» был результатом прорвавшегося во вне моего недовольства нежеланием зарубежных коллег глубоко вникать в специфику российского рискогенного контекста. Наверное подсознательно мне всегда хотелось чтобы они, такие респектабельные и благополучные, хоть на минуту влезли бы в шкуру рядового жителя российской глубинки. Наконец, это могло быть проявлением копившегося годами разочарования в разрыве между желаемым и действительным, между владением европейским профессиональным инструментарием и трудностью его адаптации к нашим условиям. Прочитую еще раз Наумову: «Та реальность, которую изучает американская социология, – наиболее далекая от нас социальная реальность, это становится все яснее. Европейская нам ближе, но тут мы опять ничего не знаем... Очень многие, ориентируясь на американскую социологию, исходили из того, что если мы ее хорошо освоим, то больше нам ничего не нужно. Но совершенно очевидно, что это была тупиковая позиция в научном смысле... Но наша-то реальность – это не просто страновое различие. У нас другая цивилизация, в самом фундаменте – другое»⁹⁰.

Глава 9. 1993–99 гг.: русские европейцы?

Дефолт 1998 г. и российские зеленые. – Изучаю сети российской экополитики. Сотрудничество с Х.П. Кризи. – Вестернизация российского экологического движения: приобретения и потери. – Русский европеец в ситуации раздвоенности. – Активизм против науки. – Политическая маргинализация. – Человек или матрица?

1. Дефолт 1998 г. и российские зеленые

В предыдущей главе я отвлекся от хронологического изложения жизненной канвы, потому что считал и считаю рискологический подход к изучению социальной реальности критически важным. А «события» текли своим чередом: в 1993 г. вышла моя книга «Российский инвайронментализм: факты, мнения, лидеры»⁹¹, в которой я продолжил изучение движения в лицах. В 1995 г. состоялся мой визит в США в Массачусетский технологический институт с докладом о

⁹⁰ Наумова Н.Ф. Мне трижды повезло // Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах // отв. ред. и предисл. Г.С. Батыгин. СПб.: Русский гуманитарный институт, 1999, С.305–307.

⁹¹ Yanitsky O. Russian Environmentalism..., Moscow. 1993.

результатах этого исследования, а затем начался трехлетний российско-швейцарский проект с Х.П. Кризи, ведущим европейским социологом в области сравнительного анализа политических и социальных движений, по изучению российской региональной экологической политики. Проект не менее интересный, чем предыдущий с А. Туреном, потому что, с одной стороны, предшествующие ему годы были пиком гражданского участия в экологической политике, а с другой, я был к новому проекту гораздо лучше подготовлен. Но начну с дефолта 1998 г., который был не чем иным, как фактическим подтверждением только что изложенной концепции общества всеобщего риска.

В сентябре того года я провел телефонный опрос лидеров движения и экспертов в области экологической политики. Три вопроса были ключевыми: (1) как нынешний финансово-экономический и политический кризис повлиял на состояние окружающей среды, (2) угрожает ли он существованию самих эконоНПО и (3) что необходимо предпринять, чтобы сохранить потенциал российского экологического движения. Было опрошено 80 экспертов из больших и малых городов страны, а также несколько специалистов из ближнего и дальнего зарубежья.

Хотя продолжающийся спад производства ведет к некоторому снижению давления на окружающую среду, нынешний кризис (т.е. 1998 г.) принесет ей серьезный урон – таково было мнение большинства респондентов. Во-первых, сокращение загрязнения не было пропорционально спаду производства. Во-вторых, несомненно усилился соблазн властных структур преодолевать последствия кризиса за счет усиленной эксплуатации природных ресурсов. Экспорт леса, нефти и других природных ресурсов увеличится. Будут заморожены все государственные программы оздоровления среды, все инвестиции в охрану природы прекратятся, региональные экологические фонды опустеют. Резко упадет уровень экологической безопасности: как, например, можно соблюдать технологическую дисциплину, если персонал АЭС будет бастовать? По мнению большинства экспертов, любые чрезвычайные меры в экономике, равно как и политический кризис, ведут к тому, что защита среды обитания оказывается в самом низу шкалы национальных приоритетов, а морально-этические ограничения снимаются.

Менеджеры-профессионалы указали, что политическая нестабильность резко снизит контроль за состоянием рискогенных объектов. Западные эксперты полагали, что возврат к централизованной экономике в целом негативно скажется на состоянии среды. Российские эксперты-экономисты отметили, что принимаемые меры могут привести к оживлению ряда «грязных» отечественных производств. Кроме того подчеркнули, что последствием нынешнего кризиса будет еще большая «регионализация» России: наибольший урон понесут ресурсодобывающие регионы. Наконец, загрязнение вследствие износа основных фондов будет нарастать независимо от финансового кризиса и политических событий. В целом большинство экспертов было убеждено, что дефолт сломал начавшую складываться новую структуру охраны природы в стране и управления природопользованием, отбросив их к состоянию, в котором они пребывали в самом начале 1990-х гг.

На этом пессимистическом фоне контрастно выглядело мнение лидеров мелких, удаленных от эпицентра кризиса эконоНПО, которые продолжали, несмотря ни на что, добиваться хотя и локальных, но ощутимых успехов в охране среды

своего непосредственного обитания. Как правило, это были организации местных жителей, прежде всего ветеранов и пенсионеров, которые продолжали свою подвижническую деятельность вопреки большим и малым кризисам.

По второму вопросу – о влиянии кризиса на российское экологическое движение – мнения экспертов резко разошлись. Одно размежевание всецело зависело от источника ресурсов экоНПО. Лидеры крупнейших российских НПО больше всего опасались, не прекратится ли уже ставшая им привычной финансовая помощь Запада, хотя проблема исчерпания этого источника финансовых ресурсов дискутировалась в движении уже давно. Те, кто уже много лет «сидел на игле» западной помощи, естественно, расценил дефолт как прямую угрозу существованию их организаций. Как сказал один эксперт, ради сохранения западной помощи мы готовы на все, вплоть до перевода штаб-квартиры нашей организации в другую страну. Беспокоились и те, кто работал по заказам местных администраций. Если раньше они выделяли какие-то средства на экологические проекты, скажем, «под выборы» или из соображений личной политической карьеры, то теперь им не до экологических презентаций. В целом, чем ближе по характеру деятельность зеленых была к некоммерческим организациям, тем выше был уровень их обеспокоенности последствиями финансового кризиса.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что наибольшему риску будут подвержены экоНПО среднего масштаба, работающие по принципу «один грант – один проект». Те НПО, источники ресурсов которых были диверсифицированы, чувствовали себя гораздо более защищенными. Еще один тревожный прогноз тех лет: вследствие дефолта тенденция к превращению экологических организаций в научные лаборатории усилится. Иными словами, они рискуют потерять свое гражданское лицо.

Радикальные экологические организации оказались менее подвержены финансовому кризису, поскольку они были гораздо менее зависимы от западной помощи: «Каждая акция для нас – это отдельная организационная и финансовая проблема, которую мы решаем исходя из конкретной ситуации, но всегда опираясь на поддержку рядовых граждан и наших единомышленников, где бы они ни находились». Эксперты из числа российских экологов и политизированных экоНПО полагали, что дефолт должен возродить интерес экологов к политике, иначе их организации могут оказаться неготовыми к действиям в новой политической ситуации – имелся в виду не только еще не сформировавшийся правительственный курс, но и большая отчужденность населения, которому было не до экологии. Косвенно этот вывод подтвердился возобновившимися попытками крупнейших экоНПО России выработать в преддверии грядущих парламентских и президентских выборов (1999 г.) согласованную политическую платформу.

Вместе с тем, политически ориентированные лидеры, опираясь на опыт кризиса рубежа 1990-х годов, прогнозировали всплеск интереса населения к состоянию среды своего обитания, но уже с совершенно иной мотивацией: как выживать? В связи с этим высказывалось и другое предположение: о возможном сближении зеленого движения с родственными ему организациями (жилищными, женскими, потребителей), с одной стороны, и с правозащитным движением, с другой. Интересно, что в пользу подобного альянса высказались некоторые эксперты, занятые проблемами малых народов Севера России. Лидеры профессионально ориентированных организаций, занятые экспертизой и консалтингом, сочли, что дефолт их не коснется. Их беспокоило другое:

постепенно расширяющаяся сфера секретности, в особенности в отсутствие четко определенных законом границ между открытой и закрытой экологической информацией. Наконец, местные активисты-общественники утверждали, что они работали и должны работать в любых условиях, несмотря ни на что: «Как в начале перестройки, так и сегодня, мы работаем не за гранты (их у нас никогда не было), а по чувству долга. И не можем иначе. Если мы что-то потеряем, значит, должны будем работать еще больше и лучше» (из интервью).

Характер ответов на третий вопрос был тесно связан с разбросом мнений по второму. НПО, завязанные на западные гранты, изыскивали способы сохранения или возобновления ресурсных потоков от западных доноров. Эта зависимость была настолько сильной, что для многих подобных организаций вопрос стоит ребром: или–или. Прекращение западной помощи фактически означало бы крах этих организаций – при существовавшей тогда налоговой системе их выживание на принципах самоокупаемости было исключено. Поэтому «западники» в этом вопросе были солидарны с «почвенниками», утверждая, что российское государство обязано оказывать материальную помощь НПО, как это делается в цивилизованных странах.

Лидеры организаций, занимающихся преимущественно экологическим консалтингом и оказанием технической помощи, считали, что если у дефолта не будет второго витка, то при жестком режиме экономии они все-таки выживут. Эко-радикалы тоже считали, что выживут. Их тревожило другое – возможное ужесточение политического режима, в частности перспектива блокирования или резкого ограничения контактов с их зарубежными единомышленниками. Справедливости ради надо сказать, что не все эксперты рассуждали в терминах самосохранения и выживания, а лишь говорили о некотором ухудшении условий своей деятельности. Эксперты из среды профессиональных организаций говорили, что в условиях подобного кризиса все ячейки российского экологического движения должны тесно взаимодействовать, с тем чтобы сосредоточить свои ограниченные ресурсы на нескольких ключевых направлениях. Правда, согласия в том, что это за ключевые направления, не было никакого. Наконец, российские интеллектуалы, бьющиеся за сохранение природы еще со студенческой скамьи, полагали, что должны работать еще больше и лучше, в каких бы условиях они ни находились. Подобный максимализм был характерен для них и пять, и десять, и тридцать лет назад.

В общем эксперты оказались правы: западная помощь стала сокращаться, российская экологическая политика шаг за шагом деинституционализировалась, а местные лидеры и энтузиасты-интеллектуалы и по сей день продолжают бороться несмотря ни на что.

2. Изучаю сети российской экополитики. Сотрудничество с Х.П. Кризи

Теперь – о российско-швейцарском проекте. Дело в том, что с середины 1980-х гг. я уже фактически был занят изучением экологической политики «в лицах». Не знаю, как правильно определить эту область знания – политическая социология или социология политики, но факт, что сама действительность втаскивала меня, исследователя, в сферу политики. Гражданские инициативы и общественные движения – разве это не субъекты политического процесса? Но особый интерес этого проекта состоял в том, что надо было исследовать взаимодействие многих социальных акторов в быстро изменяющемся социальном

контексте. В самом деле: население, их низовые организации, собственно экологическое движение, региональная и местная власть и, наконец, наука (в лице ее центральных и местных организаций), а также – промежуточные институты типа Волжского парламента или многочисленных общественных советов – все они были включены в орбиту нашего исследования.

Фактически я был составителем и руководителем программы исследования. Надо мною не висели никакие «социальные заказы» кроме собственно научного: выяснить, как формируется и работает региональная экологическая политика «в лицах» и сетях. Швейцарские коллеги, оказывая научно-методическую помощь и контролируя ход проекта, никак не вмешивались в суть дела. Никакого высокомерия или давления с их стороны. Доверие. Дискуссии и критика – да, конечно. То есть профессиональное партнерство на фоне весьма дружеских человеческих отношений.

Проект привлекал меня не только расширением поля моих многолетних социально-экологических изысканий, но и возможностью вернуться к проблеме междисциплинарного (и межсекторального тоже) взаимодействия, которая меня всегда интересовала. Как наука взаимодействует с политикой с одной стороны, с властью – с другой, и с населением и его организациями – с третьей?

Кроме того, представлялась редкая возможность войти в прямой контакт с властью предрежущими, причем с теми, кто владел властью еще вчера и по каким-то причинам был ею отторгнут. «Бывшие» – весьма информативный объект наблюдения. Не менее привлекательной была возможность заглянуть на «кухню» принятия решений, о чем социологи говорят очень редко. Мне кажется, что выявленные нами блок-схемы принятия решений, к тому же в их динамике, остаются единственными в своем роде. Причем в этом исследовании, как нигде раньше, проявилась двойственность, двусмысленность любого из принимаемых на региональном и национальном уровне решений. Всегда обнаруживалась оборотная сторона медали – риски порождаемые частичными или запаздывающими решениями. Что и было зафиксировано документально. Вот когда в очередной раз мне пригодился прошлый опыт знакомства с социальной механикой города.

Важный методический момент. Глубинные интервью позволили нам изучить связи внутри сообщества лидеров НПО, в частности их внутрисемейное разделение труда. Оказалось, что устойчивость этих организаций во многом обязана крепким внутрисемейным связям и, что принципиально важно – *жертвенности* со стороны жены (мужа) во имя их общего дела. Вот вам еще один аспект «семейственности». Ресурсы проекта позволили мне задействовать всю палитру методов, адекватных широте и многосторонности изучаемой проблемы: глубинные интервью, метод изучения случая, архивные документы, построение хроник. Отмечу только бесконечную глубину метода изучения случая. До сих пор я использую их результаты.

Конечно, это был не единственный проект за пять лет. Я был руководителем по крайней мере еще четырех исследовательских проектов, в том числе трех – по грантам зарубежных фондов. И издал пять индивидуальных монографий и одну – под моей редакцией. В частности, по гранту фонда Дж. Сороса я делал сравнительное исследование по транснационализации деятельности экологических НПО России, Украины и Эстонии. Был выполнен ряд коллективных проектов по грантам Российского гуманитарного научного фонда. И, наконец, завершил этот период проект «Политика российских зеленых: отвечая на вызовы общества

риска», поддержанный фондом Д. и К. Макартуров. Просто упомянутый российско-швейцарский проект был наиболее информативен эмпирически, наиболее эвристичен теоретически и самым располагающим в человеческом плане.

Естественен вопрос: такой объем работы, не слишком ли? С возрастом время бежит все быстрее, а сил все меньше. Конечно, мобилизация моего индивидуального ресурса в этот период была максимальной. Но, с другой стороны, прошлый опыт и знания работали на меня. Я уже не «бежал» за предметом, не был ни советником, ни адвокатом зеленых, а имел возможность спокойно наблюдать динамику моего предмета и размышлять. Внутреннее напряжение было, но коммуникативная структура моей «экологической ниши» работала в нормальном режиме «включения–обособления».

Мне кажется, что в этот период я приблизился к «самой сути» своего предмета. Во всяком случае, ситуации стали повторяться, а приращение новизны становилось все меньше. Появилось *ощущение исчерпанности предмета* (конечно в той постановке, в которой я его исследовал много лет). Хотя, как и в других случаях, изменяющийся социетальный контекст продолжал доводить. Возникла новая тема глобализации экологического движения и экополитики. Главное же было в том, что «за спиной» экологических рисков и конфликтов все явственней обозначались риски и опасности социетальные и глобальные. Помните теорему Геделя? – Так вот, чтобы достичь более глубокого понимания происходящего надо было перейти на новый, более общий уровень проблематики. Друзья говорили: «Ты что, на седьмом десятке опять «поменял пластинку?» – А как же иначе? Я снова перешел от теории к эмпирике. Конечно, можно было остановиться и почивать на лаврах. Компилировать пособия и писать учебники, переписывать определения из справочников. Материала хватило бы еще на много лет. Но я уже говорил: это – не мое.

Таким образом я вернулся к своей основной проблематике: общественным движениям, социальному активизму личностей и групп. В результате серии глубинных интервью с представителями власти, бизнеса и лидерами экологических групп и движений в трех странах (Россия, Украина и Эстония), я получил подтверждение моей гипотезы, что *развитие экологических сетей (коммуникации) и накоплению человеческого капитала – две стороны одного процесса*, что этот капитал детерминируется ценностными ориентациями его участников; что и то, и другое влияет на выбор стратегии, тактики и репертуара действий экологического движения. Должен признаться, что в методах машинной обработки такой качественной информации я не был силен. Но благодаря знанию предшествующей эволюции движения и глубокого погружения в российский контекст мне удалось подтвердить выдвинутую ранее гипотезу о продолжающейся *социокультурной и политической дифференциации* экологического движения. Подтвердилось, что в нем устойчиво существует по крайней мере семь его различных (по ценностным ориентациям) групп, находящихся в разной степени притяжения или отталкивания. На итоговом семинаре в Женеве проф. Криси сказал: «Доктор Яницкий чрезвычайно изобретателен». Значит российские социологи иногда способны вводить в научный оборот новые понятия и представления, а не только копировать западные. Сегодня, по прошествии более 10 лет, я вижу, как научная ценность накопленного тогда первичного материала возрастает. Хотя бы только потому, что сегодня почти никто из моих респондентов 1996–98 гг. уже не решится говорить столь откровенно.

Второй важный результат это – выявление *волновой, пульсирующей динамики накопления человеческого капитала* под двудейным воздействием: изменения российских условий и включения российских зеленых в международные экологические сети (international green networks). Хотя тогда только что вышла работа крупнейшего специалиста по зеленым сетям, итальянского социолога Марио Диани⁹², в ней проблема накопления-расходования человеческого капитала специально не рассматривалась. Но главный итог проекта был в другом: удалось подвести итоги вестернизации российского экологического движения и его цены в 1990-х гг.

3. Вестернизация экологического движения: потери и приобретения

К тому времени прошло уже десять лет, как Запад помогал ему выжить на всем постсоветском пространстве. Скажем сразу: вестернизация, в том виде, в котором она происходила в те годы, была на 9/10 вынужденной. Два мощных процесса шли в эти годы рука об руку. Первый – это ухудшение национального контекста. Во всех трех странах многие достижения по снижению экологического риска, достигнутые в результате массовых протестных кампаний 1987–91 гг., были сведены к минимуму. Те немногие эколо-политики, которым на волне демократического подъема удалось войти в высшие властные структуры (общесоюзный парламент и др.), были вытеснены оттуда или вынуждены были сменить политическую окраску. В государственной поддержке зеленым было отказано. Для большого бизнеса они были только помехой. В конечном счете, зеленые были социально и политически маргинализированы. Все это буквально выталкивало защитников среды из процесса реформ.

Второй – это вторжение армады богатых экологических и иных миссионеров с Запада. Это были мощные государственные и общественные организации, десятки частных и общественных фондов, представительства международных экологических организаций, «сетевые структуры» и бесчисленное количество отдельных «инициатив». Даже посольства некоторых европейских стран имели свои программы «малых грантов» для поддержки эконо-политики. Такому тандему «выталкивания–втягивания», как выяснилось, не смог противостоять никто. Чтобы выжить, эти НПО вынуждены были искать ресурсы и защиту на богатом и стабильном Западе. Опасность внезапного открытия «границы», государственной и ментальной, была осознана много позже, когда ситуация стала практически необратимой. Это – о ситуации в целом.

Теперь о плане социальном, где, как представляется, выигрыш зеленых был наибольшим. За прошедшее десятилетие *тысячи активистов прошли западную школу*. Они научились работать по западным стандартам, интегрировались в сети западных (национальных и международных) экологических организаций, овладели искусством «фандрайзинга». Чем спасли себя и свое ближайшее окружение от нищеты и безысходности, их разрушительного воздействия на личность и психику человека. Более того, *они научились мыслить по-европейски*, то есть прежде всего рационально оценивать ситуацию и собственные возможности. На мой вопрос, «Что лично, помимо финансовой стабильности, вы приобрели, выйдя на международный уровень?», доступ к информационным ресурсам, расширение сети

⁹² *Diani M. Green Networks. A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Edinburgh: Edinburgh University Press. 1995.*

профессиональных контактов и обретение навыков работы по международным стандартам были названы в качестве приоритетных. Если говорить об экоНПО, то, они помимо финансовой помощи и доступа к информационным источникам, получили дополнительный социальный капитал в виде престижа и имиджа как «респектабельных и ответственных».

Наконец, лидеры и активисты экоНПО сохранились как социальный слой, хотя и очень-очень тонкий. Их «несущей конструкцией» были *проекты* как организационная форма и как новая форма социальности. Это была новая форма социального порядка на микроуровне, позволившая зеленым выжить и сохранить свой человеческий капитал. Тем не менее, во всех трех странах «экологические сообщества», какими бы разными они ни были, представляли собой лишь анклав (острова) западного образа жизни. Основой их благополучия тогда был постоянный приток западных ресурсов в виде денег, оборудования и социальных технологий.

Что потеряли? Прежде всего, *независимость*, которой они обладали, будучи членами неформальных инициативных групп и общественных организаций. Мои опросы 1987–91 гг. неизменно свидетельствовали, что главными мотивами социального действия эоактивистов советской эпохи были *самоорганизация и самореализация*. Дружинное движение строилось и мотивировалось снизу и изнутри, несмотря на куда более узкий, по современным меркам, коридор его социально-политических возможностей. Дружинное движение тем и отличалось от официозных общественных организаций, что в нем практически не было комплекса «старшего» и «младшего» брата. В 1990-х гг. зависящие от западных доноров экологические ячейки во всех трех странах страдали комплексом «младшего брата».

Был еще один существенный компонент этой зависимости, который я назвал бы технологическим или организационным. Изменился *уклад повседневной жизнедеятельности* этих малых человеческих сообществ. Почти все респонденты отмечали негативные последствия ужесточившейся конкуренции за финансовые ресурсы, равно как и увеличивающийся расход времени на поддержание самой организации. Эстонские активисты, как более рационально мыслящие, были озабочены именно последним обстоятельством, тогда как русские и украинские, с их славянским менталитетом и склонностью к коллективным формам социального действия, указывали прежде всего на потерю прежних дружеских связей и личных контактов как на неизбежную плату за вестернизацию. Хуже, с моей точки зрения, было другое. Зеленые *теряли перспективу*, а иногда может быть и цель своей деятельности. Формат очередного «проекта», жестко ограниченный временными и ресурсными рамками, приучил активистов действовать теперь лишь короткими перебежками (от заявки до отчета), не позволяя большинству из них мыслить стратегически, ставить перспективные проблемы.

Могут возразить: а зачем это было нужно, когда в то время надо было просто выжить, сохранить «зеленое сообщество» до лучших дней? Но просто выживание, даже весьма комфортабельное, – это всегда деградация, утеря интеллектуального потенциала. Такое «выживание» очень скоро обернулось для лидеров многих экологических ячеек, отказом от самостоятельной постановки проблем, ограничением рутинной работы «от сих до сих». Собственно говоря, в замкнутых на выполнение грантов малых группах произошло то же, что и в большом обществе: постоянная нужда в деньгах, необходимость следования

обязательствам и правилам игры, устанавливаемыми международными финансовыми организациями, постепенно вытесняла творческое общение, а вместе с ним и потребность в духовной (идеологической) активности, которая всегда была присуща интеллигенции, этому авангарду экологического движения, на всем пространстве страны. Придет время, и экологические проблемы вновь займут первые строки публичной повестки дня. Но это произойдет еще не скоро.

4. Русский европеец в ситуации раздвоенности

Снова и снова возникает проблема «русского европейца». Сначала ценность организации (тогда именуемой коллективом) навязывалась советским людям, а потом и экоактивистам коммунистической идеологией в течение многих десятилетий. Но воспитывали-то нас и учили на русской литературе, европейской по духу и характеру. Что же касается экологического движения, то прошедшие 20 лет – это непрерывные усилия его европеизации западными миссионерами. Их настойчивость вполне объяснима, потому что наличие «ядер» европейски ориентированных гражданских организаций (на их языке, «семян демократии») было необходимым инструментом для продвижения на Восток *целей и ценностей западного мира* – без опоры на сеть местных сообществ этого достичь просто невозможно. Но русским-то было над чем задуматься!

Если для западных эмиссаров зеленые организации и их сети все же были только инструментом, то иные наши радикалы его абсолютизировали, превратив средство в цель: «Нам подарили сеть. Думаю, что в нынешних условиях сеть – наше самое большое достижение». И далее – открытым текстом: «Экологические НПО есть дилерская сеть, готовая к применению» (из интервью, 1997). Выходило, что не экологическое знание и ноу-хау суть главный капитал российских зеленых того времени, а *сеть как таковая*, при помощи которой можно и поторговать.

Далее. Стремительная вестернизация создала у вовлеченных в нее экоактивистов *ощущение раздвоенности и психологическую напряженность*. С одной стороны, «они» – более других продвинуты на Запад, укоренены в международных сетях, владеют интернациональными ноу-хау, оснащены новейшей техникой, название их организаций включены в справочники и директории по всему миру. Но с другой – что же будет с ними завтра, если привычный финансовый источник вдруг иссякнет? Кому они здесь нужны? Корень этой проблемы заключался в том, что российские и другие зеленые так и не успели духовно устояться: сначала их «вела» их собственная порождающая среда (университеты, научные институты, старшее поколение российских хранителей природы), которые безусловно были носителями европейской культуры, а потом их сразу подхватили западные доноры. То есть «догоняние» Запада не потребовало от них практически никакой рефлексии. Они как бы просто закрыли одну дверь и вошли в другую. Однако включение в сеть вестернизации, брошенную чужой рукой на страну периода «лихих 1990-х», не прошло даром.

Растущая зависимость от этой сети постепенно сформировала у экоактивистов жизненный уклад, который я тогда назвал «коммуникативным». Погруженность активистов в сети и связи привела к доминированию средств социальной активности над ее содержательными целями, тиражирование информации и обмен ею – над производством новых знаний, все более сильной зависимости поступков активистов от поведения организации как целого. Как

заметил тогда один из лидеров российских зеленых, «мы так боролись с Системой, что не заметили, как построили свою собственную».

«Коммуникативный уклад» активистов был одновременно адаптивным и охранительным. Охранительность реализовалась через обособление от общества и его насущных проблем, усилиями по поддержанию престижа организации, постоянными заботами о накоплении жизненного ресурса (денег). Вольно или невольно, приоритетными становились не насущные проблемы страны, а те виды деятельности, которые поддерживали организацию на плаву. В результате поведение экоНПО приобретало все более реактивный характер, а в политическом плане становилось консервативным. Охранительность проявлялась также в стремлении к постоянному расширению сферы своего влияния, в контроле над ключевыми источниками информационных ресурсов. Особые усилия прилагались к укоренению в центрах и сетях международных экологических организаций. Таким образом, обратной стороной охранительного образа жизни стал его достижительный характер. Естественно, что в подобной атмосфере члены экоНПО уже давно были не друзья и тем более не «братья», как они мыслили себя много лет до этого, а конкуренты и соперники. Снова было над чем задуматься!

Адаптивность как повседневный инструмент самосохранения проявилась в множественной аффилиации (одновременное членство в различных экоНПО, или в них и в государственном учреждении). Как жизненная стратегия, адаптивность означала подготовку себя и своих близких к выживанию в катастрофических условиях, создание «запасных аэродромов» и т.п. Изменился и характер «зеленых тусовок». Они стали менее публичными и эмоциональными, но более деловыми и прагматичными. Что-то вроде рынка, где экоактивисты обменивались информацией с целью расширения доступа к источникам западных ресурсов. «Братство» российских зеленых все более размывалось рынком.

Неудивительно поэтому, что активисты, вовлеченные в бесконечный поток «организационной» коммуникации и посредничества, обладали не слишком богатым общекультурным словарем. Отсюда, их склонность к жестким дефинициям, рекомендациям и другим «упаковкам» организационного знания, готового к употреблению. Вообще, во всех формах «коммуникативного» жизненного уклада есть изрядная доля нигилизма в классическом его понимании как отрицания сложившейся культуры, демонстрации своего превосходства как «людей дела». Но именно таковой была теперь и новейшая европейская культура. На культурном горизонте замаячил идеал «евробюрократа».

Говорю об этом столь определенно, потому что в 1992–94 гг. я сам был советником Европейского банка реконструкции и развития, а потом неоднократно обсуждал эту тему с моими коллегами из Восточной Европы, которые еще несколько лет продолжали карьеру «евробюрократа». Более того, некоторые мои коллеги из Центрального европейского университета за 5–8 лет разительно изменились, приобретая все черты и материальные атрибуты данного социального слоя (виллы, яхты и т.п.).

5. Активизм против науки?

Ориентация зеленых на практические цели породила феномен, который я обозначил как *«активизм против науки»*. Речь идет о вялотекущем, но болезненном конфликте между экоНПО, с одной стороны, и исследовательскими коллективами в университетах и научных институтах, с другой. Так уж сложилось

(или это был один из принципов гуманитарной помощи Запада), но «семена демократии» стали насаждаться западными донорами прежде всего в среде неформальных экологических организаций. В анонсируемых программах западной помощи часто подчеркивалось, что соискателями грантов не могут быть научные организации, заявки на исследовательские проекты также не принимались. В результате экоНПО укреплялись и развивались, тогда как родственные науки хирели и разрушались. Немногие из оставшиеся в живых ячейки постепенно превращались в придатки экоНПО.

Казалось бы, активисты выиграли, так как получили возможность заказывать или просто покупать научную информацию, необходимую для выполнения того или иного проекта. Постепенно однако выяснилось, что в проигрыше оказались и те, и другие. Активисты, «заказывая науку» под конкретный проект, то есть прикладное исследование для получения сугубо практического результата (скажем, измерить уровень загрязнения реки или другого конкретного объекта), постепенно теряли вкус к науке и навыки серьезного исследования. Не имея времени и средств для повышения своего профессионального потенциала, активисты постепенно превращались в *посредников* между заказчиком (проектом) и некоторой научной ячейкой по изготовлению требуемой для выполнения проекта информации.

Фактически, зеленые, конкурируя между собой за западные ресурсы, создали некое подобие замкнутого «экологического рынка». Поскольку сохранение их организаций непосредственно зависело от наличия практического знания, организационных ноу-хау, экологическое знание все более становилось инструментальной ценностью. То есть выживание экоНПО ставилось в зависимость от того, где лежит *уже готовое к употреблению* знание. Знание, ориентированное на долгосрочные социальные изменения эволюционного характера, в массе активистов тогда спроса не имело.

Осознав эту опасность, наиболее дальновидные лидеры экоНПО стали создавать собственные научные лаборатории и, перераспределяя ресурсные потоки, вести собственные научные исследования. Однако такое было под силу лишь немногим, а поле для подобного маневра было чрезвычайно ограниченным. Вот как интерпретировал ситуацию лидер «Хранителей Радуги», Сергей Фомичев: «При подготовке акций мы пользуемся самой широкой информацией, которая есть по этой теме. Обычно это то, что лежит на поверхности, потому что мы не имеем возможности глубоко копать. Для это надо бы выезжать на место, сидеть в библиотеках, встречаться со специалистами. У нас такой возможности нет...Мы работаем обычно только с активистами экологического и других движений, и получаем от них уже в сжатом виде исходную информацию по проблеме. Мы – не из научной среды, мы пришли из политики».

Некоторые исследователи экологического движения на постсоветском пространстве полагали, что пренебрежительное отношение к научным работникам нынешних зеленых, это их месть за вытеснение из научной среды в прошлом. Возможно в отдельных случаях это было и так, но, мне представляется, гораздо более значимым другой, эмпирически подтвержденный факт: научное сообщество в своих «нижних» слоях (то есть рядовые работники и обслуживающий науку персонал) *смыкалось* с сообществом экоНПО. Эмпирически это подтверждалось совмещением мест занятости там и сям, периодическим «бегством» молодых научных работников из науки в экоНПО, и – обратно, рекрутированием

активистами персонала для своих экоНПО из среды не защитивших аспирантов и соискателей. Это был наиболее активный слой российских зеленых, что совпадало с общей концепцией пограничного (между номенклатурой и народом) слоя как наиболее политически активной части общества и, следовательно, вероятного актива общественных движений⁹³.

Лидеры признавали, что они иногда пытались использовать ученых в своих диалогах с прессой или оппонентами, но только тех, которые обладает политическим весом. Местные ученые, как правило, для такой роли не годились, так как уже были ангажированы местной администрацией или другими политическими силами. В еще большем проигрыше оказалась сама наука. Западническая политика российских либерал-реформаторов поставила науку в условия самофинансирования, что само по себе оказалось разрушительным. *Стратегия выживания* или, как ее еще цинично именуют, «политика поддержания штанов», губительна для науки – наука может выживать, только непрерывно развиваясь. Однако спорадические заказы со стороны экоНПО никак не создавали такой возможности. Тем более, как единодушно отмечали активисты, западные доноры задавали такой формат научного отчета, который неизбежно понижал научный потенциал исследователя, поскольку западным фондам требовалось не аналитическое, а описательное знание.

Некоторые украинские респонденты были еще более категоричны: «Неправительственные организации, существующие на деньги западных фондов, лишь спасают остатки украинской интеллигенции, создавая таким образом очаги их временной независимости». В результате истинные ученые просто «уходят» из системы грантоискательства, а люди, ставшие в советские времена учеными, так сказать, по случаю, превращаются в бизнесменов, политиков, администраторов и...экоактивистов. «Высококвалифицированные ученые, – как сказал один из лидеров движения, – просто выдавливаются из науки недоучками, получившими доступ к западным деньгам». Иными словами, хотя активисты и побеждали научных работников в борьбе за финансовые ресурсы, однако общий (научный) уровень в системе сообщающихся сосудов «наука–практика» неизбежно понижался.

Профессиональный вес российских и других ученых снижался еще и потому, что западные партнеры российских, украинских и других экоНПО привозили своих экспертов, политический вес которых обеспечен авторитетом лучших западных лабораторий, имеющих соответствующие международные сертификаты. Как сказал российский эксперт-химик: «Из местных властей с нашими зелеными никто не стал бы и разговаривать, не имея они нужных данных по загрязнению прямо от голландцев».

Вместо того, чтобы постепенно формировать собственное политически влиятельное научное сообщество (*epistemic community*), российские власти наладили импорт «серого вещества» из-за рубежа, поощряя тем самым эмиграцию лучших российских умов. В итоге с экологическими организациями произошло примерно то же, что и с наукой – ее ведущие учреждения постепенно становятся филиалами западных корпораций.

⁹³ См. *Воронков В.М.* Эволюция правящей элиты в период перехода к демократии / Социально-стратификационные процессы в современном обществе. Кн. 2. М.: ИС РАН. 1993. С. 162–182.

6. Политическая маргинализация

Баланс политических приобретений и потерь еще менее благоприятен. За возможность доступа в качестве наблюдателей (реже, участников) к процессам европейской и глобальной экологической политики российские зеленые фактически заплатили политической маргинализацией на родине. Могут возразить, что зеленое движение в СССР никогда не было политизированным, а в последние годы стремилось вообще дистанцироваться от политики – в течение 1990-х гг. оно стремилось к решению практических проблем.

Но практики не бывает без политики. Политическая маргинализация российских зеленых позволила Западу уже с конца 1980-х гг., но особенно после развала СССР, вести в отношении экологических организаций на всем постсоветском пространстве целенаправленную *политику вестернизации*, понимаемую здесь как комплекс мер по перестройке этих организаций и их деятельности по западным стандартам. Впрочем, мне незачем стараться артикулировать принципы такой политики – это давно сделали сами западные специалисты. Послушаем, например, Барбару Джанкар-Вебстер, одного из наиболее авторитетных ученых в этой области: «Западная Европа соглашалась на <экологические>ограничения своего суверенитета медленно, шаг за шагом и только тогда, когда становилось ясным, что новое ограничение, следующее за предыдущим, окажется приемлемым для всех членов Европейского Союза. Восточноевропейские страны должны были принять все (экологические) ограничения своего суверенитета сразу...»⁹⁴. Причем, как замечает автор, Европейскому Союзу не было никакого дела до привязанностей или национальный предубеждений отдельных стран. Эта позиция неуклонно соблюдается и сегодня, спустя 20 лет и, как пишут лидеры Евросоюза, будет продолжена и в последующие 50 лет, вплоть до 2057 года⁹⁵.

Теперь – о финансировании. Прежде всего, западные доноры руками своих организаций в центре России и на местах строго задавали систему приоритетов. Это означало, что тематика проектов зачастую была весьма далекой от интересов или возможностей местных активистов. Поэтому разрыв между центральным офисом и его местными отделениями возрастал, в то время как общественный интерес к конкретной проблеме снижался. Система грантов была по существу дискриминационной, поскольку заявки зачастую оценивались не по сущностным критериям, а по качеству английского языка, соответствия текста заявки заданному формату и др.

Главным результатом политики вестернизации рассматриваемого периода была трансформация *экологического движения* во множество относительно автономных образований (инициатив, НПО), внутри которых могли существовать еще более дробные ячейки – проекты. Да, Запад построил и получил если не контролируемую, то всегда доступную сеть организаций. Сеть обширную, но с низким мобилизационным потенциалом.

⁹⁴ *Jancar-Webster B.* The Politics of Environmentalism in the CEE and NIS. Paper presented at the meeting of the VI World Congress of ICCEES, Tampere, Finland, 2000.

⁹⁵ *European Union: The Next Fifty Years. 50+ Top Thinkers Set Out Their Ideas for Europe* / M. Fraser ed. London: Financial Times Business. 2007.

Сеть и социальная база движения (constituency) далеко не одно и то же. Запад, помогая России создать зеленую сеть, способствовал выживанию зеленого сообщества, но фактически лишил его возможности быть серьезной политической силой на общественной арене. Не случайно Запад никогда не стремился поддерживать мелкие зеленые партии в России, и они до сих пор не играют сколько-нибудь серьезной политической роли в нашем обществе. А раз не создано мощной зеленой партии, то нет и сильного экологического лобби в парламенте. По сути, российские зеленые уже давно политические маргиналы, о чем свидетельствуют неоднократные провалы попыток создания блока зеленых для «прорыва» в парламент.

Мобилизация сил зеленых на поиск финансовых ресурсов привела их в тот период к социальной демобилизации. Конечно, никто не станет утверждать, что волна массового экологического протеста конца 1980-х гг. будет вздыматься вечно. Но все же трудно понять явный крен российских зеленых в сторону экологического просвещения и воспитания на фоне непрекращающихся экологических протестов как на Западе, так и в России. Трудно, если не принять во внимание изменившийся образ мыслей и действий эоактивистов. Прежде всего – это растущая стандартизация мышления, обусловленность мышления активиста его ролью исполнителя проекта. Проект – мощный «организатор» не только активизма, но и мышления его участников, заставляющий их каждый раз пользоваться уже готовыми пакетами алгоритмов социальных операций. Не случайно, что параллельно с появлением системы западных грантов в Россию пошел мощный поток переводных инструктивно-нормативных материалов – как правильно написать заявку на грант, организовать офис, написать отчет и т.п. Иными словами, зеленых не только «мягко» переориентировали в нужном направлении, но еще и постепенно приучали мыслить социально-технологически.

Казалось бы, технократизм не совместим с экологическим подходом, который по определению холистичен. Суть, однако, произошедшего сдвига – не в возросшей тяге к социотехнике, а в снижении социального статуса экологических проблем: превращении их из социокультурных и социополитических в социотехнические и организационно-технические путем разбиения первых на ряд дискретных отраслевых задач, решаемых отдельными ведомствами или общественными организациями. Мотив здесь достаточно очевиден. Подобное «снижение» проблемы давало активистам шанс на получение следующего гранта и уменьшало вероятность конфликтов с властными структурами. Здесь западная помощь сыграла на руку местным бюрократам, которые могли больше не опасаться нестандартных мыслей и неожиданных акций зеленого сообщества. Другая сторона медали – упрощенность, частичность. Гораздо меньший риск мыслить организационными и техническими категориями, нежели системно, то есть каждый раз рассматривать свою ограниченную задачу в историческом и макросоциальном контексте. Эта частичность постоянно воспроизводилась финансированием западными донорами именно технических, а не социальных проектов. Наконец, самая, с моей точки зрения, большая потеря это – растущая жесткость, антидиалогичность мышления. Тогда были чрезвычайно редки случаи, чтобы активисты захотели бы сесть за стол переговоров с учеными, с другими социальными движениями или НПО. Да, с государственными ведомствами эоактивисты неоднократно пытались наладить коммуникацию, но чиновники от

экологии, особенно на высших уровнях власти, не очень-то были склонны видеть в лидерах эконоПОО партнеров.

Проблема антидиалогичности мышления постсоветских зеленых имела корни в либеральной идеологии российских реформаторов. Экологическая проблематика, столь популярная для публичных дебатов эпохи перестройки, была вытеснена, маргинализирована идеологами монетаризма, шоковой терапии и обвальнОй приватизации. Шоковая терапия по рецептам «чикагских мальчиКОВ» начисто отвергла какие-либо иные ценности, кроме рыночных. И это произошло практически на всем постсоветском пространстве. Зеленые быстро ушли с политической арены, благо открылся источник независимого, как им тогда казалось, и безбедного существования. Но и внутри зеленого движения «обвальная монетаризация» сыграла не лучшую роль. Массовые зеленые тусовки эпохи перестройки ушли в прошлое. Появились наметки собственных концепций (альтернативные поселения, сеть «эконет»), но они так и не стали темами публичных дискуссий за рамками зеленого сообщества. Последнее было просто рискованным – ведь можно было потерять свою нишу в «грантовом» пространстве, то есть единственный источник существования. Таким образом, и в этом случае диалог был побежден процедурой.

Не было и диалога с русской культурой с большой буквы. Общение зеленых состояло из бесконечной цепи неотложных коммуникаций. Чем дальше, тем больше активисты решали и отчитывались, но все меньше рефлексировали и дискутировали. И эта культура постоянного «делания» пагубно сказалась на стиле мышления российских зеленых, поскольку общекультурный запас, некогда накопленный зелеными, иссякал. Но даже если потребность в диалоге, хотя бы во внутреннем кругу, возникала, то ее формат был уже задан. Диалог постепенно выродился в пинг-понг стандартными упаковками слов, теми, что, как любят выражаться зеленые, «у всех на слуху».

Причина крылась и в другом, в английском. Не говоря уже о том, что едва ли половина наших активистов владела им лишь в своей, узко профессиональной области, они все время должны были мыслить теоретическими конструкциями и просто языковыми клише, которые не имеют точных аналогов в русской культуре. Например, за десять лет интенсивных международных контактов так и не удалось удобоваримо перевести на русский английский термин *environment*, или, напротив, объяснить западным партнерам, что же понимается под нашим термином «окружающая среда». Но «их» термины проще, лапидарней, к тому же они общеприняты в европейской культуре, и поэтому зеленым волей-неволей приходится мыслить в заданном извне языковом формате, некоем *basic English*. Нельзя сказать, что эта опасность не осознавалась. Как сказал один активист: «Есть две опасности, Одна – это то, что мы должны всегда изложить наши проблемы на их языке. Тут многое неизбежно теряется. Вторая, что мы тем самым невольно загружаем свое население чуждыми им образами и представлениями, уничтожая тем самым их собственные».

Что же это было – европеизацией зеленого движения, или, как уже не раз бывало в российской истории, мы опять вошли в европейский дом с черного хода? Только если раньше воспитателями наших предков оказывались немецкие парикмахеры, французские повара, английские горничные или просто искатели легкой наживы, то в «лихих 1990-х» русские были даже не вправе спрашивать у многочисленных западных консультантов и советников (напомню, все они

именовали себя «руссистами»), кто они, что они знают о нашей жизни, потому что активисты могли лишиться желанных долларов и марок. С каждым годом корни зеленых в российской культуре слабели, отмирали.

Конечно, этот разрыв не мог не ощущаться зелеными. Но в разных странах – по-разному. Он был (тогда!) минимален в Эстонии, в маленькой стране, сумевшей сохранить свою культуру и стремящейся «возвратиться» на Запад. Хотя и здесь, нередко приходилось слышать сетования на импульсы мягкой «колонизации», идущей со стороны Финляндии, видящей в Эстонии потенциальную рекреационную зону. Так или иначе, всем прибалтийским странам пришлось платить экологическую цену за интеграцию в Европейское сообщество. В России и на Украине ситуация была гораздо более острая. Экологические организации этих двух стран, осознанно или бессознательно стремились преодолеть культурный отрыв от национальной почвы, вызванный стремительной вестернизацией. Антиатомное движение именно как социальное движение практически сошло на нет, превратившись в сеть благотворительных организаций, все более зависящих от западных доноров и контроля со стороны государства. Модели протестных импульсов заимствовались у западных зеленых («День действий» и т.п.). Радикальные экологические движения «Хранители радуги» в России и «Экозахист» на Украине, подобно Гринпису, практиковали международные протестные кампании, которые уже по этой причине мало чем отличающиеся от западных.

Но вот в организациях природоохранной ориентации наблюдались любопытные вещи. Речь идет о разработках *этического характера*, призванных вызвать у населения эмоциональный импульс «любви к природе». Видимо ощущая ущербность чисто рационального отношения к природе, некоторые лидеры этих двух стран, стали уповать на экологическую этику как на инструмент преодоления потребительского отношения населения к природе, сложившегося в последнее десятилетие кризиса и разрухи.

Но к какой именно культуре апеллировали лидеры этого направления? Оказывается, к ее наиболее архаичным, в том числе, языческим, пластам – священным рощам, курганам, древним захоронениям. Такой интерес вполне оправдан для исследователей – этнографов, археологов, социальных антропологов. Но почему он стал актуален для эоактивистов, ориентированных на экологическое просвещение? Почему отвергался огромный пласт российской культуры XIX–XX веков, которая одновременно является глубоко европейской? Почему был отвергнут пласт культуры американской и европейской, от Г.Торо и Р.Эмерсона до Ч.Диккенса и У.Морриса? Чем поклоняться городищам и курганам, не лучше ли было встать на плечи своих великих предшественников, действительно великих?! Повторюсь, не об охране памятников природы и культуры идет речь – это очевидно необходимо, а о них именно как *инструменте* этического воздействия на массовое сознание.

Вестернизация и транснационализация – «близнецы-братья». Наши либералы, включив страну в международные финансово-экономические и ресурсные потоки, резко «открыли» ее миру. В наш век транснационализация экоНПО неизбежна, даже если Россия или другая страна перейдет на режим самодостаточной экономики и опоры на собственные силы, поскольку число и масштаб экологических аварий и катастроф, требующих совместных международных усилий по ликвидации их последствий, будет возрастать. Другое

дело, что темпы и формы вхождения в глобальный миропорядок должны были быть иными. Ведь именно стремительная и неконтролируемая вестернизация российского социума создала механизм «выталкивания-бегства». Политическая власть и бизнес, в центре и на местах, каждый по своим резонам исключили защиту среды обитания из числа приоритетных проблем. Население стало выживать за счет самообеспечения и эксплуатации ресурсов природы, социальная база экологического движения резко сократилась. Вовлечение эконоНПО в транснациональные структуры означало «укоренение» национальных организаций в международных экологических сетях и еще большее дистанцирование этих ячеек от национальной почвы. Фактически, произошло размежевание национальных экологических организаций на транснациональные и местные, занятые локальными проблемами и поддерживаемых местным населением.

В структуре и системе ценностей транслокальных сообществ произошли серьезные перемены. Резко возросла ценность организации как таковой, поскольку она стала выступать как средство привлечения западных ресурсов и накопления социального капитала (известность, престиж, владение западными стандартами профессионального действия). Начался самонаводящийся процесс: наличие «респектабельной» организации → привлечение ресурсов западного донора → «организационное действие» → повышение престижа организации → новое расширение ресурсных возможностей и т. д. Участие национальных эконоНПО в международных программах и проектах стало лучшим символическим капиталом, средством «набирать очки». Ориентация на сохранение организации как условие выживания и обеспечения безопасности ее членов и их близких привела к рутинизации повседневной деятельности, к преобладанию сфер активности с минимальным социальным риском.

К концу 1990-х гг. изменился и характер солидарности зеленых. Вместо альтруистических и гражданских ценностей ее основой все более становились корпоративные отношения, базирующиеся на четко оговоренных взаимных обязательствах и эквивалентном обмене ресурсами. «Дружба» и «братство» уступили место рациональному разделению труда между участниками «проекта». В конечном счете, векторы вестернизации эконоНПО и государственных структур были тогда во многом сходны: опора на западную помощь, рационализация коллективного поведения, преобладание текущих задач над стратегическими, технократизм мышления и практицизм социального действия.

Таким образом, *цена* которую заплатили российские зеленые за выживание, оказалась очень высокой. Это был *неэквивалентный обмен*. «Железо» плюс массовый стандартный программный продукт обменивался на уникальный интеллектуальный продукт. Причем двух видов: информация в режиме он-лайн об экологической ситуации в России, о динамике экологического движения, его союзниках и противниках, и – информация прогностическая, «фьючерсная». О последней надо сказать особо. Дело в том, что только анализируя заявки на гранты, поступающие к западным грантодателям со всех концов страны, то есть бесплатно, западные правительственные и частные фонды получали целые *пакеты инноваций*, касающихся новых форм и способов борьбы с нарушителями закона, специфики всего этого в тысячах региональных этнополитических ситуаций и т.д. и т.п. Просто бесплатная «раздача слонов»! Эколидеры из столиц и глубинки не

осознавали ценности отдаваемого. Таков был их *советский* менталитет, на котором наживались западные либералы от экологии.

Но это означало и другое: человеческий капитал, созданный в советские времена, был абсолютно не нужен строителям новой России. Тогда, в 1990-х гг. они не хотели знать, что творится с экологией страны, тем самым многократно повышая цену вопроса, который стал теперь глобальным и грозящей нам международными санкциями и потерей контроля над нашими «срединными землями». Либералы срубили сук, на котором держались российские зеленые, не дав ничего взамен. Создаваемые сейчас общественные (через систему общественных палат), а фактически государственные ресурсные центры способны лишь поддерживать на плаву местные экологические организации, но возбудить в них инновационный зуд, подобный прошлому, они не в силах. Время упущено, точка бифуркации пройдена, *креативную мобилизацию*, подобную той, которая была в 1990-х, сегодня уже *невозможно повторить* – снова началась волна мобилизации протестной, борьба на выживание. В этой ситуации я им мало полезен, лишь изредка отбиваюсь от тех, кто используют мои тексты как орудие против зеленых.

7. Человек или матрица?

Просто партнерства с гуманистически ориентированными западными социологами мне было мало – я искал концепцию (и единомышленника), которые бы поставили в центр своей «экологической» эпистемологии человека, защиту его базовых прав, необходимость гуманизации социологического мышления в целом. Постмодернистский проект мне никак не подходил – он для меня был социологическим декадентством, «индивидуалистическим конструктивизмом», все более далеким от российских реалий.

Мне казалось, что Чернобыль, распад СССР, череда жестоких войн, крах всей системы жизнеобеспечения страны, резкое сокращение продолжительности жизни должны были вызвать хотя бы у части российских социологов резкий скачок интереса к гуманитарным проблемам, к «маленькому человеку». Снова и снова снимаю с полки книги отечественных и иностранных авторов 1990-х гг.: масса переводных работ классиков социологии, еще на порядок больше наскоро испеченных учебников и пособий по социологии – плод гуманитарной помощи Фонда Сороса. Но чаще всего, вторые – просто перелицовки или кальки с первых. Огромный поток переводной западной литературы хлынул в Россию. Особенным успехом пользовались наработанные там методики и инструментарии сбора и обработки эмпирического материала. Либералы от социологии были уверены, что советский человек – песчинка в этом урагане перемен, что он жертва социальной эпидемии, именуемой «распад империи», и что он сам ничего не может – все надличностно, эпохально и глобально. Видимо многие мои коллеги исходили из весьма простой идеи: человеческая масса везде одинакова, следовательно, заимствование у американских социологов сгодится и здесь.

Приведу однако мысль глубоко уважаемого мною Г.С. Батыгина: «подлинную социологию будничные события интересуют не для того, чтобы зашифровать их цифрами и напихать в таблицы. За ними стоят человеческие драмы с невысказанным до времени смыслом. Как и литература, социология рождается из переживания повседневности и лишь затем достраивается высшими этажами интеллектуальной рефлексии... Таким образом становится ясно, что

эпистемический портрет социологии создается не используемыми в ее дисциплинарных рамках инструментарием и материалом, а способом авторского видения мира»⁹⁶. И в конце: Океан жизни «лишь изредка выбрасывает на берег квантифицированные “социологемы”, уже окостеневшие и лишь смутно напоминающие вечную подвижность живого». Для того, «чтобы понимать жизнь, мало изобретать особые средства познания. Надо жить в этом мире, страдать, любить, радоваться доброму, ненавидеть злое и уметь высказывать все, что пережито»⁹⁷.

Н.Ф. Наумова и еще очень немногие социологи, размышляя о методологии социологического исследования, релевантной этому переломившемуся обществу и потерявшему человеку, все чаще прибегали к методам качественного анализа, позволявшего понять духовную драму человека, в одночасье потерявшего точку опоры в этом мире. Так с Н.Ф. было всегда: все стремились «дальше, дальше», а она останавливалась, чтобы проникнуть в глубинный смысл происходившего. Я говорю не о бандитах и стяжателях, а о маленьком человеке, на котором держалась держава и в котором сегодня так остро нуждаются наши реформаторы. Но они решают задачу просто: изжили своих инженеров, техников, учителей – наберем других из ближнего и дальнего зарубежья. Мне возразят: были люди и ученые, «догоняющие», были выброшенные из истории, но были и «выжидающие и размышляющие», а потому, как казалось со стороны, «молчащие». Именно это я и хочу сказать! Но если так, то может быть это и есть действительная социальная структура общества, по основанию смысложизненных значений? Или мы методологически остаемся на примитивной позиции «модерн–архаика»?

Сторонники этой точки зрения называли себя культурологами или россияедами, но я считаю эту точку зрения вполне позитивистской. Ее суть: традиционная матрица прежде всего. Особенно жестко эта гносеологическая позиция была сформулирована С.Г. Кирдиной: концепция институциональных матриц разработана в рамках «объективистской парадигмы, рассматривающей общество вне зависимости от действий людей»⁹⁸; общество рассматривается не как пространство действий, определяемых выбором человека, но как глубоко лежащая за общественными явлениями социальная сущность; базовые социальные институты «имеют исторически непреходящий характер и неизменное функциональное содержание». Таких базовых матриц всего две, и они рядоположены на оси исторического развития и т.п. Характерно, что базовых институциональных матриц, по Кирдиной, всего три: экономика, политика и идеология. Собственно социальной матрицы нет.

Другие полагали, что в основе веков российской жизни лежит культурная матрица, которую изменить невозможно – ее можно только сломать; интеллигенция умерла, остались только рационалисты-интеллектуалы, вся жизнь построена по манихейскому принципу (черное–белое, тайное–явное), а. социальная катастрофа обнажила в советском человеке его предзаданную вековой традицией

⁹⁶ Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М.: Наука. 1986., С. 269.

⁹⁷ Батыгин Г.С. Цит. ист., С. 270.

⁹⁸ Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Автореферат диссертации на соискание учений степени доктора социологических наук. Новосибирск. 2001. С. 26.

матрицу: архаическую. По мысли подобных теоретиков, во время социального кризиса, каким был распад СССР, человек сбрасывает с себя интеллектуальные одежды, обнажая свое архаическое нутро. Вот их вывод: сегодня человеческая масса – это граммы интеллектуальности и тонны архаики. В этом случае социологу только остается «наполнять» эти матрицы эмпирическим содержанием. Я более 20 лет проработал бок о бок с Сашей Ахиезером, но так и не смог получить от него внятного ответа: как может быть история без людей? Без их участия в становлении и разрушении социальных институтов?

Я не историк, но полагаю, что кризисы и конфликты разрешаются или, чаще всего, «замораживаются», тогда как риск есть реальная угроза человеку со стороны базовых институтов общества, в том числе – неконтролируемого развития науки и техники. Связка «функционирование института науки–риск (опасность, угроза)–человек» – вот что меня прежде всего интересовало в концепции У. Бека и других исследователей риска. Отсюда, с одной стороны, была необходима радикальная критика господствующей в социологии концепции науки, с другой – иное понимание роли человека в принятии решений: наука должна быть поставлена под гражданский контроль, а решения, особенно касающиеся конкретных территорий и мест, должны вырабатываться при участии местных гражданских экспертов (*expert-citizen*). Если решение принимается через голову местного населения, то оно имеет моральное право на *социальный протест*. Соучастие, партнерство – ключевые понятия. То есть необходим переход от директивной модели «наука–практика» к посреднической (промежуточная стадия) – и к партнерской. Так через концепцию общества риска связываются процессы трансформации общества и науки как социального института.

Партнерская модель «наука–практика» означает иное понимание публичности социологии. Пока что публичность понимается как просвещение, обучение и пропаганда социологического знания. Социологи «сообщают и разъясняют» публике ее собственное поведение, но из процесса выработки этого знания и принятия решений относительно них самих публика остается исключенной. Опять получается, что русские – не европейцы.

Глава 10. На рубеже тысячелетий

Сорок лет спустя: переоценка концепции урбанизации. – Социальный метаболизм города (доклад в Вене 1999 г.). – Роль городской среды. – Город как сетевой процесс. – Перспектива: от «вмещающего» ландшафта к технологическому.

1. Сорок лет спустя: переоценка концепции урбанизации

Почему я вернулся к проблеме урбанизации спустя 40 лет? Но разве экологическое движение не реакция на этот процесс? А изучение динамики форм общественного участия в сохранении среды своего обитания в разных типах городов и поселков не из той же области? А мое участие в программе «Экополис» и вся 30-летняя работа в области городской экологии? Мне кажется, что я только и делал, что изучал развитие форм взаимодействия (общения, по Марксу) людей между собой и со средой обитания в ходе урбанизации-индустриализации, то есть именно то, что было заявлено в нашей коллективной статье 1969 г. (см. Главу 4).

Наконец, если урбанизация – мотор модернизации, как соотносятся эти ее две стороны? Накопленный новый материал дал толчок к ревизии концепции урбанизации, как она была тогда нами сформулирована. Любопытно было посмотреть, в чем ошиблись, а в чем оказались правы именно в отношении развития человеческих контактов.

Основываясь тогда на весьма ограниченном материале, мы все же предполагали что: (1) в основе социально-информационной структуры города будет лежать деятельность индивидов и малых групп. Подчеркивалось, что развитие неформальных групп создает необходимую психологическую среду для развития личности и в то же время является организующим началом в поведении горожанина, каналом контроля городской жизни со стороны общества; (2) в ходе интенсификации деятельности жителей крупных городов изменится функциональная и пространственная структура их связей (тогда понятие «сеть» еще не употреблялось); (3) успех и эффективность человеческой деятельности будет зависеть от их способности своевременно реагировать на быстротекущие изменения социальной среды – поэтому мобильность может трактоваться как особое состояние (готовность) к новым контактам, к переменам социальной группы, занятий, места жительства и т.д.; (4) повышение разнообразия и информационной емкости контактов приведут к тому, что значение соседских контактов будет снижаться; (5) развитие средств связи и коммуникации приведет к вытеснению ряда рутинных стереотипных передвижений, позволяя увеличить объем и эффективность наиболее существенных для развития личности видов общения⁹⁹; (6) произойдет взаимопроникновение семейной и внесемейной сфер жизни горожан. «Эта тенденция усиливается развитием средств массовой коммуникации, особенно телевидения», что скажется на повышении значимости индивидуального жилья, которое станет «(наряду с центральными городскими учреждениями) “полюсом” деятельности в сфере досуга»; (7) возникает сложная проблема освоения городской культуры личностью, есть опасность, что этот процесс будет односторонним, поверхностным, эклектичным, что будут усвоены только внешние атрибуты этой культуры в ущерб ее содержанию¹⁰⁰.

Чуть позже я добавил к этой прогностической картине еще несколько гипотез: (8) будет происходить сдвиг от стабилизирующей к развивающей рутинизации общения, то есть концентрация и интенсификация общения будет стимулировать развитие личности; (9) постоянно возобновляемые связи общения будут играть важную роль в кристаллизации наиболее рациональных и эффективных форм общения, то есть в выработке «правил игры» в этом социальном пространстве; (10) «всеобщий и кумулятивный характер научного труда, а также зависимость ценности информации от ее новизны и доступности фиксируется в сознании людей как ориентация на крупнейшие, ведущие информационные источники. Что было названо тогда мною «принципом референтности» (сегодня мы сказали бы, узлы сети, nodes); (11) «Наконец, нельзя забывать об эффективности личностной формы общения..., в особенности в производстве нового знания, что объясняется сочетанием высокой ценности

⁹⁹ Здесь я основывался на работах Р. Мейера (*Meier R.L. The Communication Theory of Urban Growth. Mass.: MIT Press. 1965*); *его же*: *Metropolis as a Transaction-Maximizing System // Daedalus, 1968, vol. 97, No 4. pp. 1301—1304.*

¹⁰⁰ *Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Цит. ист., С. 48–49, 52.*

(новизны) получаемой информации с высоким уровнем понимания соответственно – возможно более низкой избыточностью сообщений...»¹⁰¹.

За 40 лет методология анализа процесса урбанизации существенно изменилась, экологизировалась – предметом первостепенного интереса стали люди, их сообщества и ресурсные сети, накопился материал об урбанизации на локальном и региональном уровнях. Но главным, конечно, была крутая ломка всей институциональной системы СССР, быстро набирал силу рынок, криминальный и теневой, замкнутое советское общество не только изменилось в своих границах и потеряло былую мощь – оно открывшись всему миру, оказалось «на семи ветрах» глобализации и потрясавших мир кризисов. Как я уже говорил, адекватным познавательным инструментом стала для меня концепция «общества риска». Применительно к российским реалиям она выглядит следующим образом.

С начала 1990-х гг. в России нарастал *процесс дезурбанизации*, отмеченный всеобщим дефицитом натуральных ресурсов при избыточности ресурсов интеллектуальных. Это был дефицит как естественный, так и политически сконструированный. Ситуация назревала давно, но утеря миллионами советских граждан привычных источников существования – своих экологических ниш (как говорил О. Мандельштам, «Люди были выбиты из своих биографий как шары из бильярдных луз») – была настоящей социальной катастрофой. «Общество сначала взваливает на индивида непосильную ношу, а потом заставляет его отвечать за свой жизненный проект» – весьма точная оценка ситуации, данная Бекон. Эта была именно дезурбанизация, потому что социальное пространство не наращивалось, не становилось более эффективным, а напротив – происходила его тотальная реструктуризация и деградация. Зброшенные города и деревни, военные склады и полигоны, разоренные кооперативами заводы, вооруженные конфликты, потоки беженцев и вынужденных переселенцев, гастарбайтеров, засилье бандитских группировок, бегство ученых и молодых квалифицированных кадров за границу – все это не только изменило сложившуюся структуру жизненного пространства десятков миллионов людей, но и создало для них атмосферу всеобщей неопределенности и риска. Города и накапливали, и выбрасывали энергию распада.

Одновременно произошло резкое снижение уровня интеллектуального капитала и социального порядка, уровня организованности городского сообщества. Уже через 5–8 лет после начала перестройки проступили черты, а лучше сказать полюса, его новой социально-экологической структуры: немногие, хорошо защищенные оазисы богатства и благополучия и обширные зоны войн и гуманитарных катастроф. Жизненное пространство немногих резко расширилось, остальных – резко сжалось. Риск для здоровья и самой жизни человека стал всеобщим – достаточно вспомнить уровень преступности тех лет, уличной, групповой, финансовой и всякой другой. Возникли зоны гуманитарных катастроф, в которых институты города оказались неспособными самостоятельно поддерживать жизнедеятельность своих граждан даже на уровне выживания. Если пытаться восстановить такое сообщество, то приходится начинать с «низкого старта», с восстановления патерналистского социального порядка советского

¹⁰¹ Яницкий О.Н. Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация // Урбанизация, научно-техническая революция и рабочий класс / отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Наука. 1972. С. 69–72.

образца. Таким образом еще раз эмпирически подтвердилась моя гипотеза 1982 г. о практической невозможности восстановить разрушенную экосистему в прежнем ее качестве¹⁰².

Произошел распад множества человеческих сообществ. Как бы ни критиковали советскую систему, она особенно в последние годы своего существования все же имела довольно высокий уровень самоорганизации. В 1990-х гг. в городах РФ уровень социальной коммуникации снизился практически до натурального обмена (челноки, бартер). Другая сторона – прямой захват чужой и «ничейной» собственности. Возник феномен *ложной* урбанизации, когда на фоне роста столиц вверх и вширь их культурный уровень шел резко вниз. Возник риск всеобщей фальсификации среды жизнеобеспечения (от поддельных лекарств до просроченных продуктов питания и гнилой одежды). Как не вспомнить здесь период русской истории в годы перед революцией (1914–17 гг.), да и сразу после него, концептуально осмысленный в классической социально-экологическом исследовании П. Сорокина «Голод как фактор...»¹⁰³. Ключевой ее момент: феномен «отрицательной селекции» людей: в периоды социальных катастроф умирают лучшие, талантливые, выживают худшие, приспособленцы и стяжатели. А если еще раньше, то придется вспомнить классическую (даже по меркам западной социологии) работу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии в 1842 г.».

Наиболее явственно феномен отрицательной селекции проявился в самом мобильном и требовательном слое населения – в молодежной среде. Дети богатых уехали учиться на Запад, и оставались там или возвращались в Россию, неся сюда стереотипы легкого успеха, менеджеризма и потребительства любыми средствами. Дети из бедных семей бежали из малых городов в Москву и еще два-три процветающих города, а в массе своей в армию – государственную или частные охранные предприятия, горячие точки, или просто спивались, гибли от наркотиков, включались в бесконечный круговорот «преступление–зона–преступление». В результате большие города в лучшем случае превратились в «транзитные станции» и места временного пребывания, в худшем – получили дополнительную нагрузку в виде деклассированных или преступных элементов. Ресурсов на их социокультурную реабилитацию у бизнеса и государства не оказалось, потому что зачем тратиться, когда новые дворники и охранники сами прибегут из провинции или стран ближнего зарубежья. Ни в том, ни в другом случае культурный потенциал городов не пополнялся. Связка «гламурные СМИ–молодые искатели легкой жизни» – другой фактор культурной деградации городской среды 1990-х.

Еще одна, может быть странная параллель: и охрана природы, и социология как наука могут существовать только при некотором уровне спокойствия, достатка и свободного времени. Напомню слова французского эколога Рене Дюбо: «Храните хранителей!». Если хранители природы или ученые вынуждены бросать свои профессиональные занятия, природные (особенно городские) и человеческие сообщества разрушаются. Российская городская цивилизация подвергалась также

¹⁰² См. Yanitsky O. 1982. Towards an Eco-City: Problems of Integrating Knowledge with Practice // *International Social Science Journal*. Vol. 34. No 3. P. 469–480.

¹⁰³ Сорокин П. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVS. 2003.

внутреннему риску: созданные человеком технические системы требовали ухода, наблюдения, поддержания (ГЭС, АЭС, ЖКХ, дороги, вся техническая инфраструктура). Иначе они превращались в источники смертельного риска. Историко-культурная среда городов, на поддержание которой никогда не хватало средств, ветшала и исчезала навсегда. Или под видом реконструкции возникал «новодел», бутафория, годная лишь для обложки гламурного журнала.

Наконец, вернусь к исходной посылке статьи 1969 г.: урбанизация есть концентрация и интенсификация человеческого общения. Сегодня наступил этап *сетевой* (виртуальной) *урбанизации*. Она может быть квалифицирована как глобальная в том смысле, что узлы (сгустки) межличностного общения находятся в виртуальном (экстерриториальном) пространстве, а обслуживающие их технические устройства также пространственно рассредоточены. Еще на рубеже 1960–70-х гг. вслед за Р. Мейером, С. Сассен и другими американскими исследователями, я и мой (тогда) ученик М.П. Березин обращали внимание советских социологов на грядущий переход урбанизации в новое качество – информационное. Но тогда нас в лучшем случае принимали за фантазеров. Однако и в этом новом социальном пространстве есть светлая и темная стороны. Как новый этап (и уровень) межличностного общения – да, это новая фаза урбанизации; как информационный шум, спам, манипулирование массовым сознанием – нет.

2. Социальный метаболизм города

В сентябре 1999 г. в Вене состоялась конференция «Природа, общество и история: долгосрочная динамика социального метаболизма», где я выступил с докладом «Города России: динамика их социальной экологии в ходе реформ». Я не был удовлетворен своим докладом, потому что вследствие отсутствия собственного эмпирического материала, доклад был лишь грамотной иллюстрацией моей концепции «России как общества всеобщего риска» на городском материале. Здесь нужны некоторые пояснения. Метаболизм в природе – постоянно развивающаяся проблематика естественных наук. Напомню, что еще в конце 1970-х гг. австралийский ветеринар и мой коллега по программе «МАВ» Ст. Бойден с коллегами провел исследование материального (вещественного) метаболизма Гонконга, тогда самого плотно заселенного города мира, жизнь которого к тому же на 90% зависела от привозной нефти. Как повлияла «нефтяная игла» на жизнь его обитателей было не очень ясно, но вот что сверхплотность среды обитания оказала влияние на культуру и образцы поведения его обитателей – это точно.

Почему социальный метаболизм – столь «горячая», столь и редко изучаемая социологами проблема? Да потому что *социальный метаболизм* есть не что иное как *сети обмена* материальными ресурсами и информацией. Это – реальная точка встречи природных, технологических и социальных процессов и их трансформации одного в другое. Такой метаболизм есть важнейший инструмент познания реальной механики движения ресурсов в любой социальной системе! В наших условиях – это прежде всего «окно», через которое можно увидеть всю коррупционную сеть не рыночного перераспределения ресурсных потоков и социальных благ. Объем и направление потоков ресурсов и информации – самый точный, но и самый секретный индикатор реальных рычагов бизнеса и власти. Здесь социологическое исследование напрямую смыкается с журналистским

расследованием. Социологу заглядывать в такое окно крайне опасно! Но уже тогда, десять лет назад было видно, что: (1) метаболизм города в совокупности его потоков и связей есть межсекторальный, межсубъектный функциональный скелет города и, следовательно, объект междисциплинарного анализа»; (2) Р. Мейер был прав: в основе функционирования города лежит сделка (a deal). Только российский город живет совсем не по рыночным законам, то есть не по законам эквивалентного обмена. Власть из общественного блага превратилась в товар, потоки которого (административный ресурс) – существенная часть этого функционального скелета; (3) городская механика работает прежде всего на себя, то есть на ее создателей и пользователей, а не на население. Как говорил известный политик, «друзьям – все, остальным – по закону». Подобный «метаболизм» – результат не самоорганизации городского сообщества, а внешнего управления им. Власть устанавливает «правила метаболизма», что противоречит самому принципу самоорганизации; (4) город и его жители – огромный растратчик невозобновимых ресурсов, и «виноваты» в этом не жители, а культивируемый СМИ, этой четвертой властью, *потребительский* взгляд на мир. Такой «метаболизм» – индикатор демодернизации и дезурбанизации; (5) зачем проводить дорогостоящие и опасные для жизни ученого исследования метаболизма, когда первые лица государства признают, что в России энергетические затраты на единицу продукции в некоторых отраслях выше в 15–20 раз, чем в развитых капиталистических странах; (6) государственные чиновники «кошмарят» бизнес, а он вместе с местной властью, делает то же в отношении населения. Это не метаболизм, а принуждение и вымогательство – город живет по принципу «лопай, что дают!»: монопольные цены, завышенные коммунальные тарифы, потоки всевозможных подделок и фальсификатов и т.д. и т.п.; (7) в этом смысле советская система никуда не ушла, потому что вновь и вновь воспроизводится ее основа – силовое перераспределение ресурсных потоков. Только раньше это были бездонные карманы могущественных ведомств, а теперь – вполне конкретных групп и лиц; (8) эту систему нельзя одномоментно реструктурировать – она просто развалится. Гонконг и Сингапур был 50 лет назад «городами-разбойниками», сегодня их метаболизм более или менее прозрачен, потому они и процветают; (9) ресурсы расхищаются также путем их омертвления. Лихие деньги надо отмывать, то есть куда-то вкладывать. Отсюда – огромное омертвление капитала в виде жилищного строительства, когда квартиры покупаются не для жизни, а как средство отмывания грязных денег. Дома и целые кварталы стоят пустыми. Это – омертвление городской жизни», то есть та же дезурбанизация; (10) как я отмечал в том докладе, динамика большого российского города – это образование все большего числа замкнутых «оазисов благоденствия», ресурсно и энергетически обеспеченных за счет остальной среды; (11) и раньше, и сейчас социологи стремились «вскрыть язвы» города, а не анализировать реальную механику взаимодействия реальных сил. Иными словами, указывали на болячки, тогда как надо было лечить больного; (12) итак, метаболизм ресурсов и информации – проблема вовсе не техническая или биологическая проблема, а сугубо социальная и политическая. Это проблема соотношения власти и общества, проблема зрелости гражданского общества, проблема демократии. А за ними стоят еще более фундаментальные проблемы: чувства ответственности и российского менталитета. Итак, круг замыкается: метаболизм города – это проблема «контроля контролеров», которую безуспешно решали лучшие умы России. Но этим методом проблему урбанизации решить нельзя вообще, потому

что она – средовая. А среда эта, экономическая, человеческая, ментальная, как показала наша история, меняется очень медленно, столетиями. Есть ли у России такое время?

Информационные процессы – растущий по важности момент этого метаболизма. 40 лет назад еще не было понятия «информационное общество» – речь велась о научно-технической революции (НТР). Однако в конечном счете не термины, а сущность стоящих за ними процессов имеют значение. Вот какие гипотезы были тогда выдвинуты мною на основе анализа трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, советских и западных социологов и урбанистов, а также – моего собственного включенного наблюдения в процессы социальной жизни советских городов второй половины 1950-х – середины 1970-х гг.¹⁰⁴

Во-первых, это *нестабильность* городских систем вследствие постоянной переориентации деятельности их институтов на все более широкие цели – региона, нации, мирового рынка. Городские системы развиваются под знаком постоянного взаимодействия и конфликта локальных (территориальных) и глобальных (отраслевых) сил.

Во-вторых, производство знаний как продукта и результата всеобщего труда носит по своей природе *кумулятивный и экстерриториальный характер*, то есть развивается в направлении сосредоточения и является атрибутом человеческой культуры в целом. Значит, концентрация знаний и информации в городах также является не сугубо городским феноменом (подтверждением тому является закон рассеяния публикаций, открытый С. Бредфордом, который в свою очередь есть частный случай закона Ципфа).

Это означает, в-третьих, что знание, освобождаясь от личностного способа передачи, становится все более мобильным. Меняется и его характер: тогда представлялось, что культура эпохи НТР является высоко «алгоритмизированной», хранилищем рациональных программ, принципов и общих закономерностей человеческой жизнедеятельности. Мною не была учтена противоположная тенденция: конструирование знания и информации в манипулятивных целях. Изменяется и структура коммуникативных систем общества в целом: *иерархический* способ передачи информации все более вытесняется *референтным*, т.е. обращением всех коммуникаторов ко множеству равноудаленных источников информации. Тем самым, среда конкретного города, становясь элементом информационной среды общества, теряет свой конечный характер, превращаясь в динамичный компонент развивающейся мировой системы. Это вело к выводу, что, город не только «концентрирует» людей и информацию – он используется информационным производством как необходимая для его развития «среда обитания».

¹⁰⁴ Яницкий О.Н. Город как информационная система // Социологические исследования города. Информационный бюллетень № 16. М.: ССА, 1969, С. 166–187; *его же*: Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация // Урбанизация, НТР и рабочий класс / отв. ред. Яницкий О.Н. М.: Наука, 1972, С. 38–75; *Yanitsky O.* Socio-Informational Aspects of Urbanization. Paper Presented at the VII World Congress of Sociology (Varna, Bulgaria 14–19 September 1970). Moscow: Soviet Sociological Association. 1970.

3. Роль городской среды

Теперь – о гипотезах относительно городской среды как таковой. Я полагал, что названные выше процессы приведут к значительному расширению сферы и увеличению социальной роли среды воспроизводства личности, а следовательно, и роли города. Главный тезис состоял в том, что локализованная в городах человеческая деятельность является *экстерриториальной* по своему характеру: «универсальное общение по поводу универсальных целей». Далее, я полагал, что фундаментальным признаком городской среды является ее нарастающее разнообразие. Как теперь видно, мое представление о том, что разнообразие активно взаимодействующих личностей, их культур, представлений и ориентаций есть одновременно генератор инноваций и механизм кристаллизации общего, общепринятого, общепонятного, в конечном счете превращающегося в привычное, были в принцип верными. Но, как показала жизнь, сильно упрощенными. В частности, оказалось, что сети общения разделяются на общедоступные, ограниченно доступные и сугубо закрытые. И чем сильнее была эта дифференциация, тем активнее жители компенсировали ее за счет личных связей и знакомств.

Принципиально важным моментом было предположение, что наблюдается переход от «стабилизирующей к развивающейся рутинизации» общения, так как ускоряющееся развитие общества требует ускоренного *«опривычивания»* новых знаний и информации, вводимых в него наукой. Изменив угол зрения, я предположил, что роль городской среды, ее групп и сообществ, заключается в *посредничестве* между потоками специальной и общекультурной информации. Далее, ситуация будет развиваться в направлении *уплотнения* информационного потока на основе познания «все более общих, фундаментальных принципов движения общества и природы». Вместе с тем, уже тогда, в 1972 году, я полагал, что городская среда выполняет своеобразную функцию *канала массовых коммуникаций*, общения людей как неспециалистов, кристаллизуя и распространяя нормы и стереотипы повседневной жизни, причем наиболее эффективных и рациональных. Другая сторона социально-информационной функции городской среды виделась в ее функции *адаптации* сельских мигрантов к высшим достижениям культуры, к специфическим формам и стереотипам урбанизма как городского образа жизни. Опираясь на работы ученых, я предположил, что одним из наиболее эффективных «контейнеров» хранения и транспортировки информации являются сами горожане. Критерием общения становится информационная емкость контакта, в основе которого «лежит более общий принцип информационного поведения индивида – стремление к *минимизации затрат времени*. Отсюда логически вытекал принцип *активно-избирательного общения* индивидов в городской среде¹⁰⁵. Наконец, свидетельством возрастающей мобильности информационных систем, их экстерриториальности (напомню, речь шла о 1970-х гг.) явилось распространение «незримых коллективов» в науке и неформальных сообществ «людей улицы».

4. Город как сетевой процесс

¹⁰⁵ Яницкий О.Н. Социально-информационные процессы в обществе и урбанизация, С. 70–73.

Каков же итог этого экскурса в собственный прогноз почти 40-летней давности? Как представляется, мои гипотезы в отношении тенденций развития урбанизации под воздействием социально-информационных процессов в общем подтвердились. Приведу лишь два свидетельства современных западных социологов. Как отмечал М. Кастельс, сегодня происходит фундаментальная трансформация работы: индивидуализация труда в трудовом процессе. Далее, говорит он, приходит конец различиям между визуальными и печатными средствами медиа, общедоступной и высокой культурой, развлечениями и информацией, образованием и пропагандой. Поэтому современный «...информационный город является не формой, но процессом, который характеризуется структурным доминированием пространства потоков». Возникает явление социальной асимметрии современных мегаполисов: «они связаны с глобальными сетями и глобальными сегментами их собственных стран, в то время как внутри страны они исключают (из глобальных сетей) местные популяции, которые являются либо функционально ненужными, либо социально подрывными... Именно эта отличительная черта глобальной “включенности” и локальной “исключенности”, физической и социальной, делает мегаполисы новой городской формой. Функциональные и социальные иерархии мегаполисов пространственно размыты и перемешаны, организованны в укрепленных лагерях и испещрены нежелательными “заплатами” в самых неожиданных местах. Мегаполисы – это полные разрывов констелляции пространственных фрагментов, функциональных кусков и социальных сегментов»¹⁰⁶.

Как писал другой видный социолог, З. Бауман, «Последняя четверть XX столетия, весьма вероятно, войдет в историю под названием “Великой войны за независимость от пространства”. В ходе этой войны происходило последовательное и неумолимое освобождение центров принятия решений (а также расчетов, на основе которых эти центры принимают свои решения) от территориальных ограничений, связанных с привязкой к определенной местности». Так как «состав акционеров не определяется пространством», всякая компания обладает свободой передвижения... «Тот, кто обладает свободой “бежать” из данной местности, абсолютно свободен от последствий своего бегства». В результате «возникает новая асимметрия между экстерриториальной природой власти и по-прежнему территориальной “жизнью в целом”, которую власть, снявшаяся с якоря и способная перемещаться мгновенно и без предупреждения, может свободно использовать, а затем оставить наедине с последствиями этого использования ...Теперь в расчетах “эффективности” инвестиций можно уже не учитывать затраты на борьбу с последствиями»¹⁰⁷. Бауман, правда, не указал на не менее важную оборотную сторону медали: борьбу за владение пространством физическим, будь то земной, водный или космический ландшафт.

Тем не менее, два серьезных критических замечания в собственный адрес я должен сделать. Первой – это следование методологии естественноисторического процесса, акцент на развитии информационных систем как новой

¹⁰⁶ Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ. 2000. С. 225, 352, 374, 379.

¹⁰⁷ Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. С. 18–24, 127–128.

производительной силы, недостаточное внимание к их конструктивной (манипулятивной) роли политического и социального инструмента в формировании ценностной и социальной структуры общества. Все, за неимением тогда надлежащего эмпирического материала о содержании функционирования этих систем, представлялось слишком гладко. Второй – это «прогрессизм», отсутствие анализа теневой стороны грядущих перемен, тех рисков и опасностей, которые они сегодня порождают. То есть перемещение земных болезней и конфликтов в мир виртуальных сетей. Но, как я уже говорил, важность проблематики информационно-коммуникационных рисков и манипуляций стала очевидной много позже.

5. Перспектива: от вмещающего ландшафта к технологическому

С моей точки зрения, понимание урбанизации как процесса, который развивает демократию и формирует городскую культуру, сегодня уже не соответствует реальности. Как назвать и определить суть современной фазы урбанизации, разворачивающейся на пространстве европейской культуры – трудный теоретический вопрос. Представляется, что методологически надо исходить из следующих позиций.

Во-первых, это изменение самого типа европейского общества: переход от общества «недостатка» (society of scarcity) к обществу расточительства (squandering or wasting society) или потребительскому обществу¹⁰⁸. Эксплуатация «ресурсной периферии», к которой пока относится и Россия, неконтролируемое развитие новых технологий, основанное на эксплуатации интеллектуальных ресурсов этой периферии, обостряющийся конфликт потока и места приводит к формированию на евро-атлантическом пространстве *«общества всеобщей неопределенности и риска»*. Старые культурные центры быстро деградируют, новые центры – технопарки, центры ресурсной индустрии, туризма и сервиса – процветают. В целом городская среда становится все более рискогенной, опасной для жизни и здоровья.

Во-вторых, эти изменения влекут за собой изменение социально-пространственной структуры общества. Для предыдущего этапа характерны территориальная концентрация и пространственная дифференциация труда и населения в крупнейших городах, для современного – деконцентрация и дегерриториализация. У предыдущего этапа был четкий вектор процесса: деревня–город, у современного такого вектора нет, есть множество направлений – в города, пригороды, межстрановая и даже межконтинентальная миграция. А главное: накопление социального потенциала может происходить *без пространственного перемещения его носителя*. И – наоборот: концентрация населения может обозначить деградацию городской среды, дезурбанизацию. Раньше концентрация массы людей на ограниченном пространстве порождала их непосредственное взаимодействие и конфликт, на почве которых возникали классовые и профессиональные общности и социальные движения. Сегодня структурными

¹⁰⁸ Финансово-экономический кризис заставил задуматься западных социологов об обратном: «Борьба за обладание большим постепенно будет вытесняться борьбой за сохранение того, что уже есть, которая, если порядок вещей не изменится, постепенно превратится в основополагающую борьбу за выживание» (Smith D. Editorial // Current Sociology. May 2008. Vol. 56 (3). P.349).

элементами социальных систем являются индивид, корпорация и сеть. Поэтому массовые движения становятся сетевыми.

Что касается России, то в ней произошла вторичная тотальная реструктуризация социально освоенного пространства. Выше шла речь о таковом вследствие распада СССР, введения частной собственности и т.д. Сегодня обозначается новый поворот: от системы «вмещающих ландшафтов», где человек был связан с природой своим трудом непосредственно, к техногенному ландшафту, типологической основой которого является связка «вахтовик–природный ресурс–транспортная инфраструктура». Этот *сетевой ландшафт* может вмещать столько людей, сколько будет экономически выгодно для извлечения и транспортировки данного ресурса в данный момент. Никакого «севооборота» или «паров», как в земледелии, то есть длительного культивирования ландшафта, здесь не требуется. Напротив, ландшафт, особенно заселенный и окультуренный, – помеха созданию «ресурсного каркаса» страны. Если все же считать, что урбанизация есть момент модернизации общества, то последняя будет развиваться в трех пространствах: биосферном, социотехническом и виртуальном, конфликт между которыми неизбежно будет нарастать.

В-третьих, всепроникающий рынок освободил культуру, науку и образование от роли двигателя городской культуры и законодателя базовых прав и свобод общества. Знание, культурные ценности и информация стали просто «товаром». Более того, скоропортящимся товаром становятся и все человеческие общности, если они не обслуживают интересы капризного рынка. Наконец, терпит поражение активистская социология, утверждавшая, что городские социальные движения (при определенных условиях) есть мотор поступательного движения общества вообще и пересмотра его базовых ценностей в частности (А. Турен). Если нет морального фильтра, то навязывание человеку все новых потребностей может происходить бесконечно долго. Как сказал К. Эрроу, Нобелевский лауреат по экономике, «Рынок не совместим ни с чем. Ни с демократией, ни с авторитарным строем – ни с какой формой правления... Если угодно, рынок вообще вытесняет общество как каркас человеческих отношений»¹⁰⁹.

Этот рынок отнюдь не является естественным регулятором общественной жизни, как утверждали теоретики либерализма. Сегодня господствует «силовой рынок», то есть силовой захват природных, социальных и интеллектуальных ресурсов, а также территорий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним и их транзит. Следовательно, и современная урбанизация развивается по тем же канонам. Их суть – игра на понижение культуры, когда происходит не производство нового, а захват и перераспределение уже ранее созданного. В производстве и банковской сфере – рейдерство, силовая приватизация, в науке и литературе – тиражирование и массовый плагиат, в искусстве – бесконечные перелицовки классиков, ее понижение до уровня попсы и китча. Я не отрицаю существования высокой науки и элитарного искусства. Но они производятся элитой и для сохранения ее господства. Для остальных существует индустрия товаров массового потребления и массовой культуры как главный сегмент потребительского рынка.

¹⁰⁹ Цит. по: *Кустарев А.* Рецензия на книгу Е. Ясина. Приживется ли демократия в России? М.: Новое издательство. 2005 // Pro et Contra. № 2. С. 109.

В-четвертых, возникновение кентавра «рыночно–информационного общества» привело к формированию ключевых для развития общества организаций и сетей (прежде всего финансового капитала, но также научных, культурных, сервиса и других) *вне и поверх* старых городских структур. Почти все уникальное, что ранее концентрировалось в крупнейших городах, – библиотеки, выставки, театры, центры информации и обучения, – перемещается по всему миру или доступно дистанционно. Мир посткнижной культуры стремительно расширяется. Но одновременно проблема доступности ценностей этого мира культуры из территориальной трансформировалась в экономическую, ценовую. Идеология Просвещения, реализовавшаяся в системе школ-на-местах (университетах), уходит в прошлое. Элитарная и массовая культуры разделены социальными и силовыми барьерами, и с каждым днем эти барьеры становятся все выше. Для рассматриваемого евро-атлантического ареала, включая Россию, это означает разделение и пространственное разобщение богатого (управляющего и творческого) меньшинства, *живущего во времени*, и бедного исполнительского большинства, *живущего в пространстве*, то есть накрепко привязанного к месту, причем все большая часть последнего будет вытесняться роботизированной техникой. Такое разобщение может происходить как в пределах одного офиса или здания, так и всего мира.

В-пятых, продолжающийся рост городского населения в данном регионе сам по себе представляет серьезную проблему. Дело в том, что сегодня США и многие европейские индустриально развитые страны могут позволить себе содержать более одной трети своего населения. Эти люди не просто временно безработные. Они – не селяне и не горожане, не сквоттеры и не обманутые дольщики, они носители культуры «общечеловеческого дна». Это люди, которые не нужны обществу ни в какой роли, то есть они превращаются в отходы навсегда. З. Бауман называет их париями современного общества или человеческими отходами (*wasted people*) ¹¹⁰. Это – новая экология глобального города, экология отверженных навсегда.

Наконец, в-шестых, если в XIX–XX вв. шел процесс поглощения евро-атлантической цивилизацией других цивилизаций, то сегодня мы наблюдаем столкновение исламской, китайской и европейской цивилизаций на всем пространстве городской европейской культуры. Причем инвазия этих культур в европейскую происходит сегодня на «клеточном» уровне. Есть некоторая аналогия между развитием методологии естественных и общественных наук, поэтому для понимания сути происходящего надо исследовать микропроцессы, не видимые «с птичьего полета» европейского благополучия. Отсюда – необходимость отказа от ряда постулатов и стереотипов американской, европейской да и российской социологии, абсолютизовавших господство европейской культуры («город как плавильный котел культур», ассимиляция, аккомодация и адаптация мигрантов как принцип национальной и городской политики, идеология толерантности и мультикультурализма). Вместо механизмов ассимиляции мигрантов, переработки

¹¹⁰ Bauman Z. Wasted Lives. Modernity and Its Outcasts. Polity: Cambridge. 2004.

«сырого» человеческого материала работает механизм временного использования и/или селекции уже готового. Сегодня идет борьба надгосударственных образований, транснациональных корпораций, их идеологий и культур за доминирование в мире. Доминирование сегодня означает контроль над ресурсами. Поэтому европейские города все чаще функционируют не как плавильные котлы, а как социальные и этнические фильтры, необходимые для такого доминирования.

Все это означает новую «экологическую» организацию общества и мира в целом и новые вызовы для социальной экологии как науки. Идет формирование мирового города и глобального сетевого гражданского общества.

Глава 11. Начало нулевых

Моя собственная «экоструктура» в историческом измерении. – Семейный архив как индивидуальный «случай». – Письма деда с русско-японской войны. – Точка отсчета и культурная дистанция. – Об архиве экологического движения. – Историки и социологи: врозь или вместе?

1. Моя собственная экоструктура в историческом измерении

Возраст стремительно приближался к 70-ти, пора было подводить итоги. Для этого надо было еще раз обозначить «референтные точки» моего существования как научного работника и как человека. И тем самым «идентифицировать» себя. Если бы речь шла о литературе, я назвал бы Ч. Диккенса и И.А. Бунина. Но так как в предмете моего интереса и в самой жизни научные и человеческие (семейные и гражданские) коллизии все время пересекались, то в семейном кругу я назову прежде всего моего деда, Федора Феодосьевича Яницкого, его дочь, Веру Федоровну, а в научном – Владимира Ивановича Вернадского, во многом открытого для меня и других историком науки и моим школьным товарищем Владиславом Павловичем Волковым.

Этот выбор нисколько не отрицает моей исследовательской (и житейской) «средовой» парадигмы, ее первостепенного значения для формирования любого индивида. Выбор этих личностей важен именно для меня. Являюсь ли я их «продолжением»? Как они повели себя в условиях «перелома эпох», в которые их поставила судьба? Как им удавалось сочетать свои профессиональные обязанности и гражданский долг? И, наконец, могу ли я считать себя хоть в какой-то степени носителем европейской культуры, каковыми несомненно были они?

Но сначала – отрывок из моего интервью Г.С. Батыгину. Г.Б.: Насколько, с вашей точки зрения, важно для социолога знать историю своей семьи? О.Я.: А разве социолог не человек? Посмотрите, сколько людей до сих пор ищут родных и близких, хотят знать, кто они, откуда родом, кто их окружал. Ищут десятилетиями, ищут со времен гражданской войны, военного лихолетья, репрессий и даже в дореволюционной России. Корни семейные, «малой родины», национальные всегда важны для самоидентификации всякой личности, ученого в том числе. Особое значение эти корни имеют в современной России, когда в очередной раз миллионы семейных связей были разрушены.

У социолога тоже должна быть точка отсчета, референтная группа в собственном прошлом. Тем более, если этот профессионал занимается российскими проблемами. «Кто я?» – этим вопросом задавались многие великие

мыслители, потому что познавая себя, они лучше понимали окружающий мир. Ведь в сущности, семейная история это ключ к пониманию социодинамики общества. Конечно не единственный. Но даже если социолог считает себя «гражданином мира», то его семейное прошлое все равно остается для него важной «референтной точкой». Посмотрите повнимательней на работы современных западных социологов – у всех у них явно и подспудно просвечивает если не семейный, то локально идентичный контекст.

Г.Б.: Вы опять о социологии вообще. Нельзя ли о вас конкретно? О.Я.: Вероятно вас интересует моя работа над семейным архивом, в результате которого появилась книжка «Семейная хроника»?¹¹¹ Я уже говорил, что микропроцессы с течением времени меня интересовали все больше. Семейный архив, собранный моим отцом, Николаем Федоровичем Яницким и его родной сестрой Верой Федоровной Шмидт лежал до поры до времени без движения, хотя я неоднократно пытался подступить к нему. Моя концепция первичной экоструктуры существовала отдельно, а письма и документы моих близких – отдельно. Наверное, надо было просто продолжать собирать и разбирать их пока были живы многие свидетели той поры, но мне как научному работнику не хватало импульса, мотива, чтобы погрузиться в этот материал. Возможно, я просто не созрел для такой работы или меня смущал «мемуарный» жанр, или просто время не пришло – не знаю...

Во всяком случае побудительные импульсы пришли *извне*. Нашлись известные мне (по архивам) родственники. Прямо вот так, вдруг, почти в один день объявились. А главное, когда мы с братом Владимиром наконец собрались и положили наши архивы рядом, то с удивлением обнаружили, что они – это две половины одного целого, они буквально сошлись, срослись один в один, составив историю семью почти за 60 лет! Могу только предположить, что отец, и тетя сознательно разделили семейный архив пополам в надежде, что хоть одна его часть уцелеет. Уцелели, к счастью, обе, но спросить о многом было уже не у кого. Тогда я отставил в сторону все свои научные изыскания и год почти не отрываясь сидел над письмами и фотографиями родных и близких. Всех их я помнил, но все равно это было потрясение от встречи с ними. Но разве самопознание через архив моей собственной семьи, это не наука только в другой ипостаси?

После прямой речи нет способа межличностной коммуникации более сильного, чем эпистолярный жанр. Никакое электронное послание не может так приблизить вас к жизни других, вернуть именно для вас давно ушедшие времена. Я погрузился в другую эпоху, в Россию начала XX века, эпоху революции, войн и последовавших за ними трагических перемен. Удивительно, но дед и тетя в своих письмах говорили именно о России почти в тех же словах, в которых я думаю теперь, сегодня. Если в детстве и позже дед был для меня «естественным» авторитетом, то теперь, когда наши мысли и чувства во многом совпали, он стал очень важной точкой в моем личностном «референтном пространстве». Само это пространство получило опору в семейном прошлом. Это прошлое перестало быть историческим фактом – оно стало ценностным ориентиром для нынешней жизни. Так что работа с семейным архивом и написание книги были отнюдь не «перелистыванием пожелтевших страниц», а подкреплением, мобилизацией

¹¹¹ Яницкий О.Н. Семейная хроника. 1852–2002. М., 2002.

мыслей и чувств, которые я испытывал здесь и сейчас. История моей семьи помогла мне лучше понимать новейшую историю России. Если смотреть структурно, то можно сказать, что моя «экологическая ниша» получила историческое измерение (из интервью Г.С. Батыгину 2002 г.).

Мне кажется, что каждый социолог и вообще гуманитарий должен написать свою семейную хронику. Не только для того, чтобы реально и эмоционально ощутить тот интеллектуальный и нравственный заряд, который он получил от семьи и ее ближайшего окружения. Но прежде всего, чтобы увидеть, взглядеться в самого себя в этом «семейном зеркале». Мне очень жаль, что биографика как социологическая дисциплина, столь бурно развивавшаяся в России начала 1990-х годов, сегодня как-то отошла на второй план. И это – на фоне явно растущего интереса американских и других социологов к «семейной» истории современной России, особенно когда она представлена судьбой нескольких поколений. Думаю, они правы: трансляция культуры всегда шла через семью, а у нас, когда в одночасье рухнули все социальные институты, уж особенно. Кстати, они были правы еще в одном: фотографии представляют не меньшую историческую ценность, чем письма и документы. Я иногда вынимаю дедовские или отцовские фото 1900–20 гг. и всякий раз поражаюсь: насколько это были другие лица. – в них было больше свободы и одухотворенности, чем в тех, которые делал я потом сам или получал после очередной конференции. Во всяком случае та культура семейной и коллективной фотографии ушла вероятно навсегда.

Сегодня фотографы-профессионалы стремятся «поймать» непривычную позу, ракурс, выражение лица. У них нет контакта с «объектом», напротив, они его именно ловят именно в те мгновения, когда он этого не хочет, прячет свою интимную жизнь. Тоже и с видео: в их беспрерывно движущиеся кадры нельзя взглядеться, а ведь хочется задержать «мгновение» и всмотреться в него, увидеть и понять детали. Хочется спросить: что же плохого в позировании, когда люди специально одевались, рассаживались, готовились к этому акту культурного действия? Вообще, занимаясь пейзажной живописью, я стремился схватить именно это – мгновение, его настроение. Современный гламур при всей узнаваемости публичных персон или патентованных красавиц – все же обезличен до крайности, потому что лишен нормальной, привычной обстановки, среды своего обитания. Если сказать совсем определенно, то тогда семейная фотография была фактом истории, сегодня – скоропортящимся товаром, постановкой, которая мгновенно будет заменена следующим кадром.

2. Семейный архив как индивидуальный «случай»

«Семейная хроника» разошлась мгновенно, но в больших библиотеках она надеюсь, еще есть. Она повествует об истории семейного клана на протяжении более ста лет, с конца XIX и вплоть до начала века нынешнего. Она включает 10 биографических очерков, в совокупности представляющих собой историю двух семей и их ближайшего окружения в трех поколениях – их семейные и культурные корни, их взгляды на жизнь, карьеру и жизненный путь на переломе двух эпох. Я пытался на конкретном примере этих семей представить эволюцию части российской интеллигенции на протяжении полутора столетий через характеристику ее жизненных позиций и переплетение жизненных траекторий личностей различного масштаба (от рядовых граждан до выдающихся деятелей советской эпохи), политической ориентации (от монархистов до эсеров-

максималистов) и семейных ценностей (от сторонников традиционного семейного уклада до адептов нового быта). Насколько мне это удалось – не знаю, но книга оказалась одной из наиболее читаемых вот уже почти 7 лет¹¹².

Я бы сказал, что социологически мой семейный архив как целое представляет собой развернутый во времени индивидуальный «случай». Насколько он типичен – другой вопрос. Думаю, что можно говорить о типе. Работа по изучению других случаев, о которых я говорил выше, очень мне здесь помогла. Выстраивая по письмам и документам некоторую ось семейных событий, я одновременно собирал «вокруг» нее контекст – от непосредственного до исторического. То есть работал над первичной экоструктурой, только семейной. Время от времени я обращался за помощью к В.П. Волкову, а также к своему сводному брату историку Сигурду Оттовичу Шмидту. Консультировался я и с историком советской архитектуры С.О. Хан-Магомедовым. Для работы с интервью с другими членами семьи и близкими мне пригодились мои знания с области истории российского искусства начала XX века. Так что моя коммуникативная ниша в который уж раз получила новое измерение и новые связи.

Более того, сделав это раз, я чувствую необходимость продолжить поиски (я ведь действительно нашел далеко не всех), вижу сколько подобных сюжетов развивается рядом с моим, как они неожиданно переплетаются. Незвестные факты и документы как будто сами идут тебе в руки. Ранее я сказал, что по моему мнению, со временем люди не меняются, а лишь проявляются. Теперь я начинаю сомневаться в этом. Но приходят на ум и более серьезные вопросы: как семейная история соотносится с историей страны или хотя бы места, где эта семья жила? Может быть я пристрастен или односторонен, но в письмах деда я вижу огромный аналитический ум, который, казалось бы, развивался в совершенно неподходящих для этого обстоятельствах походов и трех войн. Снова встает ключевой для меня вопрос: а где эта рефлексия делается? В тиши кабинетов и лабораторий, или в моменты наивысшего напряжения душевных сил, критического состояния общества (вспомним П. Сорокина и его «Голод как фактор...»). Недавно перечел рассказы В.В. Вересаева о русско-японской войне и поразился, насколько его строй мысли созвучен дедовскому.

Приведу несколько отрывков из писем деда, чтобы показать: его мысли тогда, сто лет назад, злободневны и общественно значимы сегодня:

3. Из писем деда с русско-японской войны

Письмо первое: «...Ты, дочь моя, увлекаешься теперь происходящим <революционным> движением в России. Я сожалею, что не с вами теперь, и не могу делиться с Вами моими взглядами и живым словом! Тем не менее скажу хоть несколько слов в письме. По существу это движение не симпатично, ибо желая сделать для России якобы лучше в одном, – оно губит Россию в другом. Мнящие себя передовыми людьми – что же сделали <они> хорошего для России? Они – воспользовались в высшей степени затруднительным и тяжелым положением

¹¹² Недавно позвонил Д. Уинер из США Он сказал: «Я позвонил только потому, что наконец прочел вашу “Семейную хронику”». Что ж, думаю, это еще один аргумент в пользу правильности сделанного мною выбора.

России вследствие войны – и стали вырывать у правительства согласие и разрешение на всякие реформы!

Вдумайся хорошо: правильно ли, честно ли так поступать, – о чем это говорит? – О любви ли к Родине, о желании искреннем ей улучшения, добра, блага, или о корытном властолюбии и честолюбии добиться своего путем насилия из-за угла? Россия изнывает на поле брани, а оставшаяся дома интеллигенция занимается тем, что четвертует и колесует бедную Россию, отвлекает силы и внимание от общего первейшей важности ратного дела, смущает умы и дома и на полях брани в войсках распространяя пропаганду всякую и достигает того, что военное дело мало успешно, а там – дома – готовится похищение власти из одних рук старого правительства в другие руки под видом европейского союза, именуемого революцией, конституцией и пр. В данном случае интеллигенция поступила в отношении Родины предательски, она сыграла роль пошлого ростовщика, который с наслаждением пользуется тяжелым безысходным материальным бедствием ближнего, чтобы при займе ему денег содрать с него как можно больше процентов!

Если бы люди, мнящие себя передовыми в России, – желали искренне добра Родине, – они, как это делают и делали и теперь во всех народах и государствах мира, прежде всего сплотились все как один для одоления врага на поле брани, ибо там решается теперь судьба России – и государственная, и политическая и экономическая, – а затем, покончив с этим величайшим делом, – занялись бы всеми силами устройством дел и у себя дома, их реформированием, изменением, организацией. Так говорит здравый разум! Не то сделали интеллигенты русские, они поступили наперекор здравому смыслу и послужили по праву посмешищем в Европе и даже в Японии, в руку которой они так много сыграли!

...Не думай, что я против реформ, против улучшений, что я считаю теперешнее положение вещей хорошим! Нет. Я так не думаю. В каждом деле даже маленьком домашнем, а тем более в большом Государственном – нужны улучшения, нужны реформы. Но для них нужна подготовка прежде всего *самих себя*. Ну а если теперь каждый из нас поисповедует свою совесть и спросит, *подготавливался ли он к реформам, изучал ли он те вопросы, которые хочет реформировать и как их надо реформировать*, чтобы не вышло еще хуже, то на эти все вопросы последуют отрицательные ответы. И каждый считает излишним углубляться и вдумываться, коли можно позаимствовать за границей и реформы наравне с галстуками, ботинками и юбками. Это грустно, но это так! Немцу, англичанину, французу – их реформы хороши для них и только для них, ибо они их продумали, глубоко прочувствовали, изучили и взяли от корня свое родное историческое, а не чужое – краденое. Не то, что делаем мы! Мы хотим ворованное, иностранное перелицевать на русский манер – лишь бы не было по-старому! Мы очень хорошо знаем иностранную историю, революцию во Франции и Англии, но не интересуемся своей родной историей, а потому нам совестно не сделать у себя революцию, и не менее совестно и стыдно создавать у себя реформы на почве русской истории, углубляясь и изучая ее во всей глубине и широте! Мне грустно отсюда читать и слышать, что творится у нас дома! Готовится захват власти кучкой честолюбцев, без ума, без совести и если это им удастся в тяжелую годину России, они погубят ее!»...

«Я низкого, невысокого мнения о теперешнем движении интеллигенции не без основания. Когда до войны призывали русскую интеллигенцию на

совместную дружную работу по реформе русской школы и по реформе русских судебных уставов – тут она оказалась неучем, неподготовленной, ибо кроме хлестких газетных полемических и критических статей, никто не дал солидного труда, – который стал бы фундаментом, основанием исходной точки для толковой реформы! Вместо солидного упорного, напряженного труда – она занималась изготовлением динамитных бомб или в лучшем случае поглядывала во французские и немецкие книжки, чтобы оттуда стащить и выдать за свое! Вот как подвизалась русская интеллигенция во время мира в разработке важнейших общественных вопросов! И вдруг – в годину тяжкого испытания России эта безмозглая интеллигенция, повыскачила из-за угла и путем бомб и насилий взяла в свои руки совершение социального переворота, и при том от имени даже всей России!! Какая наглость и дерзость! Кто дал право им действовать от имени России?! Ясно, что люди преследуют свои личные цели, а не благо Родины потому и торопятся воспользоваться замешательством России, чтобы вырвать у правительства хоть что-нибудь. Вот каким образом наши умники, захватывая власть в свои руки думают реформировать Россию, по своему усмотрению немедленно, благо в иностранных книжках есть готовые образчики, к чему ломать голову, изучать, утруждать мозги, не приученные к солидной работе! Вот чем пахнет теперешняя реформа в России! Непрошенные реформаторы считают, что готовить ее для реформы не надо, достаточно для этого взбунтовать гимназистов и студентов и реформа выйдет первый сорт!» (из письма Ф.Ф. Яницкого к дочери В.Ф. Шмидт, Манчжурия 28.04.1905).

Письмо второе

«...Твои взгляды, высказанные в письме, на войну и мир я одобряю, они исходят от чисто детской души и не могут быть иными! Тем более, что женщина вообще не должна по своей природе желать войны, жаждать крови, искать смерти! Этих святых чувств я не могу не уважать, как и все вообще мужчины. Но когда ты больше немного поживешь, созреешь больше умственно и душевно и будешь смотреть на такие великие исторические события, как теперешняя война и вообще войны, в связи с историческим прошлым каждого народа и его задачами историческими для будущего, – возникшими, развившимися и созревшими вследствие так же исторической необходимости, а не по капризу отдельных лиц – необходимости, имеющей в своем основании потребности нации, возникающей из духовной и материальной или экономической мощи или слабости, – если все это примешь в соображение, углубишься, вдумаешься, тогда и поймешь, что войны между народами неизбежны, непредотвратимы, ибо *«мир во зле лежит»* – как сказано в священном писании.

Если на каждую войну ты будешь смотреть, как на событие величайшее исторической важности, имеющее глубокие корни в прошлом и доищешься этих корней, тогда тебе ясно станет, что война не есть одно только пошлое зверское, никому не нужное истребление людей, как многие думают, а глубоко моральное жертвование своей жизнью на защиту Родины. Кто любит Родину и свой народ, кто не может допустить рабства и порабощения своей Родины и своего народа другими народами, – тот не может и не должен бояться войны, когда того потребуют интересы Родины. Как мать защищая свих детей от грозящей опасности жизни, – все употребит в дело, даже смерть для себя и для врага, так и дети должны постоять своей жизнью за свою мать Родину! Без этого немыслима жизнь

ни одного государства, ни одного народа с тех пор как живет мир и род человеческий. Это ты видишь из всемирной истории человечества. Там, где иначе смотрят на войну, где каждый равнодушен к судьбе своей Родины и личную жизнь ставит выше ее, – там крепости, мощи национальной нет, там государству грозит разложение и порабощение другими [государствами], за которым через 2–3 поколения наступает полное не только политическая, но и народная смерть! Помимо этого, – уже одно то, что война всемирна, всечеловечна что все государства в мире и нации от начала своей истории и до сих дней воевали, воюют и будут воевать и что война везде и всюду входила и входит как один из величайших факторов в развитии, обновлении укреплении и возвышении одних наций – к уничтожению и порабощению других – одно уже это должно заставить тебя призадуматься, чтобы сделать войне надлежащую оценку с точки зрения мировой истории» (Ф.Ф. Яницкий к дочери Вере (26.09–02.10.1905, Манчжурия).

И еще одна вещь всегда беспокоила деда: соотношение политики и нравственности, политики и воспитания человека. Он все время повторял дочери, что «воспитание души человека *на первом плане* и [неразб] всяких условностей вроде реакции, застоя и других жупелов, на которые наше время так любят ссылаться все, кто ничего серьезного и толкового делать не хочет. Наше время все эпидемически взялись за желудок, за карман, за шкуру и в этом видят спасение общества. Душу же человека забыли, даже теплившуюся искру духовности и ту поспешили погасить. Вместо церкви повели народ поучать в кабаки и на митинги. Результаты налицо. Вот о чем должна призадуматься и порадеть русская женщина на пользу русского народа. Она должна сделаться *народным педагогом* в истинном, а не ложном смысле слова, она должна вернуть русскому человеку его душу, его совесть, его разум, его веру в Бога» (из письма 1909 г.).

Через 12 лет, уже пройдя испытания революцией и гражданской войной фактически уже совсем из другого мира, Федор Феодосьевич снова возвращается к этой теме: «...Ведь пора – давно пора *и в науке, и в жизни* выдвинуть психологические явления на первое место, дать широкое освещение всех явлений и фактов жизни – в широком масштабе, – а в крайнем случае на первых порах хотя бы явлениям человеческой жизни – *началам психологическим*. И тогда только наша культура ... не была бы так односторонняя, однобока и фальшива, какой она является теперь. До сих пор и в науке, и в жизни мы не чувствуем духовного начала, мы потеряли душу, и нам – во что бы то ни стало надо ее найти и вернуть ... Тогда только пойдет все по другому, к лучшему. Это я чувствовал с молодых лет, и с покойной мамой мы были в этом вопросе единомышленники. К слову сказать – проведение всюду психологического начала должно, по моему, принадлежать главным образом женщине через школы, ибо мое глубокое убеждение – школы всех низших и отчасти средних ступеней должны принадлежать женщине, это ее сфера деятельности, ее царство,... она должна быть проводником нового *духовного начала жизни*» (21.03.1921).

Не этого ли не хватает сегодня: начать с себя с тем, чтобы вернуть в нашу жизнь духовное начало? Причем, везде – в бизнесе, политике и науке? Или, как выражался дед, мы будем продолжать «эпидемически» держаться за желудок, за карман, за шкуру и в этом видеть спасение нашего общества? Хорошая формула общества риска!

4. Точка отсчета и культурная дистанция

Сегодня, по прошествии почти 10 лет после написания «Семейной хроники», стараюсь понять, что же дало мне это знакомство с историей семьи почти за полтора столетия? Думаю, очень многое. Снова проявились и стали жизненными императивами некоторые «точки отсчета». Прежде всего это были образованные, *высоко образованные люди*. В той среде знание двух европейских языков было обыденной нормой. Плюс еще латынь и греческий. Ближайший друг семьи, Б.П. Зепалов, инженер, был вообще полиглотом. Когда я в «Узком» разговариваю с А.Н. Федоровым, профессором лингвистом и преподавателем латинского языка, слушаю его рассказы о международных конгрессах латинистов, я прикипаю к культуре *русских европейцев* моих деда и бабушки, отца и его круга, дяди Отто и тети Веры Шмидт, которая не только свободно говорила по-немецки, но и профессионально обсуждала проблемы психоанализа с Зигмундом и Анной Фрейд. Странное дело, давно рухнул «железный занавес», мир открылся, но я не вижу никакой тяги у студентов к изучению языков. Никакой!

Та среда русской интеллигенции была *европейски образованной*, причем в массе образованной, а не как сегодня, когда доступ к европейским университетам имеют только дети богатых и очень богатых. Учеба или стажировка за границей были нормой. Дед был членом Пироговского общества и регулярно выступал там с докладами. А ведь он нес военную службу, мотался по частям, проверял, инспектировал. Много ли сегодня найдется военных врачей, которые имеют возможность сделать доклад на съезде, скажем, кардиохирургов?

Когда мой отец в 1918 г. очутился в Крыму, стал читать лекции в Таврическом университете, вокруг него были высоко образованные и интеллигентные люди. Вот что пишет И. Оболенская: «В <Таврическом> университете преподавали тогда известные профессора, эвакуированные главным образом из Киева, кое-кто из Москвы. Помню не всех: Н.К. Гудзий, Б.Ф. Греков, Г.В. Вернадский, Н.Ф. Морозов, И.П. Четвериков, В.И. Смирнов, Н.Ф. Яницкий, С.Ф. Булгаков, С.Л. Франк... Много помогали <Е.П.> Пешкова, Отто Юльевич Шмидт... Министр народного просвещения Луначарский и другие...»¹¹³. А ведь это только один эпизод. Работать, не сдаваться в самых тяжелых условиях было их нравственным принципом.

Но далеко не только образованность была такой точкой отсчета. Я рос без дедушек и бабушек. Когда я спрашиваю других какую роль они сыграли в их жизни, обычно вспоминают их заботливость, ласку, внимание, тот душевный комфорт, который они создавали им в детстве. Иногда, кажется, что и до сих пор эти люди ощущают их «руку». Но со мной было совсем не так! Бабушка и дедушка писали и говорили друг другу, никак не думая, что я буду читать их письма через 100 лет. Читать уже на склоне лет, сопоставлять и примерять их жизнь на себя. *Это было бесконтактное воздействие*. Они были добры не ко мне, а к людям вообще. Жалели и помогали всем, кому могли. Оба начинали как земские врачи, в глухой и бедной провинции, потеряв там двух детей. Не раз рука об руку работали на эпидемиях чумы, холеры и дифтерита. В 1902–04 гг. бабушка заведовала санитарной станцией под Одессой, где лечились дети, больные костным туберкулезом. Позже бабушка укрывала людей во время еврейских погромов 1905 г. Сколько она устраивала праздников для детей бедных и не счесть.

¹¹³ Оболенская Ирина. Воспоминания // Вестник Российского христианского движения. 2000. № 181. С. 46.

счесть. Дед был монархист, в конце своей карьеры военного врача – в больших чинах, но он считал своим христианским долгом материально помогать своему племяннику, сидевшему в Шлиссельбурге за участие в подготовке террористического акта. Сестра Елизаветы Львовны была членом «Народной Воли», осуждена и погибла на царской каторге, но бабушке и в голову не приходило отказываться или отдаляться от нее. Дед всю жизнь помогал семье своего брата, бедного сельского священника. Дед и бабушка до конца дней были хранителями большой семьи, в ней росли и воспитывались не только двое своих детей, но и двое приемных.

Дед и бабушка были общественниками в самом точном смысле этого слова, как оно понималось в русской культуре и общественном сознании конца XIX века: они никогда не разделяли свои профессиональные и общественные обязанности. Только ли потому, что были врачами? Да, отчасти, потому что тогда клятва Гиппократова была для врача нравственной максимой. Вспомним А.П. Чехова и его доктора Дымова из «Попрыгуньи». Но прежде всего потому, что они внутренне так были настроены: жалеть людей и помогать им. Вопреки распространенному мнению, что разночинная интеллигенция была настроена разрушительно, нигилистически, полагаю, что интеллигенция, вышедшая из крестьянской среды и прошедшая школу европейского образования, в массе своей была ориентирована на созидание, на помощь и участие. И мои дед и бабушка были не исключением. Все ближайшее окружение семьи жило по тому же принципу неотложной помощи нуждающимся и страждущим. И это было не геройством, а делом обыденным, повседневным.

Еще одно, может быть, существенное заключение. Если долго изучаешь историю, страны, народа или отдельной семьи, ее общее понимание или по крайней мере акценты смещаются. Долгое время моя родная тетя Вера Федоровна, был в тени своего выдающегося мужа. Но когда я поднял архивы, выяснилось, что она в послереволюционные годы (1918–19 гг.) осуществила свое давнее желание: всеми силами помогать провинции, ее детям педагогам и учителям, пострадавшим от войн и разрухи. В.Ф. была высоким профессионалом в области, до сих пор у нас мало развитой: психоанализе. Я не имею в виду ее встречи с З. Фрейдом или Вильгельмом Райхом, хотя и они были явно не случайны, а ее повседневную работу с «трудными детьми». Работая в 1921–25 гг. воспитателем, а затем научным сотрудником Детского дома-лаборатории «Международная солидарность» Государственного психоаналитического института, она учила и одновременно училась, записывала наблюдения над детьми, вела дневник. У них в доме часто бывал писатель К.И. Чуковский, который использовал ее наблюдения в своей известной книге «От двух до пяти», цитировал ее «Дневник матери», который только-только сейчас будет издаваться. Не от нее ли я унаследовал привычку всегда иметь при себе записную книжку?

Я не буду перечислять достоинства всех. Когда я закончил «Семейную хронику», я понял, что я до них не дотягиваю, по многим статьям не дотягиваю. И уже трудно что-либо изменить кардинально, хотя отец начал учить сербский и румынский языки, когда ему было уже за семьдесят, Б.П. Зепалов примерно в том же возрасте осваивал десятый или двенадцатый иностранный язык. Геолог В.П. Волков стал историком русской науки в 65 лет, а мой брат, Владимир Шмидт, –

инициатором и участником капитального труда о второй среде своей жизни¹¹⁴ в 86 лет! Но – тянуться было для меня делом привычным, тем более за такими близкими людьми.

Более существенным результатом этого экскурса в семейную историю стало то, что я всерьез стал изучать историю русскую, что для социолога является делом непривычным. Возможно не слишком систематично, но, опять же благодаря среде, в которой я мог время от времени пребывать. Процесс погружения в историю шел разными путями. Я издал дипломную работу отца, выпущенную в 1915 г. в виде отдельной книги¹¹⁵. Расшифровал и издал несколько его лекций, читанных в Таврическом университете в 1920 г. Написал несколько статей о сборниках студенческих работ историко-этнографического кружка под руководством проф. Б.В. Довнар-Запольского, членом и ученым секретарем которого был отец. Но постепенно все более я сдвигался в историю русской науки периода ее наивысшего расцвета (вторая половина XIX – начало XX веков). Меня как социолога интересовали все те же сюжеты: каким образом соотносится, соединяется исследовательская, образовательная и общественная деятельность ученого. Чтение работ В.С. Соловьева, В.И. Вернадского, Д.И. Менделеева, П.Б. Струве, многих других социальных философов и естествоиспытателей того времени, работ современных российских историков – В.К. Кантора, Э.С. Кульпина, В.И. Пантина, Ю.П. Пивоварова, Е.Л. Рудницкой, А.И. Фурсова, С.О. Шмидта, возможность личного общения с некоторыми из них, – все время возбуждали во мне один и тот же вопрос: каково «дальнодействие» миропонимания и этики (этоса) великих русских мыслителей того переломного периода, то есть воздействуют ли они на способ нашего восприятия современной российской действительности.

5. Об архиве экологического движения

Странное дело, уже написав второй вариант этой книги, я вдруг обнаружил, что почти ничего не сказал о другом архиве – российского экологического движения (ЭД), который я собирал более 25 лет. Первое объяснение такой «дыры» в этом тексте то, что я хотел написать о нем специально, потому что это целая история части нашего общества «в лицах». И у меня все время было ощущение, что материала недостаточно, хотя, если отсчитывать его историю с начала XX века, то в ЭД уже пришли третье и даже четвертое поколения. К тому же, у меня и здесь была «референтная точка»: фундаментальный труд американского историка Д. Уинера, о котором я уже говорил. Второе: со временем выяснилось, что экоактивисты и ЭД в целом – не просто «защитники природы», а самые принципиальные оппоненты формирующегося у нас потребительского общества. Значит, думал я, здесь и подход должен быть какой-то особый. Но если покопаться, то причины такого моего «запаздывания» лежат гораздо глубже.

Мне долгое время казалось, что у меня нет «ключа» к этим обстоятельным разговорам с лидерами и активистами ЭД. Ведь каждое мое интервью с ними случалось по поводу каких-то событий, ситуаций, конфликтов этих бешено летящих «перестроечных» лет. И мои собеседники говорили именно о них, то есть о том, как они видят, понимают и оценивают эти конкретные события. Просто

¹¹⁴ «Наша Николина Гора». В 2-х томах. М.: Издательский дом ТОНЧУ. 2008.

¹¹⁵ Яницкий Н.Ф. Экономический кризис в Новгородской области XVI века. Киев.1915 (Репринтное издание, подготовленное О.Н. Яницким). М.: Таус. 2007.

поговорить об их собственной жизни им было неинтересно. Они всегда были «в деле» или, как говорят адвокаты, «сидели в процессе». А фокусом моего собственного теоретического интереса была их экоструктура, то есть сеть ресурсных и иных связей, необходимых для их воспроизводства как профессионалов и озабоченных граждан. Мне представлялось, что в этом надо копаться отдельно, создавать для этого специальные методики и т.п.

Но неожиданно я понял, что этот их интерес к «внешнему», забота и борьба за сохранение природы и есть сущностная характеристика их экоструктур, что они включены именно в те сети, которые одновременно служат им *механизмом воспроизводства* их профессионального и личного капитала. И именно его трансформации в действие приносит им моральное удовлетворение. *Отдача личного ресурса есть одновременно и его накопление.* И даже когда они стремились обособиться, не вступать в союзы с родственными им движениями (самоуправления или краеведческим), что принесло бы им и их общему делу очевидную пользу, это обособление было актом их самоопределения, самоидентификации. И, следовательно, формирования их экологической ниши. Нет или почти нет, если мыслить типологически, какой-то отдельной от их общественной и политической активности сети воспроизводства их личного социального капитала. Да, они читали нужную литературу, консультировались с экспертами, просто общались друг с другом, но это происходило все в том же кругу равнодушных и озабоченных. Даже когда они общались с «противниками» или организовывали массовые кампании протеста, механизм «включения–обособления» работал в том же режиме и приносил тот же результат: новое знание и опыт. Во всяком случае я общался именно с такими людьми, а не с чиновниками и карьеристами от экологии. Активисты очень легко вычисляются, даже просто по одежде или манере держаться. Простой пример. До сих пор многие из них, у которых уже взрослые дети, ездят по делам за границу с рюкзаком, а не с чемоданом на колесиках. Их образ жизни четко выражается в их стиле жизни.

Когда же я стал вводить в интервью с ними вопросы, касающиеся их семейной и личной истории, то оказалось, что она имеет громадное значение для их последующего выбора жизненного пути именно как активиста. Могу только пожалеть, что, будучи увлечен, как и они, событийной канвой происходящего, я мало обращал внимания на них как на индивидов со своей волей и характером. Характер, врожденные склонности имелись здесь, как я теперь вижу, огромное значение для их последующего жизненного пути. Конечно, активизм как образ жизни выдерживался годами далеко не всеми, некоторые уходили из движения навсегда, другие становились консультантами и экспертами, но такая эволюция ЭД – нормальный процесс. Он не может существовать в форме протеста или массовой кампании бесконечно.

И еще. Чем старше они становятся, тем чаще они обращаются к своему прошлому, просто общаясь на редких встречах бывших ДОПовцев или СоЭСовцев, а также издавая книги, анализирующие успехи и неудачи ЭД или хроникального или биографического жанра. Активисты сами хотят писать свою историю, и это их полное право. Причем такие книги пишут те, о которых в молодости я никак не

мог бы сказать, что в будущем они станут хроникерами или аналитиками¹¹⁶. Они писали и распевали дружинные песни, организовывали кампании «по защите», много говорили и т.д. Но видимо и здесь есть общий закон: на определенном этапе жизни эти деятельные, глубоко включенные в экологическую ситуацию или конфликт люди ощущают потребность оглянуться и подвести «предварительные итоги». Итоги своего воздействия на общество. И тем самым, понять, кем же они были эти 25 лет.

Наконец, написав «Семейную хронику» и данную рукопись, видимо «созрел» для такой работы и я. Теперь у меня есть «ключ» к истории ЭД «в лицах» и подход к анализу биографий его лидеров и участников сегодня. Повторюсь: из охранителей природы они перешли в разряд оппонентов потребительского общества, даже если они по-прежнему называют себя зелеными.

6. Историки и социологи: врозь или вместе?

Погружение в архивы было очень полезным занятием – у меня всегда было ощущение, что моим социологическим штудиям явно не хватает исторической глубины. К сожалению, первичный «экологический» материал для этого извлечь удавалось с большим трудом. Поэтому две мои недавние книги¹¹⁷ все же больше являются историей и критикой идей и концепций, нежели анализом первичного исторического материала. Тем не менее убежден, что есть преемственность мысли между ними и нами, по крайней мере – некоторыми из нас, и что эта преемственность необходима, плодотворна, а, значит, социологическое мышление должно иметь историческое измерение.

Между тем, российская социология движется в обратном направлении. Объем социологической продукции растет на глазах, но ее использование в осмыслении российской истории пока ничтожно мало. Публицистики, да, много и весьма глубокой. Интересуясь в последнее время мнениями и оценками российских и зарубежных историков о состоянии и перспективах российского общества и государства, я с удивлением обнаружил, что результаты социологических исследований практически не используются в историческом анализе. Я не имею в виду литературу по истории социологии и соответствующую учебную литературу – там специфические задачи.

Судите сами. Я взял десять книг ведущих российских и зарубежных историков, исследующих динамику новейшей российской истории и ее связь с историей советского периода и более далекой. В книгах А. Ахиезера, Вл. Булдакова, А. Багатурова, В. Кантора, Б. Миронова, Ю. Пивоварова, В. Федотовой, Р. Пайпса и других данные социологических исследований за 20-летний и более отдаленный период нашей истории практически никак не используются. Ни свои, ни российские. Затем я взял десять книг ведущих политологов России и мира: В. Иноземцева, А. Уткина, И. Берлина, З. Бжезинского, Т. Грэма, М. Хардта и А. Негри, Л. Шевцовой и других – картина чуть лучше, но примерно такая же.

¹¹⁶ См., например: *Соболев Н.А.* (автор и составитель). Успех «безнадежного дела»: положительный опыт общественной природоохранной работы. М.: Изд. ЦОДП. 2006.

¹¹⁷ *Яницкий О.Н.* Экологическая культура. М. 2007; *его же*: Экологическое мышление эпохи «великого передела». М.: РОССПЭН. 2008.

Правда, статусные ссылки попадают, но они даются в обезличенном виде, например, что ВЦИОМ в таком-то году показал, что «такая-то группа населения сказала то-то». То есть в сравнении с западной социологией, где, используя термин В.А. Ядова, каждая «гранд-теория» имеет персональное лицо или школу, у социологов этого (в представлении историков) как бы и нет.

Если отбросить дипломатические реверансы, то получается, что гигантская машина массовых эмпирических исследований обслуживает только потребности политического рынка – государственного или корпоративного. Иначе говоря, социологи – сами по себе, историки – сами по себе. Тем самым *социология рискует* оказаться вне круга наук, осмысливающих исторический процесс. Я отнюдь не призываю к смешению всех гуманитарных наук, хотя процесс их взаимопроникновения идет на глазах, но отсутствие мостов между социологией и исторической наукой – факт, на мой взгляд, тревожный. Получается, что если социологи пишут российскую историю, то будет одна картина, если историки – совсем другая? Посмотрим на причины такого дистанцирования.

Одна из них заключена в том, что никакая последовательность одномоментных замеров, российской действительности, получаемых в результате массовых опросов, не дает картины социальной динамики или, употребляя термин Н.Д. Кондратьева, «длинных волн» эволюции российского социума. Почему это происходит?

Во-первых, потому что эти «замеры» сделаны без соотнесения с историческим и культурным контекстом, динамикой которого или, напротив, причинами его резистентности, как раз и озабочены историки, пишущие о России. Нельзя же в конце концов считать контекстом упоминание, что опрос проведен в большом (малом, среднем) городе (каком, где, в какой именно ситуации?) или что опрошенных было с высшим (средним или низшим) образованием столько-то. Образованных может быть через десять лет столько же, но каково *качество* этого образования или как оно было употреблено? Все это из таких «замеров» понять невозможно. Простой пример: молодежь 20 лет назад и идущее им на смену поколение *next*, как показали социологи Института социологии РАН, это совсем разные люди с разной ментальностью. Или: большой город тогда и сегодня – это совершенно разные экономические, культурные и институциональные среды. В исторической, а позднее социологической науке сохранялось убеждение, что они являются науками в той степени, в какой они могут все перевести в цифирь, математизировать знание. Я согласен с А.Я. Гуревичем, что «это – сциентистский соблазн».

Во-вторых, потому, что в большинстве массовых опросов нет главного: ключевых акторов истории – элит всех уровней, силовых структур, теневых и криминальных лидеров. Они существуют, но в крупные сети массовых опросов не попадают, а если и высказываются, то очень неохотно и дипломатично. В-третьих, в такого рода исследованиях чрезвычайно трудно уловить глубинные исторические сдвиги: модернизации и демодернизации, соотношения сил государства и гражданского общества, движения в сторону европейской культуры или возрождения архаики и права сильного, «внутренней степи», как именовал этот процесс великий русский историк С. Соловьев. И отечественные, и западные историки, основываясь на знании культуры и социальных институтов России, говорят о грядущих трудностях, нарастающем кризисе, о риске выпадения России

из европейской цивилизации, тогда как социологи редко обсуждают такие ключевые для судьбы страны вопросы.

Наконец, еще одна причина: столичная социология продолжает довлеть. Может быть только несколько социологических журналов старается охватить все постсоветское пространство. В результате региональные журналы все более обсуждают свои региональные проблемы без оглядки на «центр». Откройте, например, журнал «Эксперт Сибири» и вы увидите, что там, за Уралом, актуальны совсем другие сюжеты и делаются совсем иные акценты. Сегодня государство наконец озаботилось судьбой Сибири и Дальнего Востока, этого ключевого для существования России макро-региона точнее, совокупности регионов, столь разных по своим природным условиям, уровню развития, ментальности и геополитическому положению. Как будем жить дальше: будем его «обживать», как считают А.И. Солженицын, эксперты-региональщики и ваш покорный слуга, или же «осваивать», то есть попросту говоря, колонизировать вахтовым методом, как предлагают наши либералы? На мой взгляд, отечественная социология пока что ответа на этот вопрос не имеет. Итак, два вывода: российская социология представляет собой сообщество, обособленное от исторической науки, и, следовательно, новейшая история страны и «текущие» социологические исследования почти не стыкуются. Где же выход?

Если приглядеться к исследовательскому инструментарию социологии и исторической науки, то мосты между ними все же обнаруживаются. Во-первых, это исследовательский ход «через знаковые фигуры», то есть использование мнений и оценок, даваемых экспертами, политиками и военными в отставке (они более откровенны), сторонними наблюдателями (послами, путешественниками, бывшими разведчиками,) и вообще – много знающими и широко мыслящими людьми, прежде всего из среды журналистов высокого класса. Оценок, касающихся прежде всего политики и ее носителей – политической и военной элиты. Здесь историками прежде всего цитируются социологи, занимающиеся элитой – О.В. Крыштановская и другие. Но и теоретики-социологи в последнее время апеллируют ко мнению выдающихся российских историков и историософов – Н.А. Бердяева, А.И. Герцена, В.О. Ключевского, М.М. Ковалевского, В. Соловьева, Г.П. Федотова, С.Л. Франка.

Далее, это метод включенного наблюдения. Например, в 1990-х гг., когда Россия стала «открытой», то есть по милости наших «демократов» превратилась в проходной двор, ко мне в руки попал любопытный документ. Один иностранец, хорошо знающий русский, просто курсировал в поезде Владивосток–Москва и записывал разговоры пассажиров. Этот текст давал представление о ситуации в стране и настроениях ее граждан гораздо более, чем иной массовый опрос. Дешево и сердито! Впрочем, чему удивляться: все это было в России. А.П. Чехов ездил на Сахалин, а И.А. Бунин вообще объехал почти полмира.

В-третьих, это общая для российской исторической и культурологической мысли традиция опоры на мнения и оценки великих русских писателей: М.А. Булгакова, И.А. Бунина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А. Платонова. Это вполне естественно, так как в России художественная литература XIX–XX веков была этически и граждански ориентирована. Сыграло роль и то обстоятельство, что в отличие от социологов и историков, художественная литература была не только гораздо более доступна и понятна широкому читателю (она в то время была средством массовой коммуникации), но и играла ключевую роль в просвещении и

образовании, выполняемых тремя центральными институтами социализации: семьей, школой и вузом. С моей точки зрения, прогностическая сила некоторых художественных произведений (вероятно в виду меньшей политической ангажированности их авторов) была на несколько порядков выше, чем у профессиональных прогнозистов и политиков.

Очень важный «мост» – это изучение политических и социальных институтов. Историки традиционно глубоко вовлечены в исследования динамики ключевых институтов: форм собственности, эволюции властных структур, и прежде всего российского государства и его ветвей и т.п. К сожалению, я не знаю пока ни одного социологического исследования, в котором были бы изучены институциональные и человеческие последствия недавних изменений в жилищном, земельном, водном или лесном кодексе. А ведь это – ключевые ресурсы жизни народа, причем катастрофические последствия действия некоторых статей из названных кодексов уже налицо. Есть лишь одно исследование текущих последствий введения градостроительного кодекса, но и то носящее лишь экспертный характер (В. Глазычев). Силовое предпринимательство, да, изучалось (В. Радаев, В. Волков), но воздействие института «силового права» на образ жизни людей практически никогда.

Не менее, а может быть еще более важный «мост» между рассматриваемыми дисциплинами – это изучение общественных (социальных) движений. Я не берусь даже просто перечислить фигуры мировой социологии, которые считали движения движущей силой мировой истории. Тут можно называть имена от К. Маркса до Ч. Тилли, А. Турена, М. Кастельса и еще многих других. В российской социологии эта тематика, кроме может быть экологического и женского движений, мало популярна. Тем не менее общественные движения – жилищное, самоуправления, весь спектр национальных и национально-освободительных движений, равно как и радикальных, в той или иной форме существуют, действуют, собирают под свои знамена людей и не признавать их, не изучать, значит – оказать плохую услугу и обществу, и нашей науке.

Однако, если в программах международных и европейских конференций и конгрессов эта тематика всегда присутствует, уже много лет существуют международные сети социологов, изучающих движения, то этого нельзя сказать о российской ситуации. Социология политических процессов и организаций есть, а социологи социальных движений практически нет. Но дело в том, что социальные движения не просто «процессы», которых тьма, но такие процессы, которые способны в корне изменить структуру и характер всей социальной динамики. Что и произошло в годы перестройки: одни называли этот «процесс» великой либеральной, другие великой криминальной революцией. Кстати, в западной социологии революции числятся по разряду социальных движений (см. Ч. Тилли и др.).

Наконец, еще о двух линиях связи между социологией и исторической наукой, линиях существующих, но в социологии отодвинутых на второй план. Одна – это метод «изучения случая», прекрасно известный социологам, но очень редко в виду его трудоемкости и длительности используемый в своем полном объеме. Глубоко ошибочно мнение, что изучая «случай», мы получаем лишь единичное знание, на котором нельзя построить даже теории среднего уровня. Между тем, историки (называя его просто «событием», или обозначая его через ключевую фигуру или знаковое движение), помещая некоторое «событие» в центр

своего интереса, идут от него «кругами», вширь и вглубь, связывая воедино (а затем ищут в архивах недостающие или пропущенные звенья) эволюцию институтов, человеческих сообществ и отдельных личностей. В сущности метод «изучения случая» есть один из вариантов коллективного storytelling, то есть истории развития конкретного конфликта в лицах и конкретных обстоятельствах места и времени. Вот почему изучение связи событий, от сугубо местных и до транслокальных, – важнейший момент этой методики. Или, с гносеологической точки зрения, процесс «выращивания» типичного из локального.

Другая тесно связанная с первой линия, это *хроники событий*. Речь отнюдь не идет о хронологиях, к которым мы привыкли еще со школы, хотя они также имеют важное значение для изучения исторического процесса. Речь в данном случае идет о распространившемся со второй половины прошлого века методе хроник «устной истории» (oral history). Метод личных свидетельств – и у нас, и по всему миру – внес огромный вклад в прояснение того, «как это было на самом деле». Конечно, это всегда были интерпретации. Но – это важнейший «мост» между историческим и социологическим знанием, ориентированный на понимание человеческой истории через изучение мнений и поступков рядовых граждан. Такие свидетельства, подкрепленные из разных источников, в том числе архивными материалами (письмами, дневниковыми записями, копиями случайно сохранившихся протоколов собраний, резолюций или допросов) часто меняли картину уже «однозначно оцененных» исторических событий.

В частности метод, позволяющий связать прошлое и настоящее, текущее, – это детализированные хроники созреваания и «течения» социального конфликта. Практически вся наша жизнь является цепью конфликтов или, если угодно, возникновения и разрешения проблем между человеком и обществом, обществом и государством, государством и его окружением. Сегодня мы наблюдаем растущий по значимости конфликт между обществом и природой (парниковый эффект) и т.д. Если удастся хронологически отследить и зафиксировать такое «течение», то и социолог, и историк обретают ценнейший материал для интерпретации социальной динамики в соединении ее макро-, мега- и микропроцессов.

Исследователь, изучая русло течения конфликта, одновременно получает возможность отследить все его «ответвления» и побочные эффекты, многие из которых позже становятся главными. Он выявляет достаточно полный состав участников процесса, их отношения и связи, культурную и иную обусловленность принимаемых ими решений, мониторинг их реализации и многое другое. Мой многолетний опыт изучения «случаев» через их подробные детализированные хроники показывает, что течение социальных конфликтов редко бывает линейным. Скорее это – колебательный процесс, состоящий из множества поступательных и возвратных движений. О чем, собственно говоря, писали и пишут русские и современные российские историки (С.М. Соловьев, М.В. Довнар-Запольский, В.К. Кантор и многие другие).

Метод построения хроник натолкнул меня – сначала эмпирически, а потом уже и на теоретическом уровне, – на мысль о сближении исследования и расследования. В самом деле: что есть историческое исследование, ведущееся при помощи изучения архивных документов, как не *расследование*, приближающееся по своему характеру к процессуальным методам гражданского или уголовного процесса, только «расспрашиваются» не живые фигуранты, а их показания, свидетельства потерпевших, просьбы и доносы. Но если взять журналистское

расследование, по общему признанию – самый опасный вид этой деятельности, то мы получим еще один живой «мост» между социологией и исторической наукой. Эти три профессии в данном случае роднит максимальное приближение к первоисточникам информации о событиях и конфликтах. Скажу снова: метод трудоемкий, но в результате исследователь получает развернутую во времени и физическом и социокультурном пространстве картину этого процесса. Но хроники – это уже интерпретации. Основой всего являются *архивы*. Ничто так строго не охраняется государством и частными фондами и не может быть более ценным для исследователя, чем архивы. Социолог скажет: но я же не могу ждать, мне нужен ответ сейчас! На это могу ответить только одно: собирайте архивы сегодня и берегите их, потому что новейшая история столь скоротечна, что завтра вам они уже могут понадобиться.

Наконец, есть еще одна связь между социологией и исторической наукой, которая однако сегодня быстро меняется. Европейская традиция Просвещения означала движение «сверху вниз», когда наука открывала законы природы и общества, а затем просвещала народ. Такое «хождение в народ» было особенно характерно для русской науки. Этим занимались не только великие ученые, такие как Д.И. Менделеев, но и писатели, как Л.Н. Толстой.

Сегодня это «вертикальное» движение знания постепенно вытесняется «горизонтальным», то есть интерактивным. Как писал Б. Латур, «Наука есть определенность, исследование – неопределенность. Предполагается, что наука холодна, прямолинейна и отстранена; исследование же теплое, вовлеченное и рискованное занятие. Наука кладет конец капризам человеческих мнений; исследование порождает контroversы. Наука продуцирует объективность, избавляясь насколько возможно от идеологических оков, страстей и эмоций; исследование дает пищу всем им чтобы сделать объекты исследования близкими и понятными»¹¹⁸. Это означает, что культура исследования становится более плюралистической и открытой непрофессионалам. Иными словами, «научное» абсорбируется «социальным» и служит ему.

Все это замечательно, скажет читатель, но интеллектуальные ресурсы откуда? Действительно, деньги на модернизацию оборудования сегодня, хотя и недостаточно, но выделяются, а вот с интеллектуальными ресурсами колоссальная проблема. 90% кончающих вузы идут куда угодно, но только не в науку. Рынок их быстро адаптирует к своим правилам или безжалостно выбрасывает. Оплата труда молодых специалистов просто недостойная, она в 15–20 раз меньше, чем в фирме средней руки. Характерно: у нас есть национальный проект развития образования, но нет такого по науке. Есть создание корпораций для работы на прорывных направлениях науки, но наука по своей сути не может быть корпорацией, это процесс и продукт всеобщего труда. В том числе труда всемирного. Лучшие специалисты нас уже покинули. Большому бизнесу нужны только обслуживающая его наука и соответствующие технологии.

Но так продолжаться не может. Прежде всего по причине конкуренции между наукой и образованием, где побеждает последнее, по крайней мере численно. Быстрый рост вузовского сектора скоро съест даже немногих тех, кто собирался стать научным работником. Как пишет известный российский науковед Е.В. Водопьянова, через 10–15 лет вузы буквально съедят науку, так как из-за

¹¹⁸ Latour B. Science in Action. Cambridge: Harvard Univ. Press. 1987.

демографической ситуации «аспирантов первого года обучения и вчерашних выпускников уже нужно будет направлять в лекционную аудиторию выступать в роли “профессоров”, которых станет катастрофически не хватать для обеспечения образовательного процесса в высшей школе...Учтем при этом, что нынешнее постепенное снижение числа абитуриентов после 2015 года сменится <их> увеличением»¹¹⁹.

Другая сторона кадрового голода – качественная. Дело в том, что за последние 10–15 лет потребности и характер работы крупнейших российских корпораций определяет западный и/или обученный там высший менеджмент. Который, естественно, блюдет интересы своих корпоративных хозяев. Ошибочно считать, что используемая ими логистика носит чисто технологический характер и не затрагивает интересов России. Отсюда в сфере R&D возникает опасный перекося в сторону социальных технологий, то есть люди, их группы рассматриваются как «винтики» корпоративной «машины». Эта тенденция прослеживается на всех этажах и направлениях менеджмента, том числе в подборе и управлении персоналом, понимании социальной ответственности бизнеса, что не отвечает стратегическим интересам России, которые должны разрабатываться Большой российской наукой.

Теперь об интересе к научной работе. Потребительское общество, в которое нас всеми силами тянули последние 15 лет наши ультра-либералы, подавляет интерес к научной работе. По моему многолетнему опыту работы с аспирантами, их мотивация, далека от науки. Их ведущие мотивы: (1) адаптация к городской жизни и рыночной среде, (2) отсрочка от армии, (3) отсрочка от вступления во взрослую жизнь, (4) время для поиска (хорошо оплачиваемой) работы и устройства личной жизни, (5) возможность посмотреть мир и заработать «очки», необходимые в будущей жизни (обучение иностранному языку, навыкам менеджмента и др.), (6) время для обретения навыков по специальности, не связанной с наукой (в бизнесе, банковском секторе и т.п.), (7) «трамплин» для отъезда за рубеж и/или командировок за границу с целью повышения личной конкурентоспособности и самореализации, но совсем не обязательно в науке. То есть научное учреждение рассматривается как трамплин, пересадочный пункт или временное укрытие от реальной жизни.

Бизнес проявляет интерес только к тем сферам, где наука задействована в разработке технологий, приносящих немедленную прибыль. Мысленно перенесемся в Северную Европу. Недавно были присуждены Нобелевские премии по медицине. За работы каких лет? Правильно – 1980-х, то есть за работы более чем 20-летней давности. Почему? Да потому что лишь в последние несколько лет эти открытия принесли прибыли фармацевтическим и другим корпорациям. В советское время интерес к науке воспитывался еще со школы. Была масса подростковых клубов, домов пионеров, детских и молодежных журналов, подогревавших интерес к науке и конструированию. Наконец, в СССР работала мощная государственная машина пропаганды науки под названием «Общество знание». Интересный факт: несколько лет назад американцы подсчитали, что только половина Нобелевских лауреатов получила это звание за собственно

¹¹⁹ Водопьянова Е. В. Судьбы российской науки // Свободная мысль, 2005, № 1, С. 103.

научные заслуги, другая половина – фактически за пропаганду научных знаний. Так что СМИ – гигантский резерв возбуждения интереса к науке.

И в развитых странах Запада, и у нас растет разрыв между богатыми и бедными. Но это проблема не только уровня жизни. Богатые имеют возможность, продолжив учебу в престижных университетах, занять потом руководящие, а главное – творческие должности в университетах и корпорациях. Бедные обречены на временный и исполнительский труд, на неполную рабочую неделю, на необходимость постоянно переучиваться и переезжать с места на место в поисках работы. О каком интересе к науке у этих людей может идти речь?

Наконец, о доверии к науке. В советские времена люди верили, что ученые нас защищают от военной угрозы, что благодаря их усилиям осваивается космос, развивается научно-технический прогресс. Рядовые граждане не могли конечно профессионально сравнить темпы развития науки у нас и за рубежом, но доверие к науке и ученым безусловно было. Надо сказать, что и сами ученые внесли вклад в поддержание доверия к науке, потому что многие из них бесстрашно, рискуя карьерой и самой жизнью, отстаивали свои убеждения – П. Сорокин, Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов. Но проблема доверия имеет и другую, чисто социальную сторону. Установка на быстрый успех, отказ от этики напряженного труда, общее понижение культурного и образовательного уровня населения, гигантский флюс сервис-класса в отличие от быстрого развития на Западе слоя людей, занятых информационным трудом, – все это делает задачу возвращения доверия к науке все более сложной.

Наконец, доверие к науке, как и всякое другое качество человеческих отношений, надо поддерживать, воспроизводить. Установка на просвещение, на «свет знаний» – отличительная черта русской науки, начиная с Н.К. Михайловского и А.И. Герцена до Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева и В.И. Вернадского. Нет я не оговорился. Почитайте его «Публицистические статьи» (М., 1995) или хотя бы перелистайте 6-томное издание его дневников и вы увидите, что это был не только великий ученый, но и не менее прозорливый русский культуролог и политический аналитик.

Глава 12. Современность (продолжение)

Этос Вернадского и миссия ученого. – Иной контекст – другой этос? – Этос российского социолога сегодня. – «Узкое» как интеллектуальная среда. – Итог: трансформация социологической науки.

1. Этос Вернадского

Я уже говорил во Введении, почему Вернадский стал «референтной точкой» для написания этой книги. В моих руках был уникальный материал – его дневники и письма, где он скрупулезно, год за годом в течение 28 лет, фиксировал свое отношение к научной работе, как собственной, так и многих его российских современников. Дневники, написанные для себя, как рефлексия, – самый надежный источник для понимания этоса и миссии российского ученого в данных обстоятельствах. Тем более, что Вернадский никогда не был кабинетным ученым – он был еще и государственным деятелем и политиком (земцем, членом кадетской партии, ректором университета). Свое понимание его этической и гражданской

позиции я изложу кратко в форме максим, опуская аргументацию, поскольку она есть в моей статье¹²⁰.

Итак, по Вернадскому, эти позиции были следующими:

1. Научное знание, человеческая мысль самоценны и не терпят никакого вмешательства в ход их производства извне. Научная творческая работа есть одна из главных, все растущих в своем значении форм *социальной* деятельности. Поэтому свобода мысли, научного поиска, профессиональных и человеческих контактов абсолютно необходима – никаких внешних ограничений, никакого партийного руководства. Необходима «абсолютная свобода исканий» (научных, философских, религиозных) и доступность их результатов для всех. Научное знание – общее благо. Личность ученого первична. Ученый имеет безусловное право на высказывание научной мысли и на ее обсуждение.

2. «Научная творческая работа есть одна из главных, все растущих в своем значении форм *общественной деятельности*. Это зависит не только от того, что наука в своем проявлении есть социальное явление, но и от того, что реальное значение научной мысли неуклонно растет. Уже XIX век был веком знания, точного знания, положившего начало материальной культуре нового человечества. Я говорю нового, ибо именно *наука через технику спаяла в единое целое все человеческое население планеты* и к нашему столетию поставила вопросы жизни в планетном ...аспекте. Реально только благодаря ей можно говорить о мировом хозяйстве, мировой науке, мировой политике... Будущее научной работы как *общественной работы* откроется ближайшему поколению в еще небывалом размахе» (1930 г.)¹²¹.

3. Научное производство есть часть неразрывной триады: исследование–обучение–просвещение. Вернадский был убежден, что высшая школа не *только* учебное заведение – она может почитаться высшей школой только тогда, когда она выходит из рамок школы и становится научным учреждением, когда она является независимым центром научной мысли нации. «... пока русские профессора будут стремиться к научной работе и будут научно работать, все стремления министерства <образования> сделать из них приниженных и униженных слуг будут напрасны». «Высшая школа имеет перед собой три совершенно различные задачи. Она должна учить подрастающее поколение, ... приучать его научно мыслить и научно работать. Она должна являться очагом научного искания, быть центром самостоятельной научной работы. И, наконец, она должна быть носителем просвещения в обществе и народе...»¹²².

4. Все, накопленное в мире науки знание должно быть доступно каждому ученому для ознакомления и осмысления. Никакой цензуры, спецхранов, особых списков, никаких бюрократических препятствий между ученым и хранилищем знания, между учеными в разных точках планеты. Структура научного учреждения, в том числе Академии Наук, есть функция познавательного процесса, а не политических доктрин и идей. Исследовательский процесс социализирован, зависим от политического климата и культурного уровня самой научной среды. Эта среда формируется *медленно*, она очень *хрупкая*, и нет ничего хуже ее

¹²⁰ Яницкий О.Н. Этнос Вернадского и проблемы современности // Общественные науки и современность, 2007, № 6. С.125–139.

¹²¹ Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука. 1997. С. 264.

¹²² Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука. 1995. С. 164, 166–67, 189.

постоянной перестройки, бесконечных реорганизаций извне. Только развитие мирового знания и потребности страны могут корректировать организационную структуру этой среды. Российская наука – часть мировой культуры.

5. «Научные факты и научные эмпирические обобщения обязательны и для всякого ученого и для всякого философа, они, и только они одни, являются основой науки... Научные теории и научные гипотезы – которые особенно интересуют философскую мысль – в науке суть преходящие формы научного творчества... Не гипотезы и теории, а научные факты и эмпирические обобщения составляют единую общеобязательную основу науки»¹²³. Методика исследования имеет первостепенное значение и не должна зависеть от вненаучных обстоятельств (религиозной, философской или этнической принадлежности ученого).

6. Хотя вклад выдающихся личностей огромен и ничем не заменим, наука едина, так как она – не плод размышлений отдельных ученых, а *совокупный продукт труда многих поколений*. Поэтому знание истории науки каждым ученым – принципиально важный элемент индивидуального научного процесса. Даже если какие-то теории, парадигмы устаревают, отбрасываются, то все равно они входят в фундамент развивающегося познавательного процесса. История науки и техники – необходимая форма *саморефлексии отдельного ученого* и науки в целом.

7. Необходима максимальная концентрация ученого, а также максимальная критичность в оценке своих работ и достижений коллег по критерию вклада в мировую науку (она – единое «тело»). И одновременно – постоянная рефлексия по поводу им прочитанного, сделанного, осмысленного. Для Вернадского критерием дисциплины его жизни была максимальная отдача время научной работе.

8. Первостепенная значимость *личного общения*. Хотя равновелико важны все элементы структуры научного производства, никакая библиотека не может заменить *личного общения ученых*, пребывания «в гуще жизни», где происходит взаимодействие уникальных идей и культуры повседневности. Бесконечные реорганизации «тела науки», разрушая научную среду, неизбежно дезорганизуют индивидуальную творческую активность.

9. Оценка результатов работы ученого не должна зависеть от его принадлежности к исследовательской группе или научной школе. Дисциплина и самоконтроль в научной работе и повседневной жизни – основы научного труда. Порядочность, личная ответственность, человечность ученого – исповедание принципа «как бы теперь не навредить», но и отстраненность, понимаемая как объективная оценка результатов его труда коллегами. Ученый должен быть достоин своих учеников, основой их взаимоотношений являются диалог и дискуссия. Но это возможно лишь тогда, когда его аспиранты «знают достаточно глубоко»¹²⁴. Только при соблюдении этих условий может сложиться научная школа.

10. Принадлежность к «касте» ученых налагает высокие обязательства, требования к ученому, в том числе моральные. Например, в октябре 1920 г. когда Вернадский с семьей уже должен был отплыть из Крыма в Англию, ему предложили место ректора Таврического университета, и он не счел возможным

¹²³ Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. С. 240–241.

¹²⁴ Вернадский В.И. Дневники 1935–1941 гг. в 2 кн. Книга 1: 1935–1938. М.: Наука. 2006. С. 355.

отказаться. Безусловное уважение к личности, к людям, сделавшим себя в науке сами. Однако принадлежность к «касте» ученых ни в коей мере не означает *отчуждения ученого от «мира»*, презрения к простым людям. Напротив, поддержка страждущих – моральный долг ученого.

11. Воля, ум и честолюбие не искупают малообразованности. Мелкое честолюбие и тщеславие, низкопоклонство перед властью имущими всегда приводят к активному разрушению как личности ученого, так и его научно-организаторской работы – как в университете, так и в Академии наук. Это не окупается ничем, даже тем, что такой человек некогда создал научную школу кафедры или институт.

12. Настоящий ученый живет в *трех измерениях*: в прошлом (история науки, страны, мира, семьи, друзей), настоящем (чтение, общение с передовым «фронтом» науки, с профессионалами и *простыми людьми*, эксперимент, размышление, оценка) и в будущем (тестирование своих гипотез и концепций «будущим»). Если сверстники ученого «уходят», нужно поддерживать связь с прошлым через их книги, дневники, воспоминания о них, постоянно осуществлять переоценку прошлого (время, по мысли ученого, главный «оценщик»). Наконец, семья, семейные традиции имеют огромное значение для научного творчества. Надеюсь, читателю понятно, почему я закончил изложение максим Вернадского именно этим тезисом.

2. Иной контекст – другой этос?

Прежде чем хотя бы попытаться очертить концепцию этоса *современного ученого*, я должен был обозначить изменения в контексте. Сто лет назад ученый был знатоком, то есть человеком, обладавшим бесспорным научным авторитетом, причем опора на великих предшественников была неотъемлемой частью этого авторитета. Такие ученые, как Вернадский, Менделеев создавали долгоживущие парадигмы научного познания. Сегодня речь скорее идет о фигуре исследователя или разработчика, то есть знатока конкретной проблемы для конкретной и быстротекущей ситуации. Она изменится – потребуются другое знание. Поэтому исследователь гораздо реже опирается на знания, накопленные ранее, и гораздо более на синхронное «поле» работ по той же проблематике. *Диалог во времени вытесняется диалогом в пространстве*. Далее, если раньше ученые стремились как можно быстрее реализовать добытое знание, то сегодня они все чаще обеспокоены неконтролируемыми последствиями реализации их разработок. Гигантски возросла зависимость исследователя от ресурсов, что ставит 90% научных работников в позицию «винтика» машины, именуемой «Большой наукой», огромных международных исследовательских корпораций и проектов.

К тому же этот «винтик» совершенно иного, нежели ранее, свойства. «Винтик» сегодня – это принуждение к индивидуализации в условиях растущей неопределенности. Неопределенность в ее различных терминологических ипостасях (ненадежность, нестабильность, уязвимость), по словам З. Баумана, У. Бека, П. Бурдьё, присутствует повсюду. Другие социологи называют этот феномен по-своему – небезопасность, неустойчивость, общество риска и т.д. Но то, что они стараются постичь, говоря словами З. Баумана, это – «совокупный опыт *неуверенности* человека в его положении, в правах и доступности средств к существованию, *неопределенности* относительно преемственности и будущей стабильности, *отсутствия безопасности* для физического тела человека, его

личности и их продолжений – имущества, социального окружения, сообщества»¹²⁵. В ситуации неопределенности и рискованности *скорость* достижения научного результата обретает стратегическое преимущество перед долговечностью.

Глобальная неопределенность современного мира, помноженная на форсированную реализацию «либерального проекта», является могущественной «индивидуализирующей силой». Она разделяет, вместо того, чтобы объединять, и, поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой ситуации, идеи общности интересов и общего блага оказываются все более туманными. «Сегодняшние страхи, беспокойства и печали устроены так, что страдать приходится в одиночку», что «лишает позицию солидарности ее прежнего статуса рациональной тактики...»¹²⁶. Именно поэтому индивидуализация совсем не синоним формирования уникальной личности и ее освобождения от власти обстоятельств. Напротив, индивидуальное существование становится все более зависимым от сил, находящихся вне индивидуального контроля. Возникает феномен *принуждения к индивидуализации*. «Все мы являемся сегодня индивидами; не в силу выбора, но по необходимости. Мы являемся индивидами *de jure*, независимо от того, являемся ли мы ими *de facto*: решение задач самоопределения, самоуправления и самоутверждения становятся нашей обязанностью, и все это требует от нас самодостаточности, независимо от того, имеем ли мы в своем распоряжении ресурсы, соответствующие этой обязанности» и доросли ли мы до статуса личности»¹²⁷.

Индивидуализированное общество, в том виде, в котором оно последние десятилетия пропагандировалось и тиражировалось в России, ведет к подчинению науки и образования рынку, к дегуманизации интеллектуального труда. Здесь просматриваются противоположные тенденции. Одна – это его *коммерциализация*. У нас, как и в странах «золотого миллиарда», интеллектуалы, чье общее значение все более принижается рыночной конкуренцией и растущим разрывом между успешными научными и образовательными институтами и их внутренней периферией, превращаются в ревностных сторонников внесения рыночных критериев в академическую жизнь. Успех и материальное благополучие ее участников измеряются не их научным или педагогическим авторитетом, а тем, насколько тот или иной учебный курс или исследовательский проект хорошо презентуется, продается, тиражируется. Как пишет Бауман, *продаваемость* «неизбежно становится высшим критерием оптимальности учебного плана, выбираемых курсов и присваиваемых степеней. Духовное лидерство – это мираж; задачей интеллектуалов становится следование развитию внешнего мира, а не установление стандартов поведения истинности и вкуса»¹²⁸.

Сегодня российский ученый находится в ситуации выбора: или направить свои усилия на социальное продвижение, на карьеру, или же заняться собственно наукой, где на гарантированный и быстрый результат рассчитывать не приходится. Как пишет Ю. Афанасьев, «Для функционирования социальной машины “Наука” значим не смысл познания, а локальные цели ее бытия... Этот выбор в пользу

¹²⁵ Бауман З. Индивидуализированное общество. Перев. с англ. под ред. В. Иноземцева. М.: Логос. 2002. С. 194.

¹²⁶ Бауман З. Цит. ист., С. 31.

¹²⁷ Бауман З. Цит. ист., С. 133.

¹²⁸ Бауман З. Цит. ист., С. 171

социально гарантированной “синицы” в науке в сущности, той же природы, что и отказ от творческой и рискованной самостоятельности в бизнесе»¹²⁹. Противоположная тенденция, развивающаяся в академическом мире, пишет Бауман, – это изоляционизм, замыкание в башне из «слоновой кости», «...отступление с проигрышных позиций на рынке в крепость, построенную из элементов эзотерического языка и невразумительной теории», непонятных для широкой публики¹³⁰.

Наконец, научно-технический прогресс делает в принципе ненужными массу образованных и творческих людей. «Планета переполнена», говорит Бауман, но не в географическом, а социологическом и политологическом смыслах – речь идет о целях и средствах жизни населяющих её людей. Это – совершенно новая социально-экологическая ситуация. Производство «человеческих отходов» есть неизбежный продукт этого прогресса и неотъемлемый компонент индивидуализированного общества. Это есть, в частности, неизбежный побочный продукт конструирования социального порядка, который квалифицирует некоторую часть существующего населения как «несоответствующую» или «нежелательную», но также и нового экономического порядка. «Переполненность планеты» означает действительный кризис индустрии производства образованных людей, причем глобализация резко ускоряет этот процесс и придает ему новый масштаб – нет легко доступных способов ни для их «рециклирования», ни для их «хранения».

«Золотому миллиарду» просто не нужно такое количество творческих личностей. Поэтому теперь, каждый оканчивающий школу, университет попадает в текучую и неопределенную ситуацию «избыточности». Мы все более ощущаем, что способы ее терапии (в самом широком смысле этого слова), выработанные в прошлом, не работают. Проблемы современности – не проблемы средств, как раньше, а проблемы целей – целей, которые формулируются и структурируются далеко за пределами индивидуального понимания и возможностей: «истоки наших забот отодвинулись далеко за пределы, которых мы можем достичь»¹³¹.

3. Этос российского социолога сегодня

Я постараюсь изложить мое представление о нем в том же порядке, что и максимы Вернадского. Новейшая история российской социологии показывает, что ценно (и вознаграждается) главным образом то, что востребовано государством. Научная работа есть лишь один из многих видов творческой деятельности, причем творческий подход в тиражировании (технологиях распространения знаний и ноу-хау) не менее важен, чем в фундаментальном исследовании. Партийного руководства наукой в России сегодня нет, но ограничений и правил – ресурсных, бюрократических и иных – все больше. «Свобода исканий» и человеческих контактов – удел подвижников или избранных. Право на высказывание и обсуждение есть у всех исследователей, но возможность быть услышанным лишь у немногих. В одной ситуации снова повторяется: Как писал Вернадский еще в 1911 г., русские ученые «совершили свою научную работу *вопреки* государственной организации, при отсутствии самых элементарных условий общественной

¹²⁹ Афанасьев Ю.А. Знать, чтобы стать силой. // Новая газета. 10.02.2005. С. 13.

¹³⁰ Бауман З. Цит. ист., С. 171.

¹³¹ Bauman Z. Wasted Lives. P. 16–17.

безопасности». Они были равны своим западным коллегам по силе, но те «совершали эту работу или *при помощи* государства, или при помощи государственной организации, обеспечивающей им возможность спокойной научной работы»¹³².

В мире научная творческая работа есть одна из главных, все растущих в своем значении форм социальной деятельности, у нас – нет. Развиваются только те научные отрасли, которые обслуживают рынок, мы больше заимствуем, чем изобретаем и открываем. Генераторов идей становится все меньше, а «рутинных работников», которые легко заменяемы и положение которых ненадежно и уязвимо, все больше. Смысл послания грядущего постиндустриального общества прост: практически каждый научный работник является кандидатом на роль «лишнего человека». Отсюда превращение научно-учебных институтов (магистратуры, аспирантуры) в «интеллектуальные отстойники» для отсрочки вступления в жизнь и иных вненаучных целей.

Поскольку современный капитал прежде всего опирается на массовое и чрезвычайно изменчивое производство и массовое тиражирование продуктов интеллектуального труда, где бы они ни производились, лозунгом дня становится «гибкость», *способность к быстрому переключению социальных связей*. Отсюда совершенно по-новому ставится проблема целенаправленности деятельности ученого, которая всегда имела центральное значение для устойчивости научного коллектива, его самоидентификации. Сегодня социология сталкивается с ранее незнакомой задачей «такого процесса формирования личности, который изначально не ориентируется на заранее определенную цель», с задачей «открытого процесса, нацеленного скорее на то, чтобы оставаться открытым, чем на создание какого-то специфического продукта...Такая фрагментированная жизнь «имеет свойство проживаться эпизодами как череда бессвязных событий. Неуверенность как раз и является той точкой, в которой бытие распадается на части, а жизнь – на эпизоды»¹³³. Очевидно, что жизнь «короткими перебежками» оказывает негативное воздействие на творчество и уклад жизни ученого.

Да, триада «исследование–обучение–просвещение» все та же, но собственно научное производство диверсифицировалось, выйдя далеко за рамки академических институтов. Появились независимые исследовательские центры, советы, комиссии, НКО и т.д. со все большим смещением от фундаментальных исследований в сторону политики, менеджмента и социальных технологий. Сформировались локальные и международные исследовательские сети и коллективы. Совмещение названных видов деятельности стало повседневной практикой. А главное – основным форматом каждого из элементов триады стал проект. Поэтому российский исследователь вынужден быть «многоруким». Грань между НИИ и НПО стирается.

Снижение роли университетов и других институциональных форм обучения шло на фоне возрастания важности *обучения в процессе разработки проектов*. В условиях быстро меняющейся ситуации периодическое обучение социолога непосредственно на рабочем месте под руководством лидера проекта, а также другие формы переподготовки (семинары, летние школы и лагеря), приобретают

¹³² Вернадский В.И. Публицистические статьи. С. 188, 189.

¹³³ Бауман. Цит. ист. С. 175, 201.

ключевое значение. Как сказал современный российский ученый, нацию создает резонанс «почвы» и «метафизики».

Постоянно возникающие новые проблемы, дефицит ресурсов и дисциплинарные размежевания означают, что быть «на уровне» можно только в очень узкой области. К тому же, социальный критик редко понимает методолога, и оба они часто скептически относятся к требованиям профессионалов в области социальных технологий и методики исследования. Спецхранов больше нет, но методические новинки и результаты исследований охраняются столь же ревностно, что и корпоративные тайны. Политика (в широком смысле – как правила игры, устанавливаемые государством и рынком знаний) все более довлеет над структурой научного исследования. Научная среда парцеллизируется на проекты, конкурирующие группы и перманентно подвергается силовой реструктуризации со стороны властных сил с целью «дальнейшего совершенствования».

Прочитую еще раз Вернадского. «Государство, – писал он в феврале 1917 г., – должно дать средства, вызвать к жизни научные организации, поставить перед ними задачи, ...далее этого его вмешательство в научную творческую работу идти не может». Организация «научной работы должна быть предоставлена свободному научному творчеству русских ученых, которое не может и не должно регулироваться государством»¹³⁴.

Представляется, что сегодня естественные науки, становясь все более технологически ориентированными, продолжают отдаляться от гуманитарных наук. В постмодернистской социологии проблема «общеобязательности истин» вообще снята. Ситуация парадоксальна: факты и эмпирические обобщения действительно составляют основу процесса научного познания, но методически они извлекаются совершенно по-разному, соответственно различна и их интерпретация. Даже если результаты исследования открыты всем, как хотел Вернадский, то их «повторяемость и проверяемость» всецело зависит от этической позиции исследователя и избранной им эпистемологии. Научная рациональность все чаще входит в противоречие с рациональностью культурной, локальным знанием, иными культурными системами для которых мы, европейцы, – культурная периферия.

Да, и сегодня, научное знание – плод труда многих поколений, но «единство науки» – большой вопрос. В социологии сегодня конкурируют как минимум пять теоретико-методологических направлений или «гранд-теорий»¹³⁵. Соответственно, если речь идет об ученых, а не о преподавателях или студентах, каждый из них интересуется историей своей дисциплины проблемно. А проблемный подход, в свою очередь, ведет к междисциплинарности, то есть к соединению разных научных подходов. Поэтому сегодня индивидуальный исследовательский процесс чрезвычайно избирателен, тем более, что он всегда ограничен временными и ресурсными рамками конкретного проекта. К этому его также понуждают «стандарты научности», требующие четкого описания исходных концептуальных источников проводимого исследования, без чего его результаты не опубликует ни один зарубежный научный журнал.

¹³⁴ Вернадский В.И. Цит. ист. С.249.

¹³⁵ Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база для исследования российских трансформаций. СПб: Социополис. 2007.

Сегодня не «история науки и техники», а поток новаций, порождаемых ими в столь же быстро изменяющемся глобальном контексте, есть первостепенный предмет интереса гуманитария. В рыночном обществе история науки и техники к сожалению идет именно по курии педагогической и историко-мемуарной, а не научной литературы, что ясно видно по диссертационным работам, где их обзорная часть демонстрирует осведомленность соискателя, но часто никак не связана с последующим анализом. Рефлексия исследователя сейчас направлена не столько на историю науки, сколько на переоценку положения и социальной роли науки в современном обществе. Как показала недавняя дискуссия о причинах распада СССР, у социальных аналитиков сложился болезненный разрыв: научно-технический прогресс был тогда «на уровне», а ученые (которые отождествляются с интеллигенцией) были плохие, сервильные. Что вполне вписывается в образ «темной России», создаваемой западными СМИ. В этом отношении публикация первоисточников, подобных дневникам Вернадского, имеет гигантское этическое значение.

Концентрация на социальных проблемах есть функция от интереса к ним. А такого интереса в среде интеллигенции я просто не вижу – слишком много политической ангажированности: социология быстро поглощается политической наукой, а СМИ воспитали чисто потребительское отношение к социологическим данным, низведя их до уровня бытового комментария. Что касается концентрации только на научной работе, то по причинам, названным выше, она возможна лишь для очень ограниченного круга подвижников, всегда действующих по принципу «во что бы то ни стало», или для немногих великих «классиков», которым платят за просто за имя. Как сказал мне один из них: «я давно там не читаю лекций, а они мне все равно платят». В любом случае постоянная рефлексия по поводу прочитанного и сделанного – довольно тяжелый труд и посему далеко не всем по плечу. К тому же, «тело науки» настолько разрослось, что с «передовым фронтом» только в своей проблемной области даже очень «концентрированный» исследователь успевает знакомиться лишь реферативно. Большинство из них не стремится или не имеет возможности для оценки себя и коллег по критерию вклада в мировую науку. Необходимость соединения разнообразных занятий (наука, обучение, практика, политика), жесткий *режим совмещения* нескольких мест службы – вот, пожалуй, основная *дисциплина их жизни*. Что явно видно по снижающемуся уровню докторских диссертаций.

Да, значимость личного общения сохраняется. Однако цели и содержание его меняются. Сегодня при наличии всемирной паутины личное общение необходимо в первую очередь для поддержания социального статуса, демонстрации личных возможностей и амбиций. Важно не то, что было придумано выявлено, вычислено, а где и как это было публично представлено. Важно появиться, помелькать, отметить. Презентация с участием телевидения – вот «вершина» такого общения, а не семинар, не научный диалог. Поскольку научная среда сильно деградировала, индивидуальная творческая активность реализуется в других – публичных или корпоративных – средах.

Но есть причины и более глубокие. В индивидуализированном обществе «союзы хороши лишь на то время пока они помогают вам идти вперед. Они становятся ненужными и даже опасными, как только надобность в них отпадает. Из активов они превращаются в обязательства, и горе упустившим этот момент

превращения»¹³⁶. Если верить Бауману, в таком обществе нет прочных личных привязанностей и стабильных общностей – существуют лишь *временные союзы и коалиции*, которые создаются и рассыпаются в зависимости от наличия конкретной проблемы или возникновения конфликтной (рискогенной) ситуации. Сегодня СМИ, пропагандируя конкуренцию и индивидуализм, готовит индивида к тому, что общественное и индивидуальное – это разные поля социальной активности, что «общественное» это – обременительная обязанность, что в контексте постмодерна социальные движения, гражданские инициативы, территориальные общности и другие стабильные организации недавнего исторического прошлого бесполезны по определению.

Позволю себе здесь отступление. Читатель уже наверняка заметил, что по мере продвижения к концу данного повествования слово доверие употребляется все реже, уступая место другим: недоверию и конкуренции. 40 лет назад на VII Конгрессе Международной социологической ассоциации, МСА (г.Варна, 1970 г.), я получил *урок профессионального доверия*. На неформальной сходке международной группы молодых ученых мои зарубежные коллеги предложили мне подписать чистый лист бумаги, на котором они потом должны были изложить заранее обговоренные нами мотивы создания новой структурной единицы МСА – Исследовательского комитета городского и регионального развития и ее устав. Представьте мое положение – единственного советского участника этой неформальной сходки. Не говоря уже о том, что на это у меня не было никаких полномочий. И уж совсем было плохо то, что этот комитет становился фактически альтернативой комитету по Социологии города, одному из старейших в МСА. А они посмеиваются и говорят, «давай подписывай, ты же нам веришь!». Думаю, что сегодня мало кто из «новых русских» решился бы на подобный шаг. Но ведь там были мои друзья и, как потом выяснилось, ближайшие коллеги на много лет вперед (М. Кастельс, Э. Минджоне, Е. Мусил, Р. Пал, К. Пикванс, Э. Претесей, О. Шкаратан и многие другие). Я поверил им, подписал чистый лист бумаги и никогда в этом не раскаивался.

Сегодня культурной нормой становится «набирание очков» на конкурсах на проекты, то есть умение писать и защищать заявки на получение грантов, а не обретение навыков диалога и тем более «радикального сомнения». Наконец, сегодня университеты, научные институты, аспирантура и другие среды приобретения интеллектуального и социального капитала все чаще превращаются в *социальные убежища*, пребывание в которых есть способ отсрочить столкновение с реалиями российского рынка труда особенно в условиях кризиса.

В этих условиях трудно говорить о «научной школе», которая подразумевает наличие концептуального ядра и условий его воспроизводства во времени. Должно быть устойчивое сообщество, в котором есть учителя и ученики, а не мечущаяся в поисках заработка почасовая профессура и столь же летучая аспирантская масса. Поэтому школ я не вижу, и это большая беда. Есть люди, группирующиеся вокруг отдельных фигур или проектов (грантов), но последние, как правило, краткосрочны и политизированы. «Школа» это в сущности авторитетный социальный институт, который, будучи основан на некоторых этических принципах (см. Вернадского), не только лидирует в данной области знания, но и определяет политику в некоторой практической области. А сегодня

¹³⁶ Бауман З. Цит. ист., С. XLVII–XLVIII.

все наоборот. Вообще, политизация социологии – препятствие не только на пути формирования школ, но и развития социологии как таковой.

Теперь об императиве Вернадского: требовать оценки работы ученого в соответствии с «надперсональными критериями». Такими критериями сегодня являются использование международных методик, личных и коллективных сертификатов, организация и проведение исследований по международным стандартам, принадлежность к международным исследовательским центрам и сетям. Как сказал академик РАН В. Фортов, «у нас остались те, кто уехал»¹³⁷, то есть российская наука держится русскими за рубежом, их деньгами и связями. Нобелевские лауреаты русского происхождения, но живущие в США, лучший тому пример. В индивидуализированном обществе «порядочность» – уходящая натура, потому что нет «референтной группы», каковой для Вернадского были его ближайшие друзья и единомышленники по «Братству». На смену ей пришли менеджмент и политкорректность. А также потому, что личная ответственность все более вытесняется групповой и корпоративной.

В принципе и сегодня оценка результатов работы ученого-практика должна базироваться на надперсональных критериях, однако реально она все более зависит от его принадлежности к исследовательской группе, центру или исследовательской корпорации. Профессиональное признание *обменивается* на (более высокий) профессиональный или административный статус. Вместо независимой оценки труда коллегами эта оценка все чаще зависит от принадлежности к некоторой группе, обладающей финансовыми и другими ресурсами. Научные школы вытесняются горизонтальными исследовательскими сетями, работающими в общем проблемном поле. «Человечность» в рыночном обществе все чаще интерпретируется как слабость, некий абстрактный гуманизм. К тому же как ее измерить, если между исследователем и изучаемым объектом слишком много опосредующих звеньев (инструментарий, сети респондентов)?

«Касты» ученых (по Вернадскому) более не существует, потому что сообщество российских ученых, деградируя и распадаясь на множество «проектов», не может более выполнять роли законодателя этических норм профессиональной и общественной деятельности в науке. В индивидуализированном, потребительски ориентированном обществе ученые более уже не являются группой образованных людей, «обладающих миссией», которую они должны выполнить, и нравственностью, которую они должны воплотить в жизнь...»¹³⁸. Этот вывод подтверждается и российскими исследователями¹³⁹.

Сегодня без политического ангажмента и/или служения корпоративному интересу стать *self-made man* в науке практически невозможно. Моральными ориентирами исследовательской работы становятся этические стандарты современного российского бизнеса («удача», «успех», «опора на личные связи», «крыша»). Преуспевают эксперты, оценщики, консультанты, то есть включенные в бизнес и политический процесс специалисты, но не «люди науки». В

¹³⁷ Фортов В. У нас остались те, кто уехал // Новая газета, 20–23. 10. 2005 г. с. 24.

¹³⁸ Бауман З. Цит. ист., С. 248.

¹³⁹ Мансуров В.А., ред. Профессиональные группы интеллигенции. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2003; Покровский Н.Е. Российская интеллигенция перед историческим выбором, в сб.: Студеникин А.И., ред. Интеллигенция в условиях нестабильности. М.: Эдиториал УРСС, 1996.

формировании научных иерархий известность заменила славу, публичность вытеснила авторитетность.

Российские ученые в массе своей беднеют. Тем не менее их меньшая, не ангажированная политикой и бизнесом часть видит свой моральный долг в помощи обществу, его гражданским инициативам в форме научно-общественных исследований и непосредственного участия в защите природы и отстаивании прав и свобод «простых людей». В среде ученых-адвокатов возрождается (или продолжает существовать) этика служения общему благу. Регионализация и даже «локализация» рассматриваемой сферы деятельности лишь усилили этот этический обертон, потому что охрана природы стала гораздо более предметным, осязаемым делом сохранения и воспроизводства конкретных социально-экологических общностей.

Хотя «касты» ученых больше не существует, это не означает, что некому вырабатывать моральные стандарты. Но это скорее не стандарты научного творчества, а стандарты «сертификации», то есть соответствия игры по правилам, созданным вне группы, к которой принадлежит ученый-практик. Принадлежность к многочисленной страте разработчиков ни в коей мере не означает их отчуждения от «мира», презрения к «простым людям». Скорее наоборот, так как вследствие попеременных контактов в разных социокультурных средах и сетях возникает навык «многоязычия» ученых-практиков, инвариант политической толерантности. Но в общем и целом это скорее прагматическая максима.

Да, «образованщина» (Солженицын) – бич российской науки. Властные структуры и бизнес оттянули часть образованцев из ее рядов, но существующее законодательство стимулировало их быстрое пополнение новыми кадрами, по существу людьми случайными (см. упомянутый выше феномен отстойника). Малообразованность науки есть также результат растущего дефицита в ней талантливой молодежи. К тому же СМИ создают для нее «проект» научной карьеры в виде последовательности «набирования очков» (стажировки, стипендии, гранты, презентации, участие в публичных шоу). Все это тешит честолюбие, но не способствует углубленному познанию. По уже названным причинам личность ученого находится под сильным давлением, так что сервилизм в научных кругах – далеко не изжитое явление. Краткосрочные проекты разрушают «длинные волны» ученичества как социального института, препятствуют формированию научных школ. Так что «воля, ум и честолюбие» сегодня в этой среде часто соседствуют с малообразованностью и непрофессионализмом. Сервилизм хотя и разрушает личность молодого ученого, но нередко приносит ему большие дивиденды. Тем более, что рынок тешит и честолюбие, и тщеславие, поскольку они способствуют продаваемости продукта прикладного исследования.

Максима современной науки, и социология здесь не исключение, – это быть востребованным «здесь и сейчас». Мир все быстрее меняется, новые проблемы и новые точки зрения возникают буквально каждый день. Поэтому сегодня исследователь живет прежде всего в настоящем, которое при этом значительно ограничено во времени и пространстве потребностью зарабатывать на жизнь и подтверждать свой социальный статус. Репутации все чаще приобретаются за пределами академических стен, а роль научного сообщества, мнение которого имело ранее общественный вес, снижается. То, чем всегда гордилась российская наука, – широтой общего образования, – становится неактуальным. Времени и сил на углубленную рефлексию, как правило, не хватает. Нет и возможности

поддерживать связь с ушедшими в иной мир – надо успевать быть «на плаву». Семейные традиции вытесняются «внешним» общением членов семьи по индивидуальным интересам. Личные и семейные истории (storytelling), используя в карьерных целях, также становятся товаром¹⁴⁰, а профессиональные истории, как говорит Р. Сеннет, – «средством эмоциональной самозащиты».

Итак, современная российская социология все дальше уходит от критериев профессиональной и гражданской деятельности, сформулированных Вернадским (будь больше места, я мог бы показать сходство его этических принципов с теми, которых придерживались многие: от Д.И. Менделеева до Р. Мертона).

4. «Узкое» как интеллектуальная среда

Меня часто спрашивают: что ты нашел в этом старом доме, который уже почти поглотила новая Москва? Позвольте еще одно отступление. Так, приехав в санаторий Узкое 30 июня 1935 г., Вернадский переписывает в свой дневник *всех* отдыхающих там, всего 52 человека! Согласитесь, трудно представить себе кого-то из наших академиков за подобным занятием. Но для В.И. эти люди были не только друзья и знакомые, с которыми можно было говорить о науке, это были люди, которые для В.И. всегда были важнейшим источником *информации* о событиях в мире, стране и академической среде. Это был принципиальный момент метода его исследования истории науки и общества. Когда из официальной прессы понять истинные мотивы происходящего было практически невозможно, В.И. прибегал к единственно возможному способу получения и проверки интересовавшей его информации: разговорам с людьми. И он не успокаивался пока не взял у большинства из них «интервью».

Характеристика этих 52 человек – лицо столичной элиты, лучше других информированной о скрытых механизмах происходящего. Но это также послание нам, следующему поколению, свидетельство о том, кто входил в этот круг, позволяющий реконструировать нашу историю (замечу в скобках, что запись от 30.06.1935 г. составляет 1,5 странички, тогда как минимальная расшифровка «кто был кто» тогда в Узком составляет более 5 страниц убористого шрифта). Тогда там отдыхали и общались самые разные люди: от государственных деятелей (А.И. Муралов) и актеров (О.Л. Книппер-Чехова) до врачей и ученых (Д.Д. Плетнев, академики А.Н. Северцов, Н.Н. Лузин, А.Д. Архангельский и многие другие). Могу засвидетельствовать, что эта традиция Узкого сохраняется до сих пор.

О чем говорили? – С акад. А.Е. Крымским, славистом, востоковедом, одним из основателей Украинской академии наук, – о Голодоморе на Украине. С биологом Е.Ф. Вотчалом, академиком Всеукраинской академии наук, – о репрессиях в научной среде. С акад. М.С. Грушевским – об изъятии из библиотек книг, изданных до 1934–35 гг., о «пресмыкающихся партийных поэтах». А вот запись самого В.И.: «Научно работать страшно трудно. Научная работа – из всех практических <исследований> выбрасывается. ...По-видимому, <идет> скрытая борьба внутри партии. Улучшений нет»¹⁴¹. Прожив в Узком два летних месяца, незадолго до отъезда В.И. сетует: «так и не записывал ничего – хотя множество

¹⁴⁰ Сальмон Кристиан. Всепроникающий storytelling // Le Monde diplomatique (русское издание). Ноябрь 2006. С. 4–5.

¹⁴¹ Вернадский В.И. Дневники. 1935–41 гг. М.: Наука. 2006. Кн. 1. С. 19–25, 33, 91.

интересных людей, и интересных разговоров и мыслей, стоящих записи. Не хватает силы воли и желания записывать, хотя сознаешь, что стоило бы». И это говорит старый уже человек, но он будет вспоминать и записывать еще и еще, вплоть до самой своей кончины. Через год – снова Узкое: «масса народа – знакомых». И ту же начинаются разговоры о политике вождей ВКБ(б), их сановных чиновников и о политике научной, в АН СССР и ВАСХНИЛе. Разговоры о репрессированном ученике Вернадского. Николае Михайловиче Федоровском, друге нашей семьи. Разговоры с акад. П. П. Лазаревым, тоже близким моей семье человеком. В.И. так передает его оценку научной среды: «выучка есть, творчества нет».

Двадцать лет я езжу в Узкое (первый раз попал туда еще подростком в конце 1944 г., а моя мама работала там врачом еще в 1920-е гг.). Конечно, многое изменилось, это уже не оазис тишины и благоденствия, но сохранилось (сжавшись) главное: возможность выпрыгнуть из скорлупы своей дисциплины, снять шоры и при желании месяц интенсивно общаться с самыми разными людьми: от настоящих ученых всех специальностей со всей России и до вполне случайных людей, поскольку Узкое, как и все другое, подчиняется рынку. Плюс, конечно, тающая, но все еще прекрасная библиотека, постоянно пополняемая самими учеными. Я не буду перечислять всех, с кем мне удалось за эти годы побеседовать (а некоторые охотно давали настоящие интервью), назову лишь имена тех, кто немало способствовал моему интеллектуальному росту: физик А.В. Гинзбург, историк и литературовед Д.С. Лихачев, юрист и социолог В.Н. Кудрявцев, химик Б.Н. Ласкорин, археолог Н.Я. Мерперт, историк С.О. Шмидт, писатель-фантаст Игорь Можейко (Кир Булычев), супруги Е.С. Федорова (культуролог) и А.Н. Федоров (латинист) и многие-многие другие. Интенсивная работа, отдых, лечение и эмоциональная зарядка в свободном общении с ними. Где бы, например, я мог узнать о жизни моей школы № 59 в 1930-х гг. как ни там, в Узком, от Николая Яковлевича Мерперта. Причем в лицах и мельчайших деталях. Но, не удивляйтесь, если я скажу, что, как и некогда Вернадского, меня не менее интересовала жизнь не ученых или писателей, а обыкновенных людей: врачей, сестер, массажистки, подавальщиц, уборщиц. Психологический климат, который они создавали, был не менее важен, чем лечебные процедуры. Тем более, что в последние годы всеобщего тяготения к Москве, поговорив с ними, можно было понять, как живут люди в глубинке Пермского края или Мордовии. Но как перейти от мнений и судеб отдельных людей ко взгляду на социальный мир «снизу» (или изнутри) я скажу в заключительной главе.

5. Итог: трансформация социологической науки

Но вернусь к сюжетам профессиональным. Как мне представляется, идет *глубочайший процесс трансформации социологической науки*. Из дисциплины, оградившей себя строгим понятием «социального факта», она превращается в составной элемент сложных экономико-политико-социально-технологических систем научно-общественного познания, используемых могущественными акторами – государствами, корпорациями и СМИ. По существу, социология становится одним из инструментов политики, формирования общественного мнения и/или манипуляции им, как это недавно продемонстрировало электронное голосование по проекту «Имя России».

Если в XIX и первой половине XX веков социология была по преимуществу думающей, критически анализирующей наукой, всегда базирующейся на той или иной социальной философии, то сегодня она все более становится социальной технологией или экспертным знанием, обслуживающим некоторую группу интереса на политико-экономическом рынке. Рынок в широком смысле съедает социологию. И дело здесь не столько в том, что социолог, чтобы поддерживать свой статус, должен продавать свои знания. Дело в том, что, не продавая их, социолог вообще не может существовать. Это – императив уже не социального, а *физического* выживания социолога как человека. Поэтому сегодня так много социологов «по совместительству», для которых чтение спецкурса или даже его части – распространенная форма кооперации усилий для увеличения заработка, благо информации в интернете предостаточно, а то и просто приработок, но никакая на наука. Я ни в коем случае не виню их – таков наш российский рынок, но менталитет моих коллег это сильно меняет.

Все, казалось бы, логично: мир стал глобальным, игроки на нем только тяжеловесы, мультимиллионеры, между ними идет борьба за передел ресурсов и территорий, значит, для понимания ситуации им прежде всего нужны интеллектуальные ресурсы. Они – двух видов: или это разработки стратегии и тактики нового передела мира, или же идеологическое оружие для тех же целей. В первом случае социологи выступают как аналитики, соучастники разработки названных стратегий, во втором – как разработчики социальных технологий и организаторы пиар-кампаний. В обоих случаях требуются конструкторы социальной и виртуальной реальности.

Возьмите в руки 20 современных западных бестселлеров по гуманитарии. На поверку они оказываются глубокой и разносторонней *междисциплинарной аналитикой* глобальной или страновой динамики. Постановка новых проблем, прогноз, оценка возможностей главных игроков – вот их суть, вот почему они бестселлеры. Собственно социологического анализа в этих книгах нет – есть вкрапления социологической цифири в геополитический анализ взаимодействия «больших социальных тел». Посмотрите, какая идет жесткая конкуренция между социологическими тяжеловесами – ВЦИОМом, Левада-Центром, ФОМом, КОМКОНОм. Не менее жесткая конкуренция и между академической социологией (НИИ, вузы) и множеством новых российских центров и фондов за право быть услышанными и, соответственно, за доступ к финансовым потокам.

В начале и середине прошлого века внешним критерием самооценки труда ученого были публикации в международных научных журналах, плюс, как говорил В. Вернадский, – самооценка, насколько хорошо «я сегодня думал». Ныне для социолога внешней оценкой будет число публичных выступлений в прессе, на телевидении, в интернете. Как сказал один социолог, если вас нет ни в прессе, ни в интернете, значит *вас нет вообще*. Социологический «товар» должен хорошо и обязательно публично продаваться. И различие между уходящим и новым поколениями социологов не в том, что первые были одиночками-затворниками, а вторые рыночными игроками. Дело в том, что первые служили науке для умножения общего блага, тогда как вторые – на благо частного, прежде всего корпоративного интереса.

Но это означает изменение типа личности современного российского социолога. Какова эта личность, которая выражает корпоративный взгляд на социальный процесс, как он его понимает – тиражирует в новых одеждах прежние

точки зрения или пытается сформулировать новые? Наконец, как все это преломляется в его внутреннем мире: есть ли у него собственная гражданская позиция, свой личностный взгляд на мир? Не сломает ли «рыночная радиация» в молодом российском социологе способность критически мыслить, оценивать себя и других в этом потребительском ажиотаже и погоне за статусом «известного» или «авторитетного»? Как писал А.Я. Гуревич, «ум никому не помешал, но главное для человека – его характер... Те, кто выдержал испытание <временем>, скорее всего могли создать что-то полезное и ценное, даже при средних способностях»¹⁴². Эти трудные принципы я адресую прежде всего себе, а потом уже коллегам по цеху.

Итак, как ни разнятся времена, как ни различны масштаб и профессия фигур, о которых речь шла в этой главе, у них есть общая цель: высокий профессионализм и глубокая человечность. Убежденность в необходимости дела, которыми они были заняты. Ответственность. Никогда не быть равнодушным к своей стране и к своему делу. Вдумчивое, аналитическое и вместе с тем «личностное», доверительное слово к собеседнику. Критика и даже неприятие его взглядов, но никогда не переходящая в назидание, в директиву. Только равноправный и уважительный диалог.

Глава 13. Современность (окончание)

Публичная социологии и ее «лицо». – Моя аудитория. – Об эпистемологии. – Эпистемология средового подхода. – О значении культурного контекста. – Адвокаты и защитники.

1. Публичная социологии и ее «лицо»

Но какое все сказанное выше имеет отношение к проблеме публичности социологии?– спросит читатель. Прямое: мысль о необходимости *публичности как диалога*, о которой речь шла в предыдущей главе, пришла далеко не сразу. Почему публичность социологии сегодня «вдруг» стала столь актуальной? Если отбросить феномен цикличности общественного интереса, когда время от времени та или иная научная проблема, «вдруг» актуализируется и выходит на первые строки публичной повестки дня, остаются важные общие вопросы.

Для кого и для чего сегодня существует социология в России, каково ее «публичное лицо» – вот ключевой вопрос. У социологии много функций, и в зависимости от обстоятельств она поворачивается к обществу одним или другим боком. Ю. Левада говорил, что социология – «зеркало общества». Согласен, но далеко не только. Думаю, что и как в XIX веке, сегодня главная задача социологии – рефлексия, критическое осмысление происходящего и «возвращение» этих мыслей обществу. Майкл Буравой разделяет академическую, критическую, прикладную и публичную социологию по типам основных задач и аудиторий, или потребителей социологической информации. Конечно, можно и так, хотя уже из постановки задачи – *главное потребитель* – видно, что это рыночная модель социологии. Полагаю однако, что сегодня нравственная и воспитательная функция социологии не менее важны, чем следование вкусам и потребностям массового общества. Но в наших конкретных условиях это опять же означает, что на первый план выходит ее критическая, гражданская функция.

¹⁴² Гуревич А.Я. Цит. ист., С. 147.

Меня часто спрашивают, что, с моей точки зрения, входит в сферу публичной социологии? Для меня это несколько странная постановка вопроса. Я воспитывался в семье и среде специалистов точных и естественных наук, врачей, путешественников. Эти люди всегда могли объяснить любой аудитории, чем они занимаются и почему это важно. Прекрасный урок публичной социологии преподавал мне М.Кастельс в Барселоне на конференции «Большие города мира» (1985 г.), где он выступил с блестящей публичной лекцией для людей улицы по теме своего сугубо научного доклада, который он делал час назад. Навык популяризации должен быть у социолога в крови.

Убежден, что публичная социология сегодня возможна и необходима в принципе в любых областях и для самых разных социальных общностей. Но всегда есть одно принципиальное условие: публичность предполагает не только общедоступность, но и отказ от дисциплинарной зашоренности. Если вы не «владеете вопросом», а он никогда не бывает чисто социологическим, то вам нечего делать на публичной трибуне. Или быть только факиром, вбрасывая в аудиторию тот или иной набор цифр. Главная же задача публичного социолога: *стать вровень с публикой* и начать разговаривать с нею. Часто не столько даже важна проблема, сколько то, что вы обсуждаете ее с рядовыми гражданами на равных. Нужны чувство зала, его резонанс. Я сейчас редко выступаю в больших аудиториях по причине возраста, но раньше объездил всю страну (и не только), всегда предпочитая прямой диалог в режиме «вопрос–ответ». Это большая психоэмоциональная нагрузка, но и огромное удовольствие. Публика не так глупа, как часто ее представляют в наших ток-шоу. Просто у нее часто *другие приоритеты* и другое видение проблем, чем те, которые видятся нам с «социологического Олимпа». Надо понимать язык, строй мыслей аудитории. Надо, не теряя профессионализма, уметь быть «народником» и не бояться этого.

Вправе ли социология влиять на общество, участвовать в жизни социальных групп, инициировать социальные изменения, есть ли этому предел? Убежден: не только «вправе», но и обязана. Я никогда не смог бы стать специалистом по российским экологическим движениям, если бы не был включен в их деятельность. Социальное движение по сути – публичный процесс, и если ты не знаешь, как к нему подойти, то лучше отойти совсем. Все дело в мере и формах этого включения. Сегодня мною эмпирически выделена группа ученых-адвокатов, которые занимаются вместе с рядовыми жителями черновой работой по охране своего леса, речки, родника, не переставая быть учеными. *Участие* – гражданский долг социолога, важно для себя понять, что это – режим диалога, а не урока ботаники.

Не о «пределе» влияния нужно говорить, а о том, что доступная социологу публичная сфера сокращается как шагреновая кожа. Если она окончательно «схлопнется», это будет беда для социологии и всего общества. А верхний «предел» – это научить собеседника мыслить, как и ты сам. Или хотя бы убедиться в том, что он понял, что существует иная точка зрения на предмет его беспокойства. Или – показать ему, что есть проблема, о которой стоит поразмыслить: не зря западные коллеги так часто употребляют выражение обеспокоенные граждане (*concerned people*). Публичность – не лекция для партийно-хозяйственного актива, а *диалог* именно с такими гражданами. А дальше пусть думают сами. Поскольку процесс генерирования новых знаний непрерывен,

то и общаться с публикой социологу придется периодически. Разве социолог не должен быть включен в систему непрерывного образования?

Сегодня много говорят о своего рода «публичном повороте» в отечественной социологии, о преодолении ее кабинетного характера. Но «публичный поворот» – это не поворот ключа в замке зажигания, а процесс, борьба, как и все другое на этом свете. Раньше давила власть, но были же великие русские социальные критики! Сегодня рынок безусловно давит, но и интеллигенция должна сопротивляться. То, что происходит сегодня в Интернете, а на Западе это уже давно произошло, вселяет надежду, что «публичный поворот» уже происходит. Я, в частности, имею в виду сдвиг от блогов к социальным сетям. Когда ученые выпадают из публичного общения, люди налаживают его сами, находят других авторитетов, только уровень дискуссии понижается.

Далее, разделение на мысль и действие в изучаемой мною сфере весьма условно. Если публичное пространство сокращается, то за его сохранение надо бороться. Значит, социолог в этой борьбе должен иметь союзников. Возьмите самых известных: А.Турена, М.Кастельса, Э.Гидденса и многих других. Рано или поздно, чтобы отстоять свою точку зрения они становились публичными политиками и даже мозговыми центрами социальных движений. То, что делал недавно Гидденс со своими молодыми коллегами, разрабатывая «Социальную модель Объединенной Европы»¹⁴³, разве это не соединение социологии и политики? Поэтому для меня «публичная социология» это прежде всего публичные социологи, то есть *личности*. Если угодно, социологическая элита. Если у нее хватит понимания и душевных сил, что ультра-либерализм и потребительство – это тупик социальной эволюции, тогда есть надежда, что «социология-для-людей» будет существовать. Иначе на публичной арене останутся одни пиарщики.

Некоторые мои уважаемые коллеги, как мне представляется, все еще исходят из «директивной» парадигмы взаимодействия «социология–общество». То есть, что социологи сначала что-то выясняют, формулируют, а потом просвещают несмышленную публику. Однако в социологии социального знания этот метод уже более 10 лет назад был назван «дефицитным», то есть ущербным. И в США, и в Европе были проведены масштабные социальные исследования, показавшие, что эта парадигма ошибочна, и что надо двигаться от «дефицитной» модели к «посреднической» и далее – к «партнерской». Было введено понятие «локального знания» (*local knowledge*). Принцип социологии социального знания: следуй за актором (*follow the actor*)¹⁴⁴. Можно конечно все это проигнорировать, но лучше бы опираться на уже достигнутое, критически его разобрать, а потом двигаться дальше.

¹⁴³ *Giddens A. A Social Model for Europe?*, in: Giddens A., Patrick Diamond and Roger Lidde, eds. *Global Europe. Social Europe. Polity: Cambridge*, 2006. p.15.

¹⁴⁴ См. работы: *A. Irwin and B. Wynne, F. Fisher* и других. Проблемами со- участвующей науки я занимаюсь с 1987 г. (см. *Deelstra T. and O.Yanitsky, eds. Cities of Europe: The Public's Role in Shaping the Urban Environment. M., 1991*). Эти подходы были детально разобраны в моих статьях в журнале «Общественные науки и современность», 2006, №№ 5 и 6, в кандидатской диссертации моей аспирантки *Е. Королевой «Социология политики Ульриха Бека» (2007)*.

Таково мое понимание публичной роли социологии. Но за этой проблемой кроются вопросы еще более общие, принципиальные. Прежде чем обсуждать, какова ее публичная роль, следует выяснить, какое место занимает *она сама* в обществе. На мой взгляд, положение социологии становится все более подчиненным, зависимым: она как институт находится в мощном и весьма конфликтном геоэкономическом и этнополитическом поле. Ключевая проблема современного мироустройства – новая архитектура мира, где стратегию и тактику определяют мощные экономические и политические игроки.

З. Бауман прав: это поле борьбы двух сил: господствующей экономической, живущей и действующей во времени (мир «поток»), и слабых разрозненных сил, привязанных к определенным точкам Земли, то есть живущих в пространстве («мир мест»). Первая сила – унифицирующая, тогда как вторая стремится сохранить локальные и региональные экосистемы, где люди соединены, спаяны с природным окружением. Поэтому теоретически и в мире, и в России есть две социологии: одна, питаемая ресурсами транснационального капитала или принадлежащего мощным этнократическим кланам, поддерживает их геополитические интересы. Другая отстаивает идеи демократии и самоуправления, прав граждан на самоорганизацию природы и людей.

Возьмите в руки «Ведомости» или другую серьезную газету. В них большие статьи всегда проблемны и «системны». Вот одна из них задается ключевым сегодня вопросом: «это все-таки страна или группа предприимчивых друзей, которым нет дела до остальных?». Я лично нахожусь на стороне индивидуализированных человеческих сообществ (не толпы!), которые хотят жить в здоровой и безопасной среде, работать, общаться, учиться и воспитывать своих детей «здесь и сейчас». Противная сторона отстаивает свои идеи, скажем, «двух третей» или даже «одной трети», поскольку даже нынешняя численность населения России им представляется избыточной. Эта, вторая сторона мыслит именно рабочей силой, трудягами и рабами, ну какой с ними может быть диалог? – «Предприимчивым друзьям» нужен пиар своей модели мира. Дальше. Чтобы социологу оценивать критически глобальную динамику и объяснять ее другим, широкой публике ему нужны адекватные инструменты. И вот здесь проявляется недостаточность классической методологии: «социальные факты только из социальных фактов». С такой амуницией перед публикой социолог практически бессилен. Экспертные суждения и массовые опросы здесь также подходят мало, потому что одномоментные «срезы» современного неопределенного и весьма турбулентного мира динамики его «длинных волн» (Кондратьев) не дают.

Значит, социологу, стоящему на демократических позициях, нужно знание о сценариях и моделях глобальной динамики. А они создаются только большими междисциплинарными коллективами, с обязательным участием представителей естественных и точных наук, о чем я уже говорил выше. Ключ к успеху такого социолога – в умении социологически интерпретировать данные других наук. А это совсем другая эпистемология и психология. И такая интерпретация плюс критика должны быть делом постоянным. Напомню, что социальная критика всегда была присуща русской социальной философии и социологии. Но еще более она была присуща представителям естественных наук, начиная с М.В. Ломоносова и до Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, П.Л. Капицы и А.Д. Сахарова.

Но и этот шаг – не последний. Если социолог будет столь же «директивен», как юрист или менеджер, грош ему цена. Следовательно, помимо научной

рациональности он должен владеть методами выявления *рациональности культурной*. Иными словами – находится в непрерывном диалоге с «людьми места», с обычными гражданами. И постоянно выявлять и обсуждать проблемы, которые волнуют именно их. Значит, помимо всего прочего социолог должен владеть «языками места», а также – методами стыковки, соотнесения знания о глобальных процессах (потоках) и о местных проблемах и ситуациях. То есть владеть не только методами междисциплинарной интерпретации, но и методами сбора и интерпретации *локального знания* и его соотнесения со знанием с научным. Значит, он должен работать не столько с анонимными респондентами, сколько с *личностями*, думающими и способными на реальное социальное действие.

Часто спрашивают: все ли из того, что узнал и критически осмыслил социолог, он должен говорить «простому народу»? С моей точки зрения, все или почти все. Только тогда возможны доверие и диалог: не между элитой и массой, а элитой и другими личностями. Если на них смотрят только «сверху вниз» как на «быдло», то оно создает свою «параллельную реальность». Взрывное развитие социальных сетей в интернете – лучшее тому подтверждение. Другое дело, когда и что именно говорить. Но если уж мировые лидеры точных и естественных наук постоянно выступают в роли пропагандистов и популяризаторов своих открытий, если лидеры США подбирали свои команды по критерию хорошей «life story», то почему же это недоступно нам, социологам?

Что же произошло сегодня? – Социологи почувствовали, что теряют контакт с массовой аудиторией, что она перестает им доверять, что их влияние на мир сокращается – население слушает все больше политиков, экономистов и военных. Или они почувствовали, что люди на местах создают, воспитывают «своих» социологов, способных быстро и внятно ответить на волнующие их вопросы «здесь и сейчас»? Или же социологи, наконец, начали осознавать, что *просвещенческая* модель отношения «наука–общество» вообще *все менее отвечает социальным реалиям*, что социология как институт слишком политизировался и все чаще решает собственные далекие от интересов публики, вопросы? Сказанное актуально потому, что со стороны социологов-теоретиков все время слышатся призывы к повышению стандартов научности, к укреплению идентичности данного профессионального сообщества, попытки отделить высоких профессионалов от всех остальных..

Мой личный адресат – это социологи, которым я стремлюсь показать ущербность методологии только научной рациональности, «реалистической» или конструктивистской, и необходимость углубленного изучения российского менталитета и кристаллизирующейся внутри него личности. Не буду повторять, что историю – глобальную и локальную, местную – делают в конечном счете личности – иначе откуда бы взялись российские и все другие зеленые, которые стремятся экологизировать, т.е. ввести в более или менее цивилизованные рамки рыночную стихию и умерить, потребительские аппетиты. Поэтому если мой адресат – российское социологическое сообщество, то по отношению к нему моя задача – посреднически-просветительская. А также роль переводчика на языки социологии и политики экологических угроз (рисков) и обеспокоенности тех, кто знает об этом больше и смотрит дальше.

Мне возражат: экологи и другие ученые-естественники это могут сделать сами. Верно. Но они, как правило, ориентированы на российские ресурсные ведомства, так как экологических институтов становится все меньше. Лишь очень

немногие экологи стали публичными политиками. Я не отношусь к их числу. Для меня, посредника и интерпретатора, социологическое сообщество есть та публика, которой я предлагаю интегрировать в их концепции «экологическое измерение». В этом смысле я нахожусь в том же ряду, что и другие российские экосоциологи. Единственное, что меня отличает, это поляризация моего научного интереса. С одной стороны, это эпистемология социально-экологического исследования, с другой – углубленный интерес к конкретным носителям экологических ценностей, к лидерам и участникам российского экологического движения. Впрочем, без теории среднего уровня здесь не обойтись, поэтому я занимаюсь также теорией экологической модернизации.

2. Моя аудитория

Она – это все то же сообщество социологов, когда оно становится «публикой», то есть когда я обращаюсь к ним как к неспециалистам в моей проблематике. Но это также студенты, аспиранты и молодые специалисты, которым я хочу сказать: «Молодые люди, то, что вы слышите на лекциях или читаете в учебниках о структуре и функциях современного общества, – это не совсем то общество, которое есть в действительности, потому что из его концепции искусственно вынут его всеобщий – природный – субстрат, главный и единственный ресурс всего того, что крутится, вертится, дышит и ежедневно потребляет его в невероятных количествах. Вы изучаете потребительское общество, но ничего не хотите знать о среде, в которую оно встроено, и о ресурсах, которые оно потребляет. Социология, которую вам читают, – это умная, интеллектуальная наука, но это социология вчерашнего дня. Социология завтрашнего дня – это социология эпохи дефицита ресурсов, голода и ресурсных войн». То, о чем писал П. Сорокин в своей книге «Голод как фактор...» почти 90 лет назад, вновь становится актуальным в глобальном масштабе, и этот передел мировых ресурсов неизбежно затронет и российское общество, его социальную структуру, институты, его социальную политику. Уже затронул: случилась российско-грузинская война – риск с неопределенными и некалькулируемыми последствиями, затем затяжной газовый конфликт с Украиной и Европейским Союзом и т.д. Менталитет российского социолога консервативен, он не хочет признавать эту новую реальность. Однако мировой кризис углубляется, и культивируемая сегодня СМИ идеология неограниченного потребления-для-меньшинства завтра может обернуться лишениями и голодом для огромных масс людей.

Здесь я должен перейти «на личности». Озабоченность публичностью социологии носила в последние год-два какой-то обезличенный характер. Почему-то все диспутанты говорили о социологии как о некотором едином одушевленном субъекте социального познания. И никто не задавался вопросом: кто именно способен или имеет право вещать от имени этого, не существующего в природе «общего лица»? Есть ли *личности*, *лидеры*, способные публично сформулировать свою индивидуальную точку зрения?

Позвольте, возражат мне, да ведь в каждой научной статье, тезисах и т.п. научной продукции содержится чья-то точка зрения. Не могу с этим согласиться. В сотнях публикаций, которые я читаю, авторы или скрываются в тени авторитетов – знать и кратко изложить то, что сделано до тебя, есть необходимое, но недостаточное условие. Или же от их текстов веет холодом обезличенности, типа

«темнеет» или «холодает». Я не беру в расчет тех, кто строит свои тексты по принципу квазинаучного политеса: «с одной стороны – с другой стороны». Так вот парадокс истории нашей дисциплины в том, что в 1960–70-х гг. выходила масса социологической литературы по проблеме *личности* – не могу перечислить всех, но ключевой фигурой в этом деле был и остается И.С. Кон¹⁴⁵. Сейчас такой литературы почти нет, а потребность в ней как никогда велика: посмотрите, как раскупают все виды мемуарной литературы, исторические и семейные хроники!

Компенсируют ли блоги и социальные сети такой недостаток? На мой взгляд, нет, потому что этот поток информации дает возможность выговориться, снять напряжение одиночества, поделиться хоть с кем-нибудь, как говорится, «в белый свет как в копеечку». Но ни блоги, ни социальные сети не создают образцов, положительных героев, в которых остро нуждается наша общественная жизнь. Конфликтами и кровавыми «разборками» она полна, но в целом она обезличена, массифицирована. А для движения вперед нужны лидеры, герои, а не только диджеи и говорящие головы. Отсутствие личностного начала связано с дефицитом гражданственности или, как минимум, готовности к минимальной личной жертве для общего блага.

Почему это происходит? Я называю этот социальный феномен «панцирем несостоявшихся». Он одинаково присущ и советской, и нынешней эпохе. Если человек поначалу не состоялся как личность, он ищет защиты у могущественной организации: причем в данном случае безразлично, политическая ли это партия, корпорация или религиозная община. Человек может так и остаться «слепком организации». Но чаще всего его несостоявшееся «Я» просыпается, бережит душу, и он ищет личностной точки опоры – прежде всего в семейных корнях, в индивидуальной истории друзей или близких и, конечно, в мемуарной и исторической литературе, дневниках. Вот почему «устные истории» как социологический метод приобретает все большую популярность. Есть и критический, или скорее, клинический способ поиска точки опоры. Это так называемый дауншифтинг (случайна ли общая семантика с понятием «даун?»), то есть полный отказ индивида от некогда защищавшего его панциря. Но по существу это опять же поиск того, в чем можно раствориться без остатка. Значит, такой человек окончательно отказался от самоутверждения себя как гражданина, личности-в-обществе.

Что же в конце концов привело меня к антропологическому подходу, к необходимости общения с живыми людьми, работе среди них и оказанию им посильной помощи? Сначала попытки, возможно неосознаваемые, вжиться в социальную ткань гражданских инициатив и общественных движений, стремление расшифровать их систему ценностей. А в конечном счете – понять, как они сами себя мыслят в этом мире.

Но у этого вопроса есть и другая сторона, моя, профессиональная. Когда я читаю тексты своих российских коллег по экосоциологии, я часто не вижу за ними автора, его позиции, научной и мировоззренческой. Понимаю, что от него часто требуют тенденции, общей картинки, процентов «за и против» и комментария к ним. Может быть тем самым социология приближается к естественным наукам, когда нужны только цифры и факты? Но ведь действующими лицами в социологии тоже являются живые люди. Или же они по большей части выражают

¹⁴⁵ См.: Кон И.С. 80 лет одиночества. М.: Время. 2008.

корпоративную точку зрения? Не слишком ли нас, вслед за нашими западными коллегами, одолевает политкорректность, боязнь проявить себя, свое отношение или, не дай Бог, свою идеологическую позицию, свою философию истории, если такая конечно имеется вообще.

Для меня, как и для А.Я. Гуревича, при чтении текстов того или иного автора, важен вопрос: «какова личность того человека, который выражает свой взгляд на исторический процесс, пересматривает <ли он> существующие точки зрения или повторяет прежние, какое преломление получает все это в личности данного индивида?»¹⁴⁶. Тем более, что в длительных интервью с экоактивистами почти всегда проявлялась их личность, характер и гражданская позиция и что уже более 100 лет экологическое движение России инициировалось и возглавлялось фигурами с сильной волей и характером. Вообще, это – личностное – не массовое – общественное движение. А если посмотреть на социологию как на движение мысли, то оно тоже не анонимно!

3. Об эпистемологии

Переход от проблемы публичности социологического анализа к его эпистемологии вполне естественен, так как, с моей точки зрения, лабораторно-чистого социального знания не существует – оно всегда включено в социально-политический и культурный контекст, а производство этого знания опосредуется интересами групп, организаций и институтов. Сегодня экзоциология – не раздел и не ветвь социологии, а растущее по важности направление развития социологии как науки в целом. Потребность в таком ее понимании стимулируется целым рядом факторов современной социетальной динамики: глобализацией, растущей де-территориализацией общественного производства, мобильностью капитала и человеческих ресурсов и порождаемыми ими рисками. «Охрана», «защита», «безопасность» – все эти формы современной научной и практической деятельности порождены именно растущими масштабами угнетения не только природной, но и социальной среды, широкомасштабной ее реструктуризацией, «раскачкой биосферы». Соответственно, в теоретическом пространстве предлагаемая ниже модель производства экосоциального знания ближе всего к парадигме общества риска утверждающей, что риск имманентно присущ любой форме человеческой деятельности¹⁴⁷.

Развитие экосоциального знания в XX веке было связано с конфликтом двух общественных практик. Одна – это индустриализация и урбанизация, потребовавшие от социологии разработки теорий перехода от «сообщества» к «обществу». Другая – это практика защиты от последствий этих процессов. Понятие риска не употреблялось, но социологи постоянно оперировали такими терминами, как «яды», вред, опасность, истощение, невосполнимые потери. Так или иначе, зарождение социальной экологии как дисциплины тесно связано со становлением «первого модерна». Как уже было сказано, самостоятельная социологическая дисциплина социальная (человеческая) экология возникла и развивалась в течение 1920–50-х гг. Чикагской школой городской экологии.

¹⁴⁶ Гуревич А.Я. Цит. ист., С. 147.

¹⁴⁷ Beck U. Risk Society. 1992; Яницкий О.Н. Социология риска. М.: 2003.

Иными словами, на определенном этапе модернизации общества потребовался такой эпистемологический конструкт как «экология», осмысливающий отношения субъекта и среды, общества и биосферы. Отсюда пошли две расходящиеся линии социологического анализа: социально-антропологическая, сфокусированная на внутренней жизни территориальных, прежде всего традиционных сообществ и их взаимоотношений со «вмещающим ландшафтом»¹⁴⁸, и собственно социологическая – на переходе от сообщества к обществу в ходе модернизации и урбанизации. Интересно, что человеческая экология, положив во многом начало развитию социологии как науки вообще, затем надолго была отодвинута на периферию социологической мысли вследствие принятия дюркгеймовского постулата об автономии социальной реальности. Только на рубеже 1980-х гг. американскими социологами У. Каттоном и Р. Данлэпом была предложена Новая экологическая парадигма, признающая за природой значение социально значимой силы¹⁴⁹. Замечу, что мысль о превращении человека в новую геологическую силу была высказана В.И. Вернадским задолго до этого.

4. Эпистемология средового подхода

Эпистемология как понимание отношения знания к реальности, как совокупность всеобщих предпосылок познавательного процесса и условий его достоверности зависит от доминирующего взгляда на мир социолога. Как я уже сказал, исторически обозначились два противоположных подхода. На одном полюсе – объектное понимание предмета исследования, где среда и субъекты его «наполняющие» суть *объектов изучения* с целью последующего управления ими, выявления их «несущей способности» в отношении воздействующих в нее рисков. На другом – субъектное понимание предмета, то есть интерпретация *среды как живого организма*, не только следующего регулятивным воздействиям «сверху», но имеющего свои специфические закономерности функционирования, свой голос, свои права и возможности их отстаивать. В основе первого лежит универсалистская модель (парадигма) познания, в основе второго – *средовая*, то есть понимающая, качественная и контекстуальная.

Позитивизм как теория познания основан на твердой вере в способность рационального разума контролировать природный и социальный мир. Эта рационалистическая ориентация базируется на эмпирическом измерении, аналитической точности и концепции «системности». Как методологический инструмент, он представляет собой логически выверенный, инструментальный и хорошо методически отрететированный подход к решению проблем и достижению целей. При таком подходе ученый *дистанцируется* от реальности, расчленяет ее на части, затем разрабатывает средства для разрешения проблемы «наиболее эффективным», с его точки зрения, способом и, наконец, диктует свою волю (по

¹⁴⁸ Кульпин Э.С. Социоестественная история: предмет, метод, концепция. М.: Открытый университет. 1992.

¹⁴⁹ Catton W.R. and Dunlap R.E. Environmental Sociology: A New Paradigm // American Sociologist. Vol. 13. 1978. Pp. 41–49; Catton, W.R. Jr., and Dunlap, R.E. A New Ecological Paradigm for Post-Exuberant Sociology // American Behavioral Scientist, Vol. 24, No 1, 1980. Pp. 15–47.

цепочке вниз) исполнителям. Основным гносеологическим допущением теоретиков позитивизма является убеждение, что данный подход и его инструментарий являются единственным надежным средством для получения достоверного знания и его последующего применения.

Средовой подход – иной, его сторонники полагают, что реальность никогда не может быть понята и объяснена полностью по причине множества прямых и обратных связей в среде, равно как и множества социальных значений и социальных оценок конкретных ситуаций, носителями которых являются акторы разного уровня и социальной принадлежности. Поэтому суть средовой парадигмы состоит в переходе от ориентации социолога на отстраненную научную верификацию к *контекстуальному и дискурсивному пониманию* социального исследования.

Средовой подход интерпретирует среду как совокупность акторов, взаимодействующих между собой и со средой. То есть это одновременно активистский и контекстуальный подход. Его адепты стремятся эксплицировать сложную систему взаимодействий социальных институтов, организаций, граждан и изменяющегося контекста, и, соответственно, их сети, складывающиеся в процессах социальной практики. Данный подход означает замену формальной логики позитивной науки неформальными рамками практически ориентированного разума, то есть *рассуждением-в-контексте*. Чувствительность исследователя к частному, локальному и фиксированному во времени – базовые методологические предпосылки средового подхода¹⁵⁰. Он может быть квалифицирован как неформальная «мягкая» логика с собственными правилами и процедурами, менее зависимая от точных наук и более социально, политически и культурно ориентированная. Его принцип: *меньше исходных предпосылок – больше всестороннего анализа как «извне», так и «изнутри»*.

Но если среда – субъектна, то есть является совокупностью социальных акторов различного уровня и форм активности, то считать, что они существуют только *внутри* структуры социального действия, сформированной властвующей элитой и ее экспертами, что внутри этой структуры возможности доступа и использования населением научного знания те же, что и во всем обществе, – ошибочно. Утверждение об однородности структуры социального действия отрицает наличие в обществе различных структур власти и влияния и означает «предписывание» населению только одну из них (властной) его границ познания и социального действия в качестве «естественных», то есть политически и культурно санкционированных¹⁵¹.

Эпистемологически субъектность среды имеет тройкий смысл. Во-первых, это означает, что в каждом конкретном случае складывается специфическая конфигурация социальных сил (групп интереса, гражданских инициатив, социальных движений) и их сетей, детерминирующих их ответ на экономические, технологические или средовые риски, причем принципиально важно, что часть этих сил представляет «интересы» именно социоприродных систем. Во-вторых,

¹⁵⁰ Toulmin S. *Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity*. Chicago: Chicago University Press, 1990.

¹⁵¹ Irwin A. and B. Wynne. *Conclusions*, in: Irwin A. and B. Wynne, eds. *Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. Pp. 215.

действия каждой из сил основано на их специфическом восприятии рисков (для себя и других) и знании конкретной ситуации. Отсюда, *локальное* и *ситуативное* восприятие и понимание, относящиеся к специфическому социальному контексту, выступает необходимым источником производства средового знания и предлагаемых «снизу» решений. Эти восприятие и понимание интерпретируются прежде всего в рамках специфической культуры «места», в котором они происходят. В-третьих, анализ *социально-экологических конфликтов* является ключевым познавательным инструментом изучения процессов производства такого знания. Поэтому современное социально-экологическое знание может быть интерпретировано как некоторая «сборка», полученная в результате напряженного взаимодействия между местными практиками и стремлением конвертировать их в категории глобального или универсального языка¹⁵².

В отличие от инструментальной рациональности, присущей позитивизму, средовой подход придает важное значение *культурной рациональности*. В современных условиях, когда институты и практики базируются на «абстрактном» и анонимном экспертном знании, когда уровень манипуляции фактами науки чрезвычайно высок, а предлагаемые населению оценки угроз его здоровью и самой жизни часто сфальсифицированы политически ангажированными экспертами, локальное знание опирается прежде всего на личный или групповой опыт людей, подверженных риску, а решение их проблем – на доверие независимым ученым и экспертам. *Доверие – ключевой момент культурной рациональности*. Доверие есть «цемент групповой и социальной интеграции» (Гидденс). Замечу опять же, что доверие – такой же переменный социальный капитал, как и всякий другой. Им не «награждаются» – оно должно зарабатывать и постоянно подтверждаться.

В ходе истории понятие культурной рациональности менялось, поскольку было тесно связано с господствующими ценностями, с ценностью человеческой жизни. Формирование «охранительной» экологической культуры, начавшееся в России в конце XIX в. (формирование заповедного дела, строительство «городов-садов») было прервано революцией. Одним из первых в конце 1920-х гг. было разгромлено краеведческое движение, потому что память о прошлом мешала осуществлению коммунистической утопии. С тех пор власть шаг за шагом уничтожала эту память, а вместе с ней и понимание зависимости человека от природы. Место человека «сберегающего» занял человек-гигант, расчленяющий и покоряющий¹⁵³. Новая «рыночная» эпоха отбросила нас в этом смысле еще на несколько столетий назад.

Наша экологическая культура сегодня – это культура выживания за счет проедания накопленного природного и социального богатства. От хозяйства мы снова сползаем к промыслу, только в гигантских индустриальных масштабах. Выживание целой нации за счет «трубы» – это ли не урок экологической культуры? В отличие от политиков высоколобая социология избегает таких грубых слов, как воровство, расхищение, грабеж. Однако парадокс современной технической цивилизации состоит в том, что «использовать» природу безнаказанно уже нельзя. Даже «локальное» воровство (вырубка кабелей и сетей электропередач,

¹⁵² Latour B. Science in Action. 1987; Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. London: Cambridge University Press., 1977; Яницкий О.Н. Производство социально-экологического знания. // Общественные науки и современность. № 5 и 6. 2006.

¹⁵³ См. Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. М.: Мысль. 1987.

браконьерство) грозит катастрофой целым регионам. Хищнический промысел красной рыбы на Дальнем Востоке чреват полным исчезновением ее популяции. Столь же безнаказанная вырубка лесов в Сибири может нарушить биосферный баланс с абсолютно непредсказуемыми глобальными последствиями. Российский человек шаг за шагом подрывает фундаментальные основы собственного существования. И риски этой «культуры» вполне можно измерить. Вот почему еще я назвал Россию «обществом всеобщего риска».

Позитивисты полагают, что локальные качественные исследования лишь уточняют, детализируют национальные или международные массовые опросы. Иными словами предполагается, что количественное исследование дает общую «черно-белую» валидную картину, а микрокачественные исследования лишь ее детализируют, «расцвечивают». Для средового подхода *глобальное и локальное суть равноправные* сущности. Локальное разнообразие (мнений, позиций) не есть «украшение» универсализирующих трендов модерна, но место и инструмент их тестирования на валидность.

Позитивистская социология всегда ориентирована на стандартизацию исследовательской ситуации, тогда как носители экосоциального подхода стремятся выявить *максимально возможное разнообразие* условий для производства некоторого знания. Конкретно – на этапе идентификации проблемы лидеры местных сообществ могут поставить диагноз экологической или социальной патологии, указать на их возможные причины и предложить объясняющие гипотезы. На этапе оценки степени риска – они могут указать, какие именно социальные связи могут быть полезны или должны быть сохранены для его предупреждения или устранения. Эти лидеры способны также выявить ресурсы, которые можно или должно мобилизовать для этих целей и дать оценку социального потенциала местного сообщества. Наконец, знание лидерами внутренней механики жизни местного сообщества является чрезвычайно важным. «Локальное знание ценно именно потому, что оно открыто ситуациям неопределенности»¹⁵⁴.

Если я выбираю позицию социального эколога, то моя задача на порядок сложнее – я не могу ограничиться познанием причинно-следственных связей и эмпирическим тестированием гипотез. Тем более – удовлетвориться измерениями «объекта», например, характера и степени загрязнения среды и социальной патологии как их продукта. Я должен быть *одновременно аутсайдером и инсайдером* с тем, чтобы понять организованный мир значений, который конституирует социальный конфликт и его социальный порядок. Я должен войти *внутрь* конкретной ситуации, чтобы понять, как различные участники социального процесса ее воспринимают и интерпретируют в соответствии со своими взглядами и ценностями. В конечном счете социальный эколог должен социально и этически определиться: где его место: *вверху или внизу социальной иерархии*? Если я исхожу из того, что разнообразие природного и социального мира – залог их устойчивости, что человеческая жизнь самоценна, то низовая (средовая, периферийная) позиция является моей основной исследовательской позицией. Как говорил М. Фуко, проблемы «маргинального человека», то есть находящегося за пределами основного хода событий, равно как и локальных точек сопротивления социальной

¹⁵⁴ Fisher Fr. Citizens, Experts, and the Environment. The Politics of Local Knowledge. Durham and London: Duke University Press. 2003. p. 216.

системе, являются ключевыми для понимания ее истинной природы¹⁵⁵. Значит, социальный эколог должен быть гуманистически и демократически ориентированным исследователем, включенным в дискурсивные практики¹⁵⁶.

Эпистемологически такая этическая и исследовательская позиция соответствует методу *соучаствующего (адвокативного) исследования*, о котором я ниже скажу подробнее. Его корнями являются методы включенного наблюдения, широко применяемые в социологии социального действия, социальной феноменологии и антропологии, этнометодологии, анализе повседневности. Эти методы имеют общую гносеологическую основу: человеческие существа являются (со)творцами их собственной реальности посредством участия: через личный опыт, воображение, интуицию, мышление и действие. Но есть и более глубокие основания для поворота к соучаствующему исследованию: тенденция к увеличению *сходства установок социальных ученых и людей улицы*. «В век высокой модернизации установки простых людей в отношении науки, технологии и других эзотерических форм экспертизы имеют тенденцию проявлять ту же смесь установок уважения и дистанцированности, одобрения и беспокойства, энтузиазма и апатии, которую мы находим в работах философов и социальных аналитиков»¹⁵⁷.

Подчеркну еще раз: это знание производится многими акторами во многих «точках» социального пространства. Поэтому процесс его производства является скорее практикой, нежели процессом теоретизирования, а его результатом не столько «факты» объективного измерения, сколько итог договоренностей и консенсуса¹⁵⁸. Что вовсе не является отрицанием высоких стандартов научности, скорее речь идет об усложнении способа производства социального знания.

Структурной основой этого производства является *сеть конкурирующих акторов*. Такое знание производится как в нисходящих, так и в «восходящих потоках», включая познание в процессах ответа на давление «сверху», будь то сопротивление унифицирующим рекомендациям официальной науки или политическим решениям. Властные структуры, бизнес-сообщества, гражданские инициативы, НПО, общественные движения, СМИ и многие другие – необходимые структурные элементы рассматриваемого производства. К тому же, каждый из его участников имеет «скрытые модели социального действия»¹⁵⁹. Это можно интерпретировать как наличие внутренних (самосохранение, ресурсное обеспечение) и внешних (легитимация, общественная идентификация, публичный успех) целей, соотношение между которыми периодически меняется в зависимости от внутренней ситуации и изменения контекста.

Но даже если оставаться в рамках позитивистской модели, то и в этом случае производство экосоциального знания функционирует по принципу «тяги–толкая»: сначала – научно-технический прорыв, инновация, основанная на лабораторном знании, потом – торможение, корректировка этого знания под воздействием реакции потребителей в форме гражданских инициатив и

¹⁵⁵ Foucault M. The Archeology of Knowledge. New York: Pantheon. 1972.

¹⁵⁶ См. подробнее: Ионин Л.Г. Социология в обществе знаний. От эпохи модерна к информационному обществу. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2007.

¹⁵⁷ Giddens A. Modernity and Self-Identity; Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity, 1991. p. 7.

¹⁵⁸ Fisher Fr. Op. cit., p. 105.

¹⁵⁹ Irwin A. and B. Wynne, Op. cit., p. 213.

социальных движений, защищающих себя и среду своего непосредственного обитания, затем возвращение «экологизированного» продукта потребителю и т.д. Этот конфликт между *лабораторно полученным знанием и публичной рефлексией* по поводу порожденных им средовых рисков, между интересами отрасли и территории, между потоком инноваций и устойчивостью «места», между унификацией и разнообразием, то есть между сциентистской и гуманистической ориентациями общества, суть важнейшие механизмы производства современного экосоциального знания.

В условиях перманентного ускорения производства инноваций позитивная социология критически не «успевает» отслеживать скрытые и долговременные последствия реализации своих новшеств. Вовлеченная в рынок, она и не стремится к развитию средового, «защитного» знания. Реальными производителями такого знания все чаще выступают институты, находящиеся за пределами этой науки, – государственные и гуманитарные организации по ликвидации аварий и катастроф, экологические движения и местные сообщества. Поэтому сегодня отношение общества к позитивной науке в целом по крайней мере двойственное. С одной стороны, она является причиной многих социальных и экологических бед. Наука, говорит Бек, участвуя в производстве рисков, тем самым создает многослойное кризисное сознание: во-первых, промышленное использование достижений науки порождает все новые и новые риски; во-вторых, она предлагает категории и другие познавательные средства для их обнаружения; наконец, в-третьих, наука создает инструменты для преодоления рисков, ею же созданных¹⁶⁰. Но, с другой, к этой науке постоянно апеллируют как к инструменту улучшения условий жизни, сохранения среды обитания.

Конечно, производство средового знания конфликтно, противоречиво. Прежде всего это оппозиция двух социальных парадигм: утилитаристской (потребительской) и охранительной (экологической). С нею непосредственно связан конфликт между позитивистской (универсалистской) и контекстуальной парадигмами данного производства и, соответственно, между инструментальной и культурной рациональностью. Далее, это противостояние класса экспертократии и критической «периферии» – специалистов-практиков и активистов, занятых охраной и воспроизводством среды обитания. Или, иначе, противостояние корпоративно интегрированной и общественно-ориентированной наук. Не менее острый конфликт разгорается между академическим сообществом, ориентированным на повышение стандартов научности (так называемое сертифицированное знание) и исследовательских сил, нацеленных на выявление контекстуальных механизмов его производства, включая вненаучные источники (верования, традиции, текущий социальный опыт). В совокупности все это порождает размежевание и конфликт между «научной элитой», часто сросшейся с корпоративно-бюрократической машиной эксплуатации ресурсов, и общественно-научными силами, стремящимися получить комплексное, объемное знание, способствующее развитию институциональной системы воспроизводства и защиты среды обитания. По данным панельного исследования в «менее развитых странах»

¹⁶⁰ Beck U. Risk Society. pp. 156, 163.

за 20 лет (1980–2000 гг.), чем выше активность в них международных *экологических НПО*, тем ниже загрязнение воды и ее источников¹⁶¹.

Теперь о некоторых проблемах, связанных с господством либеральной модели рыночного общества. Рыночная ориентация науки вызывает растущую обеспокоенность как в самом академическом сообществе, так и за его пределами. Беспокоит прежде всего «товарность» науки, ее растущее подчинение транснациональным экономическим силам, сокращение долгосрочных исследовательских программ, утеря научным сообществом функции генерирования нравственных стандартов. Либерализм как научная доктрина есть общество, управляемое экспертами. Публичная политика вытесняется политически ангажированной экспертизой, в результате гражданское общество отчуждается от процессов принятия социально значимых решений. Но и динамика самого рынка имеет существенное влияние. Его глобализация требует интернационализации социально-экологических исследований, их большей демократичности. Далее, стремясь к приватизации природы, этого всеобщего блага, крупнейшие агенты глобального рынка (ТНК, олигархические группы) подчиняют всю сложную многоуровневую систему производства данного знания своим интересам. Наконец, этот рынок, в том числе медийный, задает приоритеты социально-экологических исследований. Поэтому финансовая поддержка и публичный успех исследовательских проектов и целых научных направлений в социологии все чаще зависят не от их действительной общественной значимости, а от их медийной «раскрутки».

Рынок сделал техническую рациональность главной методологической предпосылкой организации общественного производства. В его основе лежит метод «риск–затраты», то есть сопоставление величины ожидаемой прибыли от некоторой научно-технической инновации с расходами на защиту от порождаемых ею негативных последствий (рисков), рассчитанных самими производителями. Соответственно, социально-экологическое знание сводится к знанию о «последствиях» этого производства.

Оптимизация массового производства через его стандартизацию есть фактически отрицание культурного разнообразия условий и ситуаций человеческой жизни. Этот процесс также угрожает сохранению социальной и культурной идентичности местного населения. К тому же в отличие от научно-технического локальное знание не может быть запатентовано и, следовательно, не является законным, хотя и повсеместно используется бизнесом, особенно в отраслях химической, фармацевтической и парфюмерной промышленности. Социальным агентом производства локального знания становится не сам его производитель, а посредник, дилер или эксперт. Максимальная рационализация промышленного производства ведет к уничтожению деятельного местного субъекта и, следовательно, к отрицанию низовой самоорганизации общества.

5. О значении культурного контекста

¹⁶¹ Jorgenson A.K. Political-economic Integration, Industrial Pollution and Human Health // *International Sociology*. January 2009, Vol. 24 (1). Pp.115—143.

Что такое «ненаучное» знание? Принято считать, что это религиозные верования, традиции, обычаи, обряды, содержащие установки по отношению к природе и обществу. Это также традиции и повседневный опыт нынешних местных сообществ, закрепленные в повседневных практиках. Существование такого опытного знания явилось предпосылкой возникновения народных промыслов и народной медицины, альтернативных форм питания, образа жизни и др. В таком его определении заложено противоречие – историческое и логическое. Получается, что до того момента, пока знание «в пробирке» – это научное знание. Как только оно кристаллизуется в виде опыта – будь то формы хозяйствования, стереотипы восприятия или технологии принятия решений, – оно перестает быть таковым. Если довести эту мысль до логического конца выходит, что «научным» является только «конструктивное» социальное знание. Как только оно перерабатывается, изменяется средой, оно теряет статус научности.

Мне возразят: есть же разные уровни знания – теоретическое, прикладное и т.д. Согласен, однако дело в другом. Сегодня глобальная экспансия потребительской культуры, перманентное конструирование все новых стилей жизни разрушают местные культуры, превращая их из регулятора повседневной жизни в «этнографический элемент» моды. Поэтому современный социальный конфликт является прямым результатом культурного конфликта, то есть столкновения двух культур – потребительской и сберегающей. Глобализация и культурная унификация противостоят идее и практике мультикультурализма. Но глобализация порождает и эффект культурного бумеранга. В нынешней ситуации неопределенности, анонимности, а также высокой скорости распространения рисков, вненаучные источники социально-экологического знания и, прежде всего социальный опыт конкретной группы или сообщества – местного или сетевого, обладают значительным преимуществом, поскольку дают быстрые и однозначные ответы на вызовы глобальных структур, к тому же – в доверительной личностной форме. Когда науке и институтам ее публичной политики нет доверия, система «восприятие–опыт–доверие» представляет собой «интерпретативный синопсис», позволяющий людям ориентироваться в ситуациях неопределенности и ограниченности времени.

И это не случайно. Эксперты, будучи аутсайдерами по отношению ко всякому местному сообществу, всегда стремятся абстрагироваться от конкретной ситуации или местных особенностей. Носители экспертного знания мало чувствительны к локальному контексту, редко прислушиваются к голосам с мест, вникают в их ситуацию и ресурсные возможности. В свою очередь, местные группы часто игнорируют экспертное знание, так как оно не приспособлено к их потребностям, ограничениям и структуре возможностей. Освоение людьми «места» средового знания всегда опосредуется культурой – профессиональной, локальной, бытовой или «активистской». Например, местные активисты, будучи непосредственно вовлечены в разрешение глокальных конфликтов, вынуждены осваивать научное знание. Другие осваивают экологический язык при помощи СМИ, третьи – в процессах переобучения, четвертые, как, например, медики, – для решения своих профессиональных проблем, пятые, как политики, – чтобы быть более убедительными в своей публичной деятельности. Наконец, лидеры экологических движений опираются на интерпретацию рисков, даваемую местным обеспокоенным населением.

Таким образом не существует какого-то одного способа освоения научного знания различными социальными стратами и сообществами. Теперь – о собственно культурной рациональности. В отличие от научной *культурная рациональность* придает равное с научной значение личностному и групповому опыту. Концентрируя внимание на восприятии и оценках местных (что не равнозначно понятию «традиционных») групп, адепты культурной рациональности рассматривает «неожиданные» для властей или академических экспертов последствия научно-обоснованных решений как релевантные для социологического анализа. Соответственно, трактовка адептами культурной рациональности «общественного восприятия риска» иная. Она, находясь за пределами выявленных статистических вероятностей и калькуляций типа риск–выгода, интерпретирует это восприятие как «иную форму рациональности, которая определяется обстоятельствами, в которых риск выявляется и становится публичным, будь то положение индивида в его/ее местном сообществе или общие ценности последнего. В этом отношении культурная рациональность может быть понята как рациональность социального мира жизни»¹⁶².

Для моего видения задач социологии принципиально важно, что культурная рациональность обуславливает *иную логику принятия решений*. Эта логика проявляется особенно тогда, когда население подозревает, что его обманывают или манипулируют его мнением. В подобных случаях население оценивает решения, предлагаемые ему экспертами, опираясь на собственный социальный опыт. Очевидно, что вопрос о *доверии* снова является ключевым. Как показывает российский опыт развития социально-экологических конфликтов, чем выше для населения неопределенность ситуации, возможного риска, опыт уже понесенных потерь, тем вероятнее, что его поведение и социальные требования будет строиться именно в соответствии с моделью культурной рациональности. Вот пример из моего интервью с жительницей Перми о судьбе городка Огор, где она родилась и где живет ее мать (2007 г.):

Вопрос: «Вот если бы сейчас в такой городок, как Огор, пришли деньги, Интернет и другие ресурсы, город смог бы он подняться?» **Ответ:** «Думаю, что нет. Слишком мало там осталось людей молодых и инициативных, а главное – верящих, что их собственную жизнь можно круто переменить к лучшему. Они пассивны и боятся перемен, потому что за 20 лет все перемены шли к худшему. Нет в этих малых городах и поселках «критической массы» людей для перемен к лучшему. Они ведь каждый день видят развал, растащиловку и сами в этом участвуют. Так что, скорее всего если и произойдут какие-то перемены к лучшему, это произойдет на новом месте и осуществляться они будут пришлыми людьми – из Перми или из Москвы – не знаю, потому что пока и многое пермяки целятся на Москву».

Эта означает, что в условиях социально-экологического риска местное население скорее всего будет озабочено проблемой собственной безопасности, нежели абстрактными калькуляциями возможной выгоды от научно-технической инновации. Например, если речь идет о строительстве нового блока атомной станции, то население будет более озабочено средствами защиты от радиации,

¹⁶² Fisher Fr. Op. cit., p.132–133.

нежели предполагаемыми выгодами от (возможного) получения более дешевой электроэнергии в будущем или повышения зарплаты и пенсий. Можно сказать, что экологическая культура местного сообщества представляет собой принятый в нем способ интерпретации смыслов и значений материальных и информационных воздействий, поступающих извне. Соответственно, локальное знание как часть этой культуры есть знание о местном контексте, его специфических характеристиках, а также о формах их нормативной (смысловой) интерпретации. Как таковое, локальное знание основано на личном опыте, коллективной рефлексии и здравом смысле граждан. Возможно, что нам еще далеко до США и стран Западной Европы, где разворачивается *движение за экологическую справедливость*, то есть за более равномерное распределение экологических рисков во всех слоях общества, но оно уже существует в тысячах протестных акций, перманентно возникающих на всем пространстве нашей страны.

6. Адвокаты и защитники

В заключение – социальные факты, подтверждающие справедливость моей методологии. Основываясь на архивных документах и многолетней эмпирике, я ввел в научный оборот понятие *ученого-адвоката*, который не только трудится на благо общества, но и *непосредственно* участвует в защите среды обитания. Это – глубоко русская традиция, уходящая корнями в этику и культуру русских естествоиспытателей конца XIX – начала XX вв. Подобная форма общественной активности ученых имеет корни также в этике русского демократического движения XIX века. По моим данным, есть пять типов ученых-адвокатов, разнящихся по критерию их вовлечения в местную «средовую» активность. Первый тип, *нейтральный* или *отстраненный*, – это ученый, которого время от времени различные НПО приглашают выступить в качестве эксперта (консультанта). «Нейтральные» работают в соответствии с наличными научными стандартами и дают оценки на своем профессиональном языке, принятом в данной отрасли знания. Вместе с тем, он стремится, чтобы активисты его поняли.

Второй тип, *понимающий*, – это ученый, который, периодически работая с НПО, начинает вникать и, следовательно, больше понимать проблемы, которые те пытаются решить. Между ученым и НПО возникает контакт, выходящий за пределы конкретной задачи экспертной оценки, налаживается взаимопонимание, вырабатывается общий язык и, в конечном счете, ученый (до известной степени) проникается заботами активистов. Тем не менее «*понимающий*» не принимает участия во внутренней жизни и действиях данной организации.

Третий тип, «*вовлеченный*», – это ученый, который, разделяет ценности НПО и систематически с ними сотрудничает, но продолжает оставаться в среде науки как социального института. Отличительной чертой «*вовлеченного*» является не только выполнение им некоторой профессиональной функции (оценка проекта, экспертное заключение), но и заинтересованность в успехе социального действия некоторой конкретной организации.

Четвертый тип, *партнерский*, представляет собой тех ученых, которые, оставаясь формально в научном и/или учебном учреждении, фактически являются уже активистами НПО и экологических движений. Тем самым «*партнер*» удваивает свою институциональную принадлежность. Формально это выглядит как совмещение научным работником двух и более мест работы или же его периодическое колебание между институтом науки и институтом (ячейкой)

гражданского общества. Данный тип можно также назвать межсекторальным, поскольку он попеременно решает научные, социальные и организационные задачи и ориентирован не только на защиту данной гражданской инициативы, но и на пропаганду их целей и ценностей вовне, то есть в обществе.

Наконец, пятый тип, *полностью интегрированный*, представлен научными работниками, которые, оставив совсем свое место в НИИ или вузе, стали членами (и даже лидерами) гражданских общественных организаций. Такой тип ученого не только владеет необходимыми профессиональными знаниями, но начинает сам вырабатывать их, исходя из стратегических целей гражданских инициатив или социальных движений. Это – уже *другие знания* (или ноу-хау), которые вырабатываются именно в ключе культурной рациональности. «Предельным» подтипом *«полностью интегрированного»* является случай, когда ученый публично отказывается от своей научной карьеры и становится инициатором и/или организатором социального движения, что является формой наиболее сильной адвокативной мотивации. В этом случае ситуация «переворачивается»: ученый, ставший активистом гражданской организации, начинает формулировать новые требования к «большой науке»¹⁶³.

Замечу, что глобальный контекст может вовлечь ученого-аналитика в глокальный конфликт. Так коллектив проекта «Северный вектор», изучавший процессы глокализации в Костромской области, был неожиданно втянут в конфликт между местным населением и корпорацией, захотевшей построить на этих землях целлюлозно-бумажный комбинат. К чести ученых, они выступили в защиту местного населения, став тем самым его адвокатами¹⁶⁴.

Так или иначе, в такой ситуации ученый, гуманитарий или естествовед, не может быть только дистанцированным наблюдателем и отстраненным аналитиком. Понимание того, что социальное знание вырабатывается в ходе диалога, стремление вникнуть в механизмы восприятия и логику действий другой стороны, эмпатия по отношению к местному населению, организация соучаствующего исследования – такова общая последовательность шагов ученого, опирающегося на модель культурной рациональности. Соответственно, изменяются смысл и структура исследовательского процесса. Во-первых, ученый должен оценить тип социального конфликта, так как участие рядовых граждан и граждан-экспертов может быть полезно в одних случаях и не дать никакого эффекта в других. Далее, этот конфликт надо проблематизировать, то есть выявить позиции транслокальных и местных сил и их соотношение. Поэтому задача ученого-адвоката здесь тройная: выявить по возможности истинный масштаб риска, определить, какой помощи можно реально ожидать со стороны и какие местные силы и ресурсы можно мобилизовать самостоятельно. Нужно также эксплицировать диспозицию интеллектуальных и других сил, вовлеченных в конфликт, то есть выявить его познавательную и культурную конфигурацию.

¹⁶³ Яницкий О.Н. Диалог науки и общества // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 86–96.

¹⁶⁴ Перспективы Российского Севера: «очаговая» экономика и социальная структура / под. ред. Н.Е. Покровского. М.: СоПСО. 2007. Замечу, что этот проект придает большое значение изучению истории и специфике местного ландшафта. См.: Козлова Н. Последняя осень патриарха. Строительство в Костромской области ЦБК может погубить целый район // Российская газета. 13.08.2008.

Самый сложный момент – это перемещение исследователя в центр конфликта. Фактически социолог становится не только посредником между конкурирующими социальными силами, переводящим требования одной стороны на язык другой, но *«соучаствующим экспертом»*, разделяющим позиции местного сообщества и помогающим ему сформулировать его проблемы на его собственном языке. Но ключевым моментом здесь является *обучение местных лидеров в процессе общественной активности*: как общаться с экспертами, как интерпретировать выводы их научных изысканий и как в некоторых случаях делать элементарные вычисления риска самим. И что не менее важно – уметь подсчитать и мобилизовать свои собственные ресурсы. Для чего используется метод соучаствующего картирования ресурсов, находящихся в ареале доступности местного сообщества. Такая мобилизация человеческих ресурсов имеет несколько целей: расширить доступ местного населения к информации, продуцируемой учеными, систематизировать и артикулировать опыт и знание местного населения, выработать инструментарий для диалога между властью, бизнесом, профессионалами и местным населением. Общественные слушания являются первой ступенью публичной презентации локального знания, сформулированного самими жителями и в *их собственных терминах*, затем следует их участие в общественной экспертизе, судебных тяжбах, группах по выработке альтернативных решений и т.д. Так шаг за шагом, преодолевается неравенство Большой науки и локального знания, и «люди улицы» могут ощутить себя не только анонимными «жителями», но самостоятельными субъектами, носителями интеллектуальной собственности. Нет нужды говорить, сколь важны ступени этого процесса для выработки *идентичности* как местного населения, так и самих ученых.

Мои многолетние наблюдения показали, что параллельно идет другой, не менее важный процесс: ученый-адвокат проникается местной культурой, становится все более квалифицированным переводчиком с местного языка на научный, с языка культуры на язык публичной политики. В идеальном случае ситуация «учителя» и «ученика» замещается *диалогом со-производителей эконосоциального знания*, в результате чего рождается знание, за которое они оба несут ответственность¹⁶⁵. Поэтому соучаствующее исследование – не только академическая проблема, это указание на то, что отношения между жителями, научными экспертами и представителями власти должны быть пересмотрены в сторону более эффективного взаимодействия между организаторами эмпирических исследований и носителями локального знания. Итак, *соучаствующее исследование* (participation research) есть демократическое и морально мотивированное социальное действие, существенно отличающееся как от сциентистской, так и от «рыночной» форм научного производства. Для него методы изучения случая, построение хроник развития социальных конфликтов, различные формы «картирования» (событий, ресурсов), изучение человеческих документов, включенное наблюдение и глубинные интервью являются наиболее адекватными инструментами социологического анализа.

7. Моя надежда

¹⁶⁵ См. подробнее: *Иллич И.* Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: МВШСЭН. 2006.

В последние годы я пытаюсь выступить в роли адвоката сам, но по отношению к студентам-социологам. Не нарушая стереотипного процесса обучения, я стремлюсь сблизить его с исследованием, дать студенту максимум знаний и умений, которыегодились бы ему практически в жизни. Кратко говоря, у каждого студента, оканчивающего вуз, должна быть биография исследователя.

Меня уже давно интересовал опыт тьюторства (tutorship), то есть индивидуализированных занятий со студентами, практикуемый в ведущих университетах Европы и США, которые я наблюдал во время своих зарубежных командировок. Возможно опять как-то сказалась история семьи: моя тетя Вера Федоровна, когда ей был всего 21 год, создала кружок для студентов и друзей, целью которого было «высшее интеллектуальное наслаждение», где обсуждались самые резные темы: от принципов дошкольного воспитания до геополитических проблем¹⁶⁶. Отец также «вышел» из стен историко-этнографического кружка. Мой брат, С.О. Шмидт, более полувека вел студенческий кружок.

Так или иначе, осенью 2007 г. по решению Ректората социологического факультета ГУГНа на добровольной основе была создана группа студентов 3-го курса социологического факультета из 5 человек. С нею я начал факультативные занятия (семинар), объемом 8 часов в неделю, но реально оказалось значительно больше, по достаточно широкой проблематике, именуемой «Развитие гражданского общества в России и на Западе». В отличие от некоторых публикаций и курсов, где гражданское общество изучается изолированно от других институтов общества, я видел свою задачу в комплексном анализе, например взаимодействий в треугольнике «Власть–бизнес–НКО» или «Транснациональная корпорация–НКО–образование–население».

Теоретически, это был некоторый парадигмальный сдвиг: переход от предметного к проблемно-ориентированному учебному процессу, в идеале – полному соединению обучения и исследования. Коридор моих возможностей как тьютора был узок: я не мог ни нарушать основной учебный процесс, ни навязывать учащимся роль реального исследователя. Сначала я пошел по пути углубления и тематизации семинаров, но вскоре понял, что знание, полученное в ходе основного учебного процесса (в школе и вузе), воспринято студентом и упаковано в его сознании *иначе*, нежели это необходимо для исследования. Студенты знали многие понятия, необходимые для анализа, скажем, общественных инициатив (ресурсы, мобилизация, рекрутирование), но не умели ими пользоваться для исследований, в которые я предполагал их вовлечь. Пришлось перейти к изложению основ структуры и программы научного исследования (проекта), начиная от написания заявки на проект и до способов презентации его результатов. Причем я старался давать ключевые понятия одновременно на русском и английском языках, что служило импульсом к поиску англоязычной литературы по теме. Студентам такой поворот давался нелегко, потому что требовало реорганизации имеющегося у них багажа знаний «концентрическими кругами» вокруг изучаемой проблемы.

Это проблемно-ориентированное научное и прикладное знание постепенно закреплялось ими в процессе написания заявок на исследовательские гранты, летние школы за рубежом, в работе на курсовыми и рефератами и т.п. материалами. Однако наибольший эффект был достигнут, когда студенты

¹⁶⁶ См. подробнее: Яницкий О.Н. Семейная хроника. С. 96–98.

встретились, а потом начали сотрудничать с молодыми исследователями, российскими и зарубежными. Именно после такого общения они начали понимать, что карьера этих людей во многом зависела от структуры их знаний и проектных ноу-хау. В этом смысле было удачей, что в группе была аспирантка из провинции, человек взрослый, семейный, прошедший суровую школу местного журналиста и лидера благотворительной организации. Студенты увидели, как практически осуществляется соединение знания и гражданского активизма.

Личностное взаимодействие и закон социального сравнения. Во-первых, студенты постепенно втягивались в работу малого исследовательского коллектива. Когда была возможность, их работа оплачивалась по гранту или за счет части ставки временно отсутствующего сотрудника. Во-вторых, этот коллектив имел постоянную прописку (комнату), куда студентам всегда бы открыт доступ, включая библиотеку и архив сектора, пользование оргтехником и компьютером. Более того, обучение пользованию архивом сектора было одновременно способом их знакомства с биографиями экоактивистов. В-третьих, я специально не устанавливал формальных рамок общения со студентами за исключением фиксированного времени занятий и зачетов. В-четвертых, и студенты, и мы экономили время благодаря тому, что Институт и факультет размещались в одном здании. Все возникающие вопросы быстро решались с деканом или его заместителем, сотрудники деканата всегда помогали мне, практически не знакомо со сложной логистикой учебного процесса.

В совокупности это создавало благожелательный социальный климат, среду, вне которой данный проект был бы немыслим. Но не менее важной была другая сторона: подготовка ко включению студентов в реальную жизнь. Потому что все формы коммуникации, в которые я их включал (написание их собственных CV, заявок на проекты, на участие в конференциях и летних школах, общение с разными подразделениями института и внешними организациями и т.п.) были не чем иным, как необходимыми инструментами для формирования их будущих индивидуальных жизненных планов и проектов.

Это четко проявилось на встрече моих студентов с молодым профессором из престижного американского колледжа, которая 10 лет назад «стартовала» с той же скамьи российского вуза, в котором они находились сейчас. Здесь закон социального сравнения сработал на 100%, потому что такая «примерка на себя» успешной реальной биографии дала студентам некую «референтную точку», с которой они могли теперь соотносить свою собственную карьеру. По итогам этой встречи студенты написали «рефлексию», оценив все: уровень знаний и материальных возможностей, культуру и манеру общения, специфику обучения в Европе и США и ее отличия от российского, как там сочетается обязанности преподавателя и интересы исследователя и многое другое. В частности, обсуждались вопросы влияния культурной среды, условий формирования индивидуального жизненного плана, способы увеличения (мобилизации) наличного социального капитала студентов и др. Закон социального сравнения работал и тогда, когда студенты совместно с аспиранткой готовили совместную публикацию или презентацию.

Общий вывод заключается в том, что у студентов явный дефицит общения со старшими и обязательно практикующими коллегами. Вот как они видят это сами: «Нам необходимо знакомство с наукой-в-действии, а не только с книгами и билетами к экзамену. По опыту сокурсников, именно из-за этого <формата

обучения» столь малый их процент становятся научными работниками: к 3–4-му годам обучения они уже разочаровываются в профессии, не видя результатов, не видя (а чаще просто не понимая) работы старших коллег и ее ценности». Студентам нужно не только читать лекции и принимать зачеты, но общаться с ними, рассказывать что-то о собственном личном опыте, об истории России, обсуждать злободневные проблемы. Этот «публичный фон» (я приносил студентам вырезки из газет, обращал их внимание на отдельные радиопередачи, на высказывания ведущих социологов и других публичных фигур) был чрезвычайно важен для взаимопонимания на наших занятиях.

Первоначально в план занятий семинара входили: (1) лекции по основам теории гражданского общества (неправительственные организации, гражданские инициативы и общественные движения); (2) реферирование студентами литературы по данной проблематике с обязательным обсуждением; (3) лекции, освещающие принципы работы с архивом интервью и человеческих документов, накопленным в секторе; (3) обучение составлению заявок на гранты и отчетов по ним; (4) обучение методам работы с научной литературой; (5) написанию научных статей по международным стандартам – я считаю это наиболее важным и, как оказалось, наиболее трудным для студентов и аспирантов, делом; (6) репетиции их самостоятельных выступлений на наших и «внешних» семинарах и конференциях, включая международные, с применением современной техники; (7) встречи с молодыми российскими и западными социологами, уже сделавшими успешную карьеру, а также с активистами российских благотворительных, экологических и других организаций; (8) написание собственных кратких биографий. Естественно, что в ходе работы семинара студенты и аспиранты выбирали темы курсовых работ и статей, с последующими индивидуальными консультациями и зачетами.

В целом в работе со студентами я пытался сочетать преподавание, обучение навыкам исследовательской работы и инструментам их презентации, включая презентацию себя как исследователя, а также рутинную, но необходимую работу по текущим планам сектора, которым я руковожу. Для меня казалось одинаково важным давать студентам и аспирантам новый, не совпадающий со стандартными лекционными курсами материал, снабжать их одновременно русской и английской терминологией, принятой в данной дисциплине, и максимально использовать методы графической презентации материала (в этом смысле было даже хорошо, что я не располагал сенсорной доской, потому что рисунки и схемы, которые я чертил студентам, оставались на листах ватмана, и на них всегда можно было взглянуть). Визуальный материал – отдельная тема, потому что мои зарубежные коллеги не раз отмечали, что российские ученые в своих статьях и устных презентациях его используют недостаточно, что подтвердила одна из моих аспиранток, которую я попросил поучаствовать в работе американских социологов, которые при взятии интервью всегда пишут его на видео.

В отличие от моих зарубежных коллег, которые ведут такие тьюторские занятия строго по предварительной записи, заставляя студентов работать максимально самостоятельно, то есть фактически только наблюдая за ними и ставя потом оценки, я предпочел менее формализованное общение, не исключающее однако критики и замечаний в их адрес с моей стороны. Вот как они оценили это сами: «Мне кажется, было бы немаловажным отметить, что практиковался индивидуальный и неформальный подход во взаимоотношениях со студентами, который привел к очевидным результатам – лучшему усвоению информации

студентами и возможности ее использовать (например, в написании курсовых). Каждый мог задать вопросы, высказаться по обсуждаемой на семинаре теме и получить комментарий в ответ. Конкретно для меня психологическая обстановка была важна, ведь в маленькой группе снимаются коммуникативные барьеры и становится легче участвовать в дискуссии».

Система оценок была для меня как тьютора самой большой проблемой, потому что помимо многолетнего опыта работы в разных исследовательских коллективах, на который я естественно опирался, требовалась некая формализованная система оценок их работы. В конечном счете я пришел к ранжиру из 10-ти позиций (каждая оценивалась по пятибалльной системе). Вот эти позиции: (1) подготовка индивидуальных статей для публикации; (2) участие в конференциях, в том числе международных, что требовало знания английского языка и навыков написания такого рода текстов; (3) доклады на семинаре; (4) реферирование научной литературы; (5) культура составления научного аппарата (цитирование, описание источников, ссылки, сноски и т.п.); (6) составление заявок на гранты, на зарубежные поездки и т.п., (7) подготовка курсовых работ; (8) научно-техническая работа в секторе; (9) ответы на зачете; (10) посещаемость семинара. Главными для меня были первые 3–4 из них. Если они получали наивысшие оценки, то об остальном (на данном этапе) можно было уже не беспокоиться.

О трудностях перехода от обучения к исследованию я уже говорил. Но есть и более серьезные вещи. Это прежде всего разрыв между школьным и вузовским знанием – он огромен и никакой отдельный семинар не способен его перекрыть. Далее, это принесенная студентами из школы система «выучил–сдал–забыл». Такая система «одноразового набирания баллов» губительна для взращивания научного работника. Не только в науке, но практически повсеместно принята другая система: постепенное набирание очков (различные дополнительные курсы, знание языков, владение компьютером, организационные ноу-хау и т.д.) в совокупности отражающих степень готовности студента к реалиям жизни и, следовательно, его востребованность на рынке труда. Что и фиксируется в стандартных резюме. Поэтому я учил своих студентов писать такие резюме.

Студенты сверх меры перегружены учебным планом. Они мало участвуют в научных молодежных конкурсах, жалуясь, что времени не хватает. Что приводит к парадоксальной ситуации: наиболее успевающие студенты, которые действительно хотят усвоить максимум, не имеют возможности отдать исследованию необходимое время и силы. Еще один важный момент: я практически не вижу своих студентов на институтских семинарах и конференциях, не говоря уже о «внешних». И тут виноваты не они. Ну какой у них может быть интерес к теме одного из наших семинаров: «Почему первые исследования общественного мнения в США были проведены в 1932 г.»? В моем представлении семинары должны быть связаны с тематикой, проектом сектора, как это блестяще осуществил Б.А. Грушин в своих знаменитых «47-ми пятницах», когда он готовился к своему первому большому исследованию общественного мнения в СССР.

Наконец, еще одно принципиальное обстоятельство, заслуживающее как минимум обсуждения. В ходе работы семинара выяснялось, сколь различны и общая культура, и уровень подготовки отдельных студентов. Одни едва успевали минимум, другим было интересно двигаться быстрее и дальше. Отсеивались случайные и слабые, оставались самые сильные. Значит, в дальнейшем необходима

большая индивидуализация занятий с последними, если мы хотим вырастить себе достойную смену. Но такая индивидуализация потребует внесения изменений в учебную нагрузку и сетку занятий факультета. На старших курсах нужны гораздо более индивидуализированные планы подготовки студентов. Думаю, что переход на Болонскую систему так или иначе подтолкнет нас к этому, включая потребность в ресурсах на зарубежные командировки (стажировку), как это принято в ведущих университетах Европы и мира. Но чтобы совершенствоваться «там», надо сначала накопить интеллектуальный капитал здесь.

Postscriptum

Наверное, читатель уже заметил, что проблемы, которые я изучал, и сюжеты моей личной биографии временами очень сближались. Вообще-то было бы странным, если бы исследователь ненавидел предмет своего интереса. Погружаясь в изучение жизненного пути лидеров и участников экологического движения или инициатив российских горожан, вольно или невольно начинаешь соизмерять его со своим собственным досье, что я и пытался сделать на страницах этой книги.

Возможно, причина такого сближения кроется в детстве. Да, меня сформировала семья и ее ближайшее окружение. В ближнем ко мне кругу были люди выдающиеся и обыкновенные, но добрые, отзывчивые, с чрезвычайно высоким культурным потенциалом. Эта среда «держала» и направляла меня, поэтому мне не нужны были кумиры. Помимо семьи, меня сформировала моя 59-я школа им Н.В. Гоголя, одна из лучших в Москве, особенно, если говорить о дисциплине мышления и развитии интереса к разным наукам, истории и русской художественной литературе. К тому же школа находилась в сердце старого Арбата (видимо именно тогда я начал осознавать значение среды непосредственного обитания как среды социализации). Помимо дома, школы, района старого Арбата, была еще одна важная среда моей жизни – Николина Гора. Архитектурный институт, где я учился в 1951–57 гг., не сделал меня архитектором, но там также было чему и у кого поучиться. Позже моими «учителями» в равной мере были отцы-основатели Чикагской школы, семинары Ю.А. Левады, Т.И. Заславской и В.Н. Шубкина в Академгородке под Новосибирском – всех перечислить просто невозможно. А вообще я учился постоянно, это неотъемлемая составляющая моего жизненного процесса и «проекта».

Когда я окунулся в советскую повседневность, стал ездить по стране, наблюдать и разговаривать с самыми разными людьми, а потом и участвовать в каких-то общественно значимых событиях советского и перестроечного времени, мне все больше нравилась позиция инсайдера, советчика или наблюдателя изнутри. Одни коллеги говорили, что мой эмпирический материал слишком узок и что я слишком «закопался» в него, другие, что это не социология, а социальная философия, третьи, что это – за гранью социологии и т.п.

Диалог для меня не классическое «рассуждаю» (dialego), а способ познания социальной действительности и одновременно образ мышления. Меня всегда поражала «безлюдность» массовых опросов, тогда как везде – в кругу

близких, на службе, в профессиональном сообществе, наконец, в глобальной политике, действовали прежде всего личности, сильные характеры. Не раз и не два, плохое настроение мелкого начальника или вскользь брошенное замечание директора резервного банка США тут же вызвали «землетрясения» местного или вселенского масштаба.

Сейчас мир болен глобализмом, массовыми процессами и катастрофами. Одна говорящая голова на телеэкране сменяет другую, тысячами тысяч бормочет интернет... Но не есть ли такая обезличенность попытка сгладить, скрыть пустоту и никчемность существования одних и отчаянное положение других? Самоубийства, наркомания, дауншифтинг – не проявления ли это массового заболевания, именуемого утерей себя? Растворение в массе «коллективной безответственности» тоже ведь индивидуальный жизненный проект. Повторю словами А. Гуревича: «если ты стал гуманистом и уже сотворил нечто, нашедшее резонанс..., ты уже не только частное лицо и у тебя есть некоторая миссия»¹⁶⁷.

И все же главная причина, почему я стараюсь сблизить свою биографию с биографиями других людей моего и старшего поколения, в том, что мне (не без потерь) удавалось оставаться самим собой. Не завидовать и не просить. Скорее, наоборот, я старался по мере сил кому-то помочь, пристроить, поддержать. На это я потратил не менее трети своей взрослой жизни, но ни о чем не жалею. Могу сказать, что я почти 20 лет делал все возможное, чтобы А.С. Ахиезер мог спокойно писать свой философский труд по критике исторического опыта России. Насколько мне это удалось – судить другим. Два раза я подходил к рубежу «невозврата» – с какого-то момента моя общественная работа требовала от меня «клятвы верности» режиму. Я тогда, как и многие активисты сегодня, полагал, что вношу вклад в общее дело и никогда не думал о благах лично для себя. Когда я понял, что эти блага могут мне быть дарованы в обмен на службу режиму, я свернул с этого пути раз и навсегда. По той же причине я отказывался от выдвижения в члены-корреспонденты РАН. Я был научным работником, это был мой главный социальный капитал и с меня «было достаточно сего сознания».

Убежден, что социология должна быть как минимум второй профессией. Здесь – прямая параллель с трудом писателя или газетного репортера. В самом деле, А.П. Чехов, В.В. Вересаев, М.А. Булгаков были врачами, Л.Н. Толстой артиллерийским офицером, М.Е. Салтыков-Щедрин – вице-губернатором, Грэм Грин – контрразведчиком. Как для писателя и репортера, чтобы стать социологом, молодому специалисту необходимо «включенное наблюдение». Кстати, многие теоретики Чикагской школы начинали именно как газетные репортеры, (дословно, как разгребатели грязи). Пример моего одноклассника В.П. Волкова, в прошлом известного геохимика, а ныне российского историка, издателя и комментатора дневников В.И. Вернадского, также подтверждает мою мысль о «второй профессии».

В интервью меня часто спрашивают: является ли для меня социология только «работой», или же это призвание? Призвание – слишком громкое слово. Могу только сказать, что мой личный исследовательский (и мыслительный, естественно) процесс идет постоянно, и я получаю от этого удовлетворение большее, чем от чего-либо другого. Более тридцати лет я веду записные книжки, веду постоянно, где бы я ни находился – дома, в транспорте, на заседаниях, в

¹⁶⁷ Гуревич А.Я. Цит. ист., 2004: 244.

ожидании приема врача. С удивлением смотрю на иных аспирантов, которые, посетив очередной научный семинар, не записали ни строчки.

Принцип моей работы всегда был один – «дойти до самой сути», если хватит сил. Методически это означает что я был и остаюсь убежденным приверженцем качественных методов. Сегодня нет недостатка в батальных социологических полотнах. Но вот увидеть ситуацию изнутри, понять механизм ее развития, соотнести динамику контекста с социальными изменениями (индивида, группы, организации) можно только при долгом и кропотливом знакомстве с объектом. И наблюдении его со стороны. Затем включении в его собственную деятельность. А также при помощи глубинных интервью и т.д. Я давно использую метод построения хроник, потому что он дает динамику изучаемого явления, вскрывает его сетевую структуру, расстановку сил в конфликтах и многое другое.

При нехватке у меня общей философской культуры, которая, как я убежден сегодня, необходима любому социологу не менее, чем владение прикладной математикой, я, занимаясь своим профессиональным делом, чувствовал себя в общем-то неплохо. Периодические нападки то леворадикальных фигур, то редакторов, кромсавших коллективные монографии, которые я собирал и редактировал, то раздражение верхнего начальства моей излишней независимостью, только мобилизовали мою волю. А иногда, как это произошло с моей «ссылкой» в Научный Совет АН СССР по проблемам биосферы, дало мне мощный импульс к освоению целого пласта новых знаний и пересмотру методологии.

И так продолжалось до середины 1980-х гг., когда моя научная работа приобрела совершенно иное качество: *гражданский активизм*. В один узел связалось все: мой профессиональный интерес к проблеме общественного участия (public participation), реальное участие в делах гражданских групп, хотевших изменить свою жизнь к лучшему самостоятельно, без подсказки сверху. То, чем я занимался как исследователь, стало общественно значимым. И не вообще – конкретные люди ждали от меня конкретной помощи, они хотели быть услышанными, и я оказался одним из первых и, как выяснилось сегодня, немногих таких слушателей. Иногда они хотели просто выговориться, и им нужен был собеседник, психотерапевт.

Многие мои коллеги ринулись в большую политику – в политические партии, парламент. Меня это не привлекало. Я хотел другого, и тогда в конце 1980-х гг. такая возможность открылась: быть среди людей, но не в толпе, а на собраниях жителей, которые пытались разработать планы демократического устройства власти. Среди тех, кто хотел обустроить свою жизнь снизу: работать с детьми и подростками, охранял природу и памятники культуры. Могут сказать: «мелко плаваешь!» – А я, напротив, убежден: глубоко, потому что был на самом низу, «в гуще жизни», как говорил Вернадский, в гуще напряженной интеллектуальной жизни, какой она была реально, за пределами партийных собраний и парламентских дебатов.

Двадцать лет прошло, эта гражданская активность то затухала, то вспыхивала с новой силой, подтверждая мою мысль: никакая «вертикаль», никакая реорганизация административного аппарата не дадут стране импульса модернизации, если в этот процесс не будет вовлечен потенциал низовой гражданской активности. А он год от году уменьшается как шагреновая кожа.

Людскую массу, как и «железо», можно регулировать сверху. Но импульсы новизны, необычности, развития могут идти *только* от малых человеческих сообществ, в центре которых личность. Как эту простую мысль донести до поколения 20-летних? Как их убедить, что есть иной, нежели бесконечное и безразмерное потребление, мир? Не «креатив» иной поп-звезды или гламурного ди-джея, в очередной раз выворачивающего Чехова или Достоевского наизнанку, а творчество, захватывающее ум и душу, движение против течения, «борение с самим собой» (Л. Пастернак).

Или же надо признаться себе и молодым, что наступила новая цивилизация, у входа в которую мы, старшие, остановились, а они 20-летние, ничего не заметив, переступили невидимый барьер и уже живут в ней, эти «кнопочные дети». И что мы с космической скоростью отдаляемся друг от друга: наша вселенная Толстого и Достоевского и их, «кнопочных детей», Вселенная. Что наше поколение зиждилось на невероятных усилиях малых коллективов «личностей вопреки», а им достаточно усилий трех пальцев, чтобы заявить о себе в виртуальной вселенной, войти в любую виртуальную социальную общность и также легко из нее выйти, если не понравится. Думаю все же, что эта легкость виртуального бытия обманчива. Вы входите в него, но и оно входит в вас, ваше «Я» нивелируется, растворяется в этом общем и безразмерном потоке. Такая коллективная «проницаемость» (она же безответственность) разрушительна для социального порядка. Или это и есть новый социальный порядок?

Все чаще вспоминаю отца. Как советская власть, оставив его в живых, сломала блестяще начинавшуюся карьеру историка Руси XVI века, человека тихого, «архивного червя». Или – не очень? Станным образом, через 60 лет, до меня доходят свидетельства того, что он не боялся в годы Большого Террора помогать семье репрессированных. И снова вспоминаю деда, Федора Феодосьевича Яницкого, врача-хирург царской армии в больших чинах, монархиста, но считавшего своим христианским долгом помогать материально своему племяннику – революционеру, осужденному на пожизненную каторгу. Дед был и остается для меня образцом гражданского самостояния, всем сердцем болевшего за Россию. В самых страшных ситуациях трех войн, включая гражданскую, он оставался самим собой – русским земским врачом образца 1880-х гг. Не значит ли все это, что эпохи меняются, а тип гражданского самостояния и активной личности остается востребованным? Если дед, через поколение, завещал мне стараться быть похожим на него, то почему я должен отказываться от подобной же миссии по отношению к моим студентам и внукам? Не в этом ли суть задачи связи поколений: знания и технологии постоянно обновляются, но гражданская миссия – борьба за судьбы людей, за общее благо – остается неизменной? В этом смысле я старался держаться линии русской интеллигенции конца XIX – начала XX веков: естествоиспытателей, земских врачей, учителей, статистиков, публицистов.

Что я искал всю жизнь? Наверное, свою идентичность, одновременно профессиональную и человеческую. Чем более я отдалялся от детства, тем больше усилий приходилось прикладывать к ее восстановлению и «строительству», для сопротивления обстоятельствам. В этом бесконечном процессе мне помогало накапливаемое знание, которое становилось частью моего «Я». Всю жизнь я обустроивал свою первичную экологическую нишу, экоструктуру, как я ее назвал. И хотя «сети», расширяясь, ее все время тянули то в одну, то в другую сторону, я

не свалился в национальную или религиозную идентичность. «Кровь – это главное», заключил на старости лет эмигрировавший в США мой одноклассник. Для меня это было невозможно. Вслед за М. Кастельсом, могу сказать, что верю в освобождающую силу идентичности, но без крайностей индивидуализма или фундаментализма. Да, за это надо платить, но, отдавая, я получал гораздо больше.

Остается самый трудный вопрос: все ли я сделал для утверждения и развития экосоциологии в современной России? Увы, ответ скорее будет отрицательным, чем утвердительным. Кратко говоря, моя борьба шла на два фронта: нужно было развивать ее здесь, в кардинально меняющихся социально-исторических условиях, и продвигать ее концепции и выводы на Запад, где экосоциология уже теоретически и институционально устоялась как самостоятельная научная дисциплина. Поначалу денег с запада шло не меряно, и все спешили их освоить, перенеся подходы западных коллег на российскую почву. Что было весьма несложно, а вот обдумать, разработать и ввести в оборот мировой социологической науки свое видение российской ситуации – даже очень не просто. Тем более, что ее аналитиков и интерпретаторов, по большей части поверхностных и политически ангажированных, было очень много. Но модель «догоняющей науки», то есть тиражирования здесь наработанного там, меня не устраивала. А конструировать и продвигать свое значило идти против течения и здесь, и там.

Оценив свои силы, я выбрал путь погружения в российскую действительность, изредка публикуя результаты своих работ в международных социологических журналах или монографиях. Российские социологи любят приглашать сюда западных коллег, но продвигать успехи российской социологии за рубеж торопятся не очень. Что даже было инструктивно зафиксировано в формате одного из российских гуманитарных фондов: публикации по итогам гранта должны прежде всего публиковаться на русском языке. Соответственно, средств на продвижение достижений российской социологии на Запад и Восток не выделяется и такой работе никто не способствует и не учит. А почему, собственно говоря: разве продвижение работ российских социологов на Запад и Восток не есть часть задачи собирания и консолидации Русского мира, чем сейчас озабочены и власть, и общественность?

Посему моя личная миссия содержит три задачи. Одна – это подвести итог сделанного мною, чему и посвящена эта книга. Вторая – это продвижение по мере сил сделанного за рубеж. И третья – то, что именуется публичной социологией: показать, объяснить, почему экологическое видение социального мира необходимо всем – ученым, студентам и людям улицы. Иными словами, пропаганда экологического взгляда на мир.

Именной указатель

Абульханова-Славская Ксения Александровна (р. 1922) доктор психологических наук, профессор, академик РАО.

Аганбегян Абел Гезевич (р. 1932), экономист, специалист в обл. организации промышленного производства, проблем производительности труда, макроэкономики, эконометрики, менеджмента; академик РАН.

Адамов Георгий Борисович (1886–1945), русский писатель.

Адамович Алесь (Адамович Александр Михайлович, 1927–1994), русский и белорусский писатель, публицист, критик, литературовед, общественный деятель, защитник природы; доктор филологических наук.

Араб-Оглы Эдвард Артурович (1925–2001), демограф, социолог, исследователь проблем футурологии и прогнозирования; доктор философских наук.

Арманд Давид Львович (1905–1976), географ, эколог, путешественник, автор книги «Нам и внукам»; доктор географических наук.

Архангельский Андрей Дмитриевич (1879–1940), геолог, основатель советской школы тектонистов; академик АН СССР.

Ахиезер Александр Самуилович (1928–2006), социальный философ, культуролог, автор многотомного труда «Россия. Критика исторического опыта»; доктор философских наук.

Бабиченко Леонид Исаакович (р. 1932), инженер-станкостроитель, гл. инженер КБ по проектированию автоматических линий.

Баглай Марат Викторович (р. 1931), в 1997–2003 гг. председатель Конституционного суда РФ; доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ; автор работ по вопросам зарубежного права.

Байбаков Николай Константинович (1911–2008), советский государственный и партийный деятель; председатель Госплана СССР (1955–57, 1965–85), Герой Социалистического Труда (1981).

Банникова Ирина Николаевна (урожденная Яницкая 1917–1966), биолог, педагог и переводчик с немецкого; родная сестра автора книги.

Барщ Михаил Осипович (1904–1976), советский архитектор, член Объединения современных архитекторов (с 1925); профессор МАРХИ.

Батыгин Геннадий Семенович (1951–2005), методолог и историк социологии, сотрудник Института социологии РАН; доктор философских наук.

Бауман Зигмунт (Bauman Z., р. 1925) английский социолог польского происхождения, один из наиболее читаемых и плодовитых западных социологов.

Бек Ульрих (Beck, U., р. 1944), немецкий социолог, автор концепции общества риска.

Берджесс Эрнст (Burgess E., 1886–1966), один из основателей Чикагской школы городской экологии.

Бородкин Фридрих Маркович (р.1934), социолог, академик РАЕН (1992); председатель Сибирского отделения Российского общества социологов; редактор журнала «Регион: экономика и социология».

Брунов Николай Иванович (1898 –1971), историк архитектуры и искусства; с 1921 работал в Институте археологии и искусствознания, преподаватель Московского ун-та, профессор МАРХИ; доктор архитектуры.

Буравой Майкл (Burawoy M., р. 1947) американский социолог, автор работ по социологии публичности; профессор Калифорнийского университета, США.

Бурдьё Пьер (Bourdieu P., 1930–2002) французский социолог, представитель постструктуралистского направления социальной теории, создатель теории социального поля, теории габитуса и др.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), русский писатель, лауреат Нобелевской премии. В 1929 г. эмигрировал во Францию.

Быков Вениамин Евгеньевич (1911–1981), историк архитектуры, автор многотомного труда «Свод памятников русской архитектуры»; доктор архитектуры.

Вавилов Николай Иванович (1887–1943), выдающийся русский биолог, создавший учение о биологических основах селекции; акад. АН СССР. Репрессирован. Реабилитирован.

Вересаев Виктор Викторович (Смидович, 1867–1945), русский писатель.

Вернадский Владимир Иванович (1856–1945), геохимик, историк и организатор науки, автор концепции «Биосферы», академик АН СССР.

Виноградов Александр Павлович (1895–1975), геохимик и космохимик, ученик В.И. Вернадского; академик АН СССР.

Вирт Луис (Wirth L., 1897–1952), социолог, представитель Чикагской школы, автор концепции урбанизма как образа жизни.

Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1934), архитектор, поэт, публицист.

Волков Владислав Павлович (р. 1934), геохимик, историк науки, редактор и комментатор многотомного труда «Дневники В.И. Вернадского»; доктор геолого-минералогических наук.

Вотчал Евгений Филиппович (1864–1937), биолог, специалист в области физиологии растений, селекционер; акад. Всеукраинской академии наук.

Вул Бенцион Моисеевич (1903–1985), советский физик. Лауреат Государственной премии СССР (1946) и Ленинской премии (1964), Герой Соц. Труда; акад. АН СССР.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), русский поэт, литературный критик, акад. Петербургской академии наук (с 1841 г.).

Гайдар Егор Тимурович (р. 1956), российский экономист, один из авторов «либеральных» реформ в РФ 1990-х гг.

Галазий Григорий Иванович (р. 1922), российский ботаник и гидробиолог, эколог, лимнолог, защитник озера Байкал; акад. РАН.

Гидденс Энтони (Giddens A., р.1938), английский социолог-теоретик и политик. Профессор Кембриджского университета. Труды по истории социологии и проблемам современного общества.

Говард Эбенезер (Howard E., 1850-1928) английский теоретик и любитель-планировщик, который разработал принципы идей города-сада.

Гайденко Пиама Павловна (р.1934), российский специалист по истории философии, науки и культуры; с 1970-х гг. работы по отечественной философии (К.Н. Леонтьева, С.Л. Франка и др.); доктор философских наук, член-корр. РАН.

Галкин Александр Абрамович (р. 1928), российский социолог и полоитолог; доктор исторических наук.

Герцен Александр Иванович (1812–1870), русский революционер, писатель, философ, критик, один из основоположников народничества.

Гинзбург Виталий Лазаревич (р. 1916), физик-теоретик, Лауреат Нобелевской премии; академик РАН.

Глазычев Вячеслав Леонидович (р. 1940) архитектор, историк архитектуры и градостроительства, профессор МАРХИ, общественный деятель; доктор искусствоведения.

Гольдман Владимир Борисович (р. 1933), биолог, публицист; зам. главного редактора издательства «Наука».

Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931) советский партийный и государственный деятель, инициатор «перестройки» СССР конца 1980-х гг. бывший президент СССР, ныне Президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-фонд»).

Градов Георгий Александрович (1911–1984), архитектор, в 1950–60-х гг. – директор НИИ общественных зданий академии архитектуры СССР; член-корр. Академии строительства и архитектуры СССР.

Греков Борис Дмитриевич (1882–1953), историк, труды по истории южных и западных славян, истории русского крестьянства; академик АН СССР.

Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934), украинский историк, государственный деятель, в 1917–18 гг. – председатель Центральной Рады Украины. академик Всеукраинской академии наук.

Гудзий Николай Калинович (1887–1945), литературовед, акад. АН УССР (1945).

Гуревич Аарон Яковлевич (1924–2006), выдающийся российский историк-медиевист, доктор исторических наук, член многих международных академий, автор интеллектуальной биографии «История историка». М. 2004.

Гуревич Александр Викторович (р. 1930), российский физик-теоретик; академик РАН.

Давыдов Юрий Николаевич (1929–2007), российский социолог, историк социологии, автор фундаментальных работ по истории социальной философии и социологии XIX–XX вв.; доктор философских наук.

Дейнека Александр Александрович (1899–1969), художник станковист и монументалист; народный художник СССР.

Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867–1934) украинский историк и этнограф, в 1906–1916 гг. руководитель историко-этнографического кружка ун-та Св. Владимира (Киев), участником которого был мой отец.

Дюбо Рене (Dubos R., 1901–1982) французский ученый-эколог, защитник природы, доктор философии, профессор тропической медицины в медицинской школе Гарвардского университета.

Жудро Евгения Николаевна (1889–1964), учитель-биолог, завуч школы № 59 г. Москвы, заслуженный учитель РСФСР.

Забелин Святослав Игоревич (р. 1950), биолог, один из лидеров студенческого Движения дружин охраны природы и основателей Социально-экологического Союза; лауреат международной премии Голдмана.

Залыгин Сергей Павлович (1913–2000), инженер-мелиоратор, писатель, публицист, защитник природы, создатель ассоциации «Экология и мир», Герой Социалистического Труда.

Замошкин Юрий Александрович (1927–1993), российский социолог, и политолог, автор работ по проблемам личности, свободы и равенства; доктор философских наук

Заборов Михаил Абрамович (1920–1987), российский историк и историограф. Работы по истории крестовых походов и новейшей истории; доктор исторических наук.

Здравомыслов Андрей Григорьевич (р. 1928), социолог широкого круга интересов, включая теорию и методологию социологического исследования; один из основателей социологии в СССР, доктор философских наук.

Зепалов Борис Петрович (1891–?), инженер, полиглот, переводчик. Друг семьи Яницких и Шмидтов в течение всей жизни.

Зик Сергей Александрович (р. 1934), инженер-механик, прозаик, работник Госкомлеса СССР, автор воспоминаний о своем деде «Одиссея лекаря Зика» (не опубликована), мой одноклассник.

Знанецкий Флориан (Znanecki, 1882–1958) американский социолог, впервые применивший биографический метод в социологическом исследовании.

Иванс Дайнис (р.1955), журналист, один из лидеров Народного Фронта Латвии, депутат Рижской Думы и председатель ее Комитета по делам искусства, культуры и религии, член Комитета по окружающей среде.

Ионин Леонид Григорьевич (р.1945), российский социолог, специалист в области социологии культуры и социологии знания; доктор философских наук.

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), советский писатель, автор романа «Два капитана».

Кавтарадзе Дмитрий Николаевич (р. 1947), эколог, инициатор программы «Экополис», разработчик первых имитационных игр по охране природы, гл. эколог Госкомобразования СССР (1998–91); доктор биологических наук.

Кагарлицкий Борис Юльевич (р.1958), российский политолог и публицист, социолог, журналист; с 2002 г. директор Института глобализации и социальных движений.

Калашников Алексей Георгиевич (1893–1962), геофизик, художник, скульптор, один из разработчиков системы политехнического образования в СССР, министр просвещения (1950–51 гг.), академик Академии педагогических наук СССР.

Кантор Владимир Карлович (р. 1945), российский философ и романист, специалист по философии русской истории и культуры; доктор философских наук.

Кантор Карл Моисеевич (1922–2008), российский философ, социолог, теоретик дизайна; доктор искусствоведения.

Капица Петр Леонидович (1894–1984), физик, один из основателей физики низких температур, лауреат Нобелевской премии; академик АН СССР.

Кастельс Мануэль (р. 1948), испанский социолог, автор работ по теории социальных движений, социологии постмодернизма и информационного общества; проблемам трансформации советского коммунизма.

Кастрель Татьяна Наумовна, биолог, зам. руководителя Центра психологии и педагогики толерантности РАО; проректор Международного университета (Москва).

Кирдина Светлана Георгиевна, экономист и социолог, специалист по анализу институциональных матриц, доктор социологических наук

Кирпичев Михаил Викторович (1879–1955), теплотехник, автор фундаментальных трудов по теории моделирования процессов теплопередачи, в 1930-х гг. был арестован по делу Промпартии; академик АН СССР.

Кирпичева Серафима Федоровна (урожденная Гордеенко) (1891–1974), певица, киноактриса, жена акад. М.В. Кирпичева; моя тетья.

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), русский историк, автор капитальных трудов по русской истории; член (почетный член) Петербургской АН.

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959), артистка, нар. артистка СССР; жена А.П. Чехова.

Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007) правовед, социолог, автор трудов по социологии преступности; вице-президент АН СССР, академик РАН.

Ковальский Николай Александрович (1925–2001), историк, международник; руководитель Центра Средиземноморских и Черноморских исследований Института Европы РАН; доктор исторических наук.

Коган Борис Борисович (1896–1967), участник революции на Украине, кремлевский врач-терапевт и кардиолог, профессор, в 1952 г. был арестован по «делу врачей». Реабилитирован.

Коган Леонид Борисович (род. 1931), живописец, архитектор и урбан-социолог, доктор архитектуры, почетный академик Академии строительства и архитектуры.

Кон Игорь Семенович (р. 1928), социолог, автор капитальных трудов по социологии личности, социологии и этнографии детства и гендерной социологии; академик Российской академии образования.

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938), социальный теоретик, экономист, историк, юрист, социолог, этнограф; автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры.

Кольцов Николай Константинович (1872–1940), биолог основоположник экспериментальной биологии в России. Член-корр. Петербургской АН (1915), акад. ВАСХНИЛ. В 1928 г. выдвинул гипотезу о «наследственных молекулах».

Красин Леонид Борисович (1870–1926), инженер, советский государственный и партийный деятель, член ВКП (б) с 1924 г.

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959), инженер-энергетик, советский государственный и партийный деятель; академик АН СССР.

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939), советский государственный и партийный деятель. С 1929 г. замнаркома просвещения. Труды по педагогике, истории ВКП(б).

Крымский Агафанел Ефимович (1871–1942), украинский востоковед, славист, академик Всеукраинской академии наук (до 1928 г. – ее неперменный секретарь), погиб в ГУЛАГе.

Кудрявцев Владимир Николаевич (1923–2007) советский и российский ученый-юрист, социолог, вице-президент АН СССР, академик РАН.

Кульпин Эдуард Сальманович (р.1939), историк, создатель концепции социоестественной истории; акад. РАЕН, доктор философских наук.

Курилко-Рюмин Михаил Михайлович (р.1923), театральный художник, Народный художник России, действительный член Российской академии художеств; профессор МАРХИ.

Лазарев Петр Петрович (1878–1942), физик, один из основателей биофизики, с 1917 – действительный член РАН, академик АН СССР, коллега и друг В.И. Вернадского.

Ларин Ю. (Лурье Михаил Зальманович, 1882–1932), экономист, советский государственный деятель.

Ласкорин Борис Николаевич (1915–1997) советский и российский химик-технолог и защитник природы; академик АН СССР (с 1976), лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, лауреат премии Совета министров СССР.

Латур Бруно (Latour B., р.1947), французский социолог, политолог.

Лауристин Марью (Lauristin M.), эстонский, социолог, общественный деятель, политик, один из лидеров Народного фронта Эстонии (1989–91).

Лебедев Александр Александрович (1927–2004?), российский историк, литературовед, специалист по общественной мысли XIX века, автор книг о Чаадаеве и Грибоедове.

Левада Юрий Александрович (1930–2006), социолог, с конца 80-х – директор ВЦИОМа. Труды по динамике реформ и массового сознания россиян.

Левитан Исаак Ильич (1860–1900), выдающийся русский художник-пейзажист.

Леонтович Кирилл Федорович (р.1936), детский психиатр, общественник, организатор подросткового клуба «Левша» на ул. Пречистенка (г. Москва).

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), литературовед, текстолог, краевед, исследователь культуры Древней Руси; академик АН СССР (1975).

Лисицын Дмитрий Васильевич (р. 1966), защитник природы, один из лидеров Экологической Вахты Сахалина.

Лихтенштадт Владимир Осипович (1882–1919), химик, революционер-максималист, автор кн. «Естественнонаучные взгляды Гете», написанной в Шлиссельбургской каторжной тюрьме.

Лузин Николай Николаевич (1883–1950), математик, основатель школы по теории функций; акад. АН СССР.

Лупандин Владимир Михайлович (1927–2005), врач, токсиколог, эколог, защитник природы, один из основателей СоЭСа; доктор медицинских наук.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), советский государственный и партийный деятель, писатель, критик. С 1917 г. нарком просвещения; академик АН СССР (1930).

Людвиг Генрих Маврикиевич (1893–1973) архитектор, строитель технолог, изобретатель; один из лидеров архитектуры советского авангарда, до 1938 г. – ректор Всесоюзной Архитектурной академии. Репрессирован в 1938 г., реабилитирован в 1956 г.

Мамардашвили Мераб Константинович (1930–1990), социальный философ, автор работ о природе человеческого мышления; доктор философских наук.

Маца Иван Людвигович (1893–1974), российский теоретик и историк архитектуры и искусства; до 1954 г. директор НИИ теории архитектуры.

Мейер Рихард (Meier R.L., р. 1934), американский архитектор, социолог и аналитик, ведущий представитель нью-йоркского авангарда.

Мерперт Николай Яковлевич (р.1922), археолог, специалист по археологии античности, Месопотамии, Египта и Балкан, участник Великой отечественной войны; доктор исторических наук.

Мертон Роберт (Merton R., 1910–2003), американский социолог, один из основателей структурного функционализма, оказавший влияние на формирование социологии науки, изучения ее этоса.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), русский писатель, автор памфлета «Грядущий хам».

Милютин Владимир Павлович (1884–1937), советский государственный и партийный деятель, член ВКП (б) с 1910 г. С 1934 г. председатель Ученого совета при ЦИК СССР.

Миронов Борис Николаевич (р. 1942), российский историк, автор капитального труда «Социальная история России» (1999), доктор исторических наук.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) русский социолог, публицист, литературный критик, народник.

Можейко Игорь Всеволодович (Кир Булычев) (1934–2003), советский писатель-фантаст, ученый-индолог, фалерист.

Морозкин Иван Васильевич, участник Великой отечественной войны, учитель математики школы № 59 г. Москвы, заслуженный учитель РСФСР.

Моррис Уильям (1834–1896) английский писатель, художник, теоретик искусства. «Социалист чувства», участник рабочего движения в Англии. автор утопии «Эпоха спокойствия или вести ниоткуда».

Муралов Александр Иванович (1886–1937), советский государственный и партийный деятель, в 1933–36 гг. зам. наркома земледелия, в 1935–37 гг. президент ВАСХНИЛ. Репрессирован. Реабилитирован.

Наумова Нина Федоровна (1930–2002), социолог, круг научных интересов: методология исследований, социология труда, личности, принятия решений. С 1976 г. сотрудник Института системных исследований.

Неронов Валерий Михайлович (р.1937), биолог, зам. председателя Советского (с 1991 г. Российского) комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; кандидат географических наук.

Никифоров Дмитрий Николаевич, методист, учитель истории в школе № 59, г. Москвы, кандидат педагогических наук, доцент Педагогического института им. В.И. Ленина.

Нимейер Оскар (р. 1907) выдающийся бразильский архитектор и градостроитель, один из создателей новой столицы г. Бразилиа.

Новиков Николай Васильевич (1933–1994), социолог, публицист, автор работ по истории русской социологии (до 1917 г.), один из первых исследователей теории социального действия Т. Парсонса.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956), географ и геолог, автор научно-фантастических романов; академик АН СССР

Ойзерман Теодор Ильич (р.1914), философ и историк европейской философии, участник Великой отечественной войны; академик РАН

Огарев Николай Платонович (1813–1877), русский революционер публицист, поэт, участник создания общества «Земля и воля» (1861–62).

Островская Суламифь Зельмановна архитектор; в 1950-х гг. научный сотрудник НИИ общественных зданий Академии архитектуры.

Павловский Глеб (р. 1951), российский политолог и публицист.

Пал Раймонд (Pahl, Raymond, р. 1935), английский социолог, автор фундаментальных работ по социологии труда и города.

Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986), полярный исследователь, герой Советского Союза; доктор географических наук.

Парк Роберт (Park, R., 1864–1944), социолог, один из основателей Чикагской школы, автор «классической» социально-экологической теории.

Парсонс Толкотт (Parsons T., 1902–1979), известный американский социолог-теоретик, автор теории системы человеческого действия.

Патрушев Василий Дмитриевич (1925–2008), социолог, доктор философских наук; в 1960–90-е гг. – лидер исследований бюджетов времени населения в СССР/России.

Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк. Труды по русской истории, государственности, политической культуры; академик РАН.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1872–1941), медик, терапевт, консультант Лечсанупра Кремля. По ложному обвинению арестован в 1937 г. и погиб в заключении. Посмертно реабилитирован.

Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), русский художник, дальний родственник жены моего брата О.В. Шмидт (урожденной Вульф).

Потемкин Владимир Петрович (1874–1946), советский государственный и партийный деятель. С 1940 г. нарком просвещения РСФСР. Президент АПН РСФСР. Труды по истории дипломатии и международных отношений.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк, партийный и государственный деятель, с 1918 г. замнаркома просвещения.

Прибылева Раиса Львовна (1858–1900), народник, член Народной Воли, проходила по «Процессу пятидесяти», умерла на каторге; сестра моей бабушки.

Пуришев Иван Борисович (р. 1930), архитектор-реставратор, заслуженный архитектор РФ, член-корр. Академии архитектуры и строительных наук РФ; почетный гражданин г. Переяславля.

Пчелинцев Олег Сергеевич (1936–2006), экономист, специалист в области региональных проблем и урбанизации; доктор экономических наук.

Разумович Николай Никанорович (1922–1990), правовед, историк политолог, автор 6-ти монографий; доктор юридических наук.

Раннев Валентин Романович (1929–2002), педагог, архитектор, иллюстратор книг; с 1989г. - организатор Мастерской экспериментального и учебного проектирования, профессор.

Распутин Валентин Григорьевич (р.1937) русский писатель, публицист, общественный деятель, борец за охрану природы.

Резников Роман Абрамович (1934–1986), математик, программист, создатель первого проекта крупного мостового сооружения на ЭВМ; доктор технических наук.

Рихванова Марина Петровна, эколог, общественный деятель, защитник природы, один из лидеров экологического движения «Байкальская Волна», лауреат премии Голдмана (2008).

Рудницкая Евгения Львовна, историк, специалист по русской истории XIX века; доктор исторических наук.

Ружже Вера Львовна, архитектор и социолог, в 1950-х гг. специалист по истории городов-садов в России.

Сарабьянов Владимир Николаевич (1886–1952), философ, историк, экономист; автор книги «Архитектура и общественное сознание», М. 1952; профессор МАРХИ.

Северцов Алексей Николаевич (1886–1936), биолог, основоположник эволюционной морфологии животных; акад. АН СССР.

Смирнов Владимир Иванович (1887–1974), математик, академик АН СССР.

Соколов Владимир Евгеньевич (1928–1998), зоолог, рук. национального комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», академик АН СССР.

Соколов Николай Борисович (1904–1990), архитектор, теоретик архитектуры и градостроительства, член Юго-Леф (1924–25), Объединения современной архитектура (до 1931 г.).

Семашко Николай Александрович (1874–1949), врач, советский государственный и партийный деятель, член ВКП(б) с 1910 г. С 1918 г. нарком здравоохранения РСФСР.

Серебровская Кира Борисовна (1930–2004), биолог, историк науки, в 1980–начале 2000-х гг. лидер движения «Косино-Экополис» (Москва).

Сеннет Ричард (Sennet R., р.1943) английский социальный философ и социолог.

Смирнов Владимир Иванович (1887–1974), математик, правозащитник, автор «Курса высшей математики»; академик АН СССР.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский философ, публицист, поэт и социолог, опиравшийся на труды естествоиспытателей.

Соловьев Эрих Юрьевич (р.1934), российский историк философии, исследователь экзистенциализма, европейской реформации, этики и правового учения И. Канта.

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008), русский писатель, публицист, автор «Красного колеса».

Соколов Владимир Евгеньевич (1928–1998), биолог, крупнейший специалист в области охраны природы, руководитель Национального комитета СССР по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»; академик АН СССР.

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968), американский социолог русского происхождения, автор концепции всемирно-исторической динамики культуры, социально-экологического исследования «Голод как фактор...».

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953), политический и государственный деятель СССР, генеральный секретарь ЦК ВКП(б)/ КПСС.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, философ, публицист, историк, один из лидеров Кадетской партии России.

Струмилин Станислав Густавович (1877–1874), экономист, статистик; академик АН СССР.

Сухов Виталий Дмитриевич (1934–1991), дипломатический работник Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО.

Тихвинский Сергей Леонидович (р. 1918), востоковед, китаист, историк международных отношений, дипломатический работник; академик РАН.

Толстой Алексей Константинович (1817–1875) русский писатель и поэт, автор исторических романов и баллад.

Томас Уильям (Thomas, 1863–1947), американский социолог, развивавший, в частности, «ситуативный» подход в социологии.

Томпсон Пауль (Thompson, Paul, 1835), английский социолог, автор классического труда «Голос прошлого. Устная история» (1978).

Уинер Дуглас (Weiner Douglas, р. 1938), американский историк, председатель Общества историков природоохранного дела США, крупнейший специалист по истории охраны в России.

Ушаков Георгий Алексеевич (1901–1963), советский полярный исследователь, ученый и географ. В 1930–32 гг. – рук. первой экспедиции на Северную Землю; доктор географических наук (похоронен на Северной Земле).

Тургенев Александр Иванович (1784–1845), русский историк, писатель, архивист и общественный деятель.

Федоров Николай Алексеевич (р. 1925) филолог-классик, латинист (его учебник латинского языка выдержал 10 изданий), переводчик работ Цицерона, Лейбница, Бэкона, Локка, Гоббса и др.; доктор филологических наук.

Федорова Екатерина Сергеевна, филолог, культуролог, работы по истории российской интеллигенции и ее диаспоры за рубежом, межкультурным древнерусским-латинским связям; доктор филологических наук.

Франк Семен Людвигович (1877–1950), русский философ, один из авторов знаменитого сб. «Вехи» (1909). В 1922 г. выслан за границу.

Фролов Иван Тимофеевич (1929–1999), российский философ, гл. редактор журнала Вопросы философии; академик АН СССР.

Чучмарева Елена Захаровна, архитектор, секретарь Союза архитекторов СССР, лауреат премии СМ СССР (1985); профессор МАРХИ.

Хазанова Вигдария Эфраимовна (1924–2004), российский историк и исследователь российской общественной жизни и градостроительных концепций 1920–30-х гг.; кандидат искусствоведения.

Хайт Владимир Львович (1933–2004), историк архитектуры, специалист по латиноамериканскому искусству и архитектуре; доктор искусствоведения, в 1999–2004 гг. вице-президент Академии архитектуры и строительных наук РФ.

Хан-Магомедов Селим Омарович (р.1928) — российский искусствовед, исследователь архитектуры русского авангарда и архитектуры Дагестана. Заслуженный архитектор РФ (1992); акад. Российской академии архитектуры и строительных наук РФ.

Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), советский партийный и государственный деятель, В 1953–64 гг. 1-й секретарь ЦК КПСС.

Ципко Александр Сергеевич (р.1941), российский политолог и публицист; доктор философских наук.

Шанин Теодор (Shanin Th., р. 1930), английский историк и социолог, автор работ по крестьяноведению, рук. Московской школы экономических и социальных наук; профессор.

Шафф Адам (1913–2006), польский социолог и философ. Автор книги «Элементарные понятия социологии». 1957–68 гг. — директор Института философии и социологии ПАН и ее действительный член.

Шварц Евгений Аркадьевич (р. 1958) биолог, один из лидеров Дружины охраны природы и Социально-экологического Союза, директор по политике Всемирного фонда дикой природы (росс. офис); доктор геогр. наук.

Шейнис Виктор Леонидович (р.1931), историк и политический деятель, экономист, политолог, в 1993–94 гг. – депутат Государственной думы РФ.

Шильникова Мария Александровна, методист, в 1950–60х гг. – учитель литературы школы № 59 г. Москвы, заслуженный учитель СССР.

Шкаратан Овсей Ирмович (1931), социолог; труды по социологии институтов и сферы труда; доктор экономических наук, профессор ГУ ВШЭ.

Шляпентох Владимир Эммануилович (р. 1926), социолог, труды по истории социологии, изучению общественного мнения. Эмигрировал в США в 1979 г.

Шмелев Николай Петрович (р. 1936), экономист, директор Института Европы РАН (с 1999), академик Академии экономических наук и предпринимательства и Академии менеджмента; академик РАН.

Шмидт Вера Федоровна (урожденная Яницкая, 1989–1937), педагог, психоаналитик, ученый секретарь «Российского психоаналитического общества» (1925–27 гг.).

Шмидт Владимир Оттович (1920–2008), инженер-механик, один из создателей первого в СССР завода-втуза, ныне Государственный инженерно-

технический университет, многолетний зам. пред. Правления кооператива РАНИС (Николина Гора), кандидат технических наук.

Шмидт Отто Юльевич (1991–1956), математик, геофизик и астроном, организатор науки и выдающийся полярный исследователь, Герой Советского Союза; академик АН СССР.

Шмидт Ольга Владимировна (1922–2002), жена моего двоюродного брата В.О. Шмидта (см. о ней: Яницкий О.Н. Семейная хроника. М. 2002).

Шмидт Сигурд Оттович (р. 1922), историк, археограф, публицист, автор трудов по истории России; академик Российской академии образования.

Шмурак Илья Львович (р.1933), химик-технолог, специалист в области шинного корда; доктор технических наук, филателист.

Шомбар де Лов (Shombart de Lauwe, р.1913–?), ведущий французский социолог города в 1950–60-х гг., изучавший повседневную жизни горожан и их семей.

Шретер Ирина Викторовна (1918–2003), художник кино, заслуженный деятель искусств, внучка выдающегося русского художника М.В. Нестерова.

Штильмарк Феликс Робертович (1931–2005), биолог, охотовед, видный российский специалист в области охраны природы. Автор интеллектуальной биографии «Отчет о прожитом». М., 2007.

Шубкин Владимир Николаевич (р. 1923), социолог, публицист, участник Великой отечественной войны. Труды по проблемам социологии молодежи, страхов в России; доктор философских наук.

Щедровицкий Георгий Петрович (1929–1994), советский философ и методолог, создатель и идейный вдохновитель школы «методологов», основатель Московского методологического кружка.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1884–1952), русская писательница и переводчик.

Юдицкий Владимир Давыдович (род. 1934), химик, технолог, кандидат химических наук (живет в США).

Юрчевская Лидия Анатольевна (1886–1972), сестра В.О. Лихтенштадта.

Яблоков Алексей Владимирович (р. 1933), зоолог, эколог, лидер природоохранного движения в России, создатель Круглого стола общественных экологических организаций, член партии «Яблоко»; член-корр. РАН.

Ядов Владимир Александрович (р. 1929), социолог, один из основателей социологии в СССР. Труды по теории и методологии социологического исследования, социологии труда; доктор философских наук.

Яницкая Елизавета Львовна (1853–1913), одна из первых женщин России, получивших диплом врача, «врач для бедных», земский врач, член Общества народных детских садов, работала на эпидемии чумы и холеры; моя бабушка.

Яницкий Николай Федорович (1891–1979), историк, эконом-географ, политолог; в 1920–30-х гг. директор Всероссийской книжной палаты; доктор географических наук, мой отец.

Яницкий Федор Феодосьевич (1852–1937), земский, затем военно-санитарный врач и хирург, участник русско-турецкой, русско-японской и первой мировой войн; мой дед по отцовской линии.

